

В. Д. И. О. Ч.

АЛЬМАНАХ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

# ИЗОБРАЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

АЛЬМАНАХ

# КЛЮЧ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Санкт-Петербург  
Издательство «ЭЗРО»  
1995

Альманах издан благодаря финансовому содействию Американского еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт», при участии Международного фонда «Культурная инициатива» (Фонд Сороса).

The present collection is published thanks to the assistance of the American Jewish Joint Distribution Committee and in cooperation with the International Fund "Cultural Initiative" ("Sorus Fund").

Редактор – составитель  
Евгений Звягин

Compiler  
Evgeny Zvyagin

Редакционная Коллегия  
Арлен Блюм  
Александр Мелихов  
Владимир Ханан  
Алексей Шельвах

Editorial Board  
Arlen Blüm  
Alexander Melikhov  
Vladimir Khanan  
Alexei Shelvakh

Художник  
Валерий Мишин  
*Студия остаточного реализма*

Designer  
Valery Mishin  
*Residual Realism Studio (ReRe Studio)*

Технический редактор  
Анатолий Васильев

Technical Editor  
Anatoly Vasilyev

The writers whose works are included in the present collection "Klyuch" ("The Key") live in Saint-Petersburg, write in the Russian language and are united by the common "Jewish Diasporic outlook". The book comprises prose, poetry, historical sketches and publicistic writings.

ISBN 5-89007-002-9

© Издательство «ЭЗРО»  
© Publishing House "EZRO".

---

---

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемый читателю альманах «Ключ» собран из произведений петербургских поэтов, прозаиков, историков, публицистов еврейского, в той или иной мере, происхождения. Можно, наверное, считать непреложным тот факт, что в мире существует как бы два типа еврейского мирозерцания: тип фундаментальный, взыскующий полного слияния с исторической родиной, образом жизни и религией предков, и тип диаспорный — охотно впитывающий в себя приметы и ценности окружающей его культуры, считающий себя ее неотторжимою частью и даже, в какой-то мере, психологически зависимый от тех, грубо говоря, «неудобств», которые приносит статус еврея в рассеянии.

Так или иначе, все авторы этого альманаха за небольшими исключениями, — здешние обитатели, никуда не уехавшие и не отделяющие себя от общего тока русской культуры, что отнюдь не предполагает полного забвения истоков. За последние годы в душах многих евреев-интеллигентов проснулся интерес к освоению своих исторических корней, чувство причастности к общей судьбе. Я выбрал критерием отбора, прежде всего, качество текстов, но и вышеупомянутая тенденция в альманахе присутствует, ибо есть она и в самой жизни.

Конечно, представленные здесь авторы разнятся по уровню глубины, по характеру темперамента, да и по степени литературной известности: от всемирно знаменитого фантаста Бориса Стругацкого до молодой поэтессы Натальи Хараг. Но всем им посчастливилось напитаться чрезвычайно богатой стихией русской культуры, русского языка.

Есть в их творениях, я полагаю, и что-то сокровенно-свое, врожденно-особое, по-своему звучащее на некоторых регистрах мысли и слова, что, разумеется, представляет дополнительный интерес для читателя. Главное, при всем том — творческий инстинкт, ими движущий, тяга созидания, их поднимающая на труд. В этом — смысл составительской идеи альманаха и ключ к его пониманию.

*Евгений Звягин*



## ПЯТОЕ СОСТОЯНИЕ

Александр Петрович Самойлов обнаружил в своем почтовом ящике престранное письмо, которое, собственно, и назвать-то письмом можно было чисто условно. На плотном жестком конверте не было ни марок, ни штемпелей, а только надпись: «Господину адвокату». Внутри же оказалась визитная карточка, при полном отсутствии каких-либо пояснений. Текст карточки гласил: Иосиф Хейфец, председатель правления фирмы «Хейфец», электронные музыкальные инструменты, адрес: Санкт-Петербург, гостиница «Прибалтийская», и номер телефона. На оборотной стороне то же самое повторялось по-английски, но с адресом — нью-йоркским.

Значит, отметил мысленно Александр Петрович, для визита в Россию был заказан специальный тираж визитных карточек. Это заслуживало внимания, и адвокат решил посмотреть сквозь пальцы на несколько неважный способ приглашения.

Набрав указанный номер, он услышал веселый девичий голос, говорящий по-русски в основном правильно, но с заметным акцентом. Мистер Хейфец сейчас очень занят, но приглашает к себе господина адвоката ровно в четыре часа.

Это уж слишком, подумал Александр Петрович, мистер Денежный мешок многовато о себе воображает.

— Поймите меня правильно, барышня, — Александр Петрович заговорил жалобным тоном, как всегда, когда собирался кого-нибудь поставить на место, — у меня много дел, и чтобы решить вопрос о возможности встречи с мистером Хейфецом, я должен хоть что-то знать о ее цели.

Трубка в ответ разразилась трелью беззаботного смеха:

— О, господин Самойлов, умоляю, не обижайтесь. Мистер Хейфец не может поговорить с вами, у него сейчас лечебные процедуры, а меня он не ввел в курс дела. Я — Джейми, секретарь по русским связям. Мистер Хейфец поручил мне передать вам приглашение, но ваш ответчик не работает. Поэтому вы получили визитную карточку без пояснений, это мой личный промах, простите пожалуйста. Уверю вас, я еще не видела

человека, который считал бы беседу с мистером Хейфецом бесполезной. Вы потратите совсем мало времени, я пришло за вами машину, о-кей?

— Спасибо, я на своей доберусь, — все еще обиженно проворчал адвокат.

Визитная карточка Хейфеца обладала свойствами волшебного талисмана, превращающего своего обладателя из обыкновенного незаметного человека в значительную персону и всеобщего любимца. Все — и швейцар, и портье, и молодой человек спортивного вида, проводивший адвоката к лифту — вели себя так, будто полжизни ждали случая услужить Александру Петровичу.

Джейми оказалась долговззой, нескладной, но совершенно очаровательной девушкой. Она встретила адвоката у лифта, встретила, как любимого родного дядю, приехавшего из дальних краев.

— Чудесно! Я вижу, вы больше не сердитесь. Сейчас я представлю вас мистеру Хейфецу, — она выжидательно остановилась.

Адвокат проследил за направлением ее взгляда. По коврам коридора бесшумно и медленно приближалось сияющее никелированными деталями сооружение, в коем Александр Петрович не сразу признал инвалидную коляску. В ней покоился маленький горбатый человек с непропорционально большой головой, в черном пиджачке и при галстуке. В голубых глазах и крупных чертах лица застыло выражение детской серьезности. Он что-то говорил, а идущий рядом молодой человек делал на ходу записи в блокноте, одновременно ухитряясь выражать походкой почтительность. Позади, в небольшом удалении, следовала группа из нескольких человек: фотограф, девица с видеокамерой, медсестра в белом халате, горничная, и еще два персонажа, чьи роли по внешнему виду не угадывались. Зрелище в целом, размеренностью движения и торжественностью, напоминало сцену из египетской жизни, не хватало только нубийцев с опахалами.

В нескольких метрах от адвоката и Джейми процессия остановилась, Джейми подвела Александра Петровича поближе и представила горбуну, который протянул ему свою миниатюрную лапку, впрочем, с довольно крепким пожатием. Движение возобновилось, и вся группа проследовала в апартаменты Хейфеца.

Оставшись наедине с горбуном, адвокат ожидал от него краткой, насыщенной информацией, формулы делового предложения. Но Хейфец, пригласив Александра Петровича сесть, не спеша прокатился из угла в угол гостиной, а затем подъехал к адвокату вплотную:

— Что вы скажете о чашечке кофе, господин Самойлов? — не дожидаясь ответа, он нажал кнопку на пульте своей коляски и произнес несколько слов по-английски в телефонную трубку. Затем он снова перешел на русский язык:

— Мне про вас говорил Костенко. Вы были его адвокатом на процессе о самолете, помните? Его все равно посадили, но он говорил, что вы его защищали блестяще.

Чтобы заполнить возникшую паузу, Александр Петрович изобразил удивление:

— Неужели вам нужен здесь адвокат?



— Нет, — в глазах Хейфеца чуть заметно обозначилась улыбка, — но он еще говорил, что вы раскопали такие вещи, которые кагебе хотело спрятать, и только из-за этого его не расстреляли, а посадили.

Джейми прикатила кофейный столик.

— Мне все это уже нельзя, — Хейфец показал ладошкой на хрустальные флаконы с цветными ликерами, — на если вам можно, то попробуй-те, а я с удовольствием посмотрю, как вы пьете, — он замолчал, ожидая, пока секретарша нальет кофе и удалится.

— Значит, вы хотите, чтобы я для вас раскопал какие-то вещи? — спросил адвокат, любивший сохранять инициативу в разговоре.

— Очень простые вещи, господин Самойлов... очень простые, — горбун печально покивал головой. — Каждый человек должен иметь свою могилу. Моя могила уже не за горами, но сначала я должен знать, какая могила у моего брата Соломона. Он был мой старший брат, — Хейфец сделал паузу, с интересом наблюдая, как адвокат дегустирует ликеры.

— Соломон был физик, и даже очень известный физик. Из-за этого он знал государственные тайны и не мог отсюда уехать. Он умер в восемьдесят четвертом году. Я хотел прилететь на похороны, но мне ответили, похорон не будет, и визу не дали. Я посылал запросы о причинах смерти, от себя и от американского сената, по они отвечали одно: погиб во время научного опыта, а что касается подробностей, то это — сплошная государственная тайна.

Хейфец медленно прихлебывал кофе, и адвокат терпеливо ждал продолжения.

— Господин Самойлов, я предлагаю десять тысяч долларов, если вы расскажете мне, как умер Соломон Хейфец, и двадцать тысяч — если покажете его могилу. Это ваш личный гонорар, а все, что придется кому-то дать, я заплачу отдельно.

Адвокат хотел было, по привычке, взять время на размышление и поторговаться, но чутье подсказало ему, что в данном случае это невыгодно.

— Хорошо, я попытаюсь.

На прощание Хейфец сказал:

— Я пробуду здесь месяц и, может, еще неделю.

Сопоставив кажущееся простодушие горбуна с его положением в иерархии мира бизнеса, Александр Петрович заключил, что в этом деле любая халтура будет жестоко наказана, и придется поработать добросовестно.

Фамилия «Хейфец» в его памяти смутно ассоциировалась с каким-то университетским скандалом, и обладая обширной сетью полезных знакомств, он выбрал из них наиболее подходящее к данному случаю — одного из проректоров Университета. Тот принял адвоката радушно, поскольку был ему кое-чем обязан, но от разговора о Хейфеце попытался увильнуть. Так Александр Петрович впервые столкнулся со странной особенностью: все, кто знал Хейфеца, говорили о нем крайне неохотно, словно на это имя было наложено некое заклятие.



Все же минимальную стартовую информацию адвокат получил. Хейфец считался талантливым физиком, но обладал тяжелым характером. Ему покровительствовал Сахаров, когда был в силе, до ссылки, и по проекту Хейфеца, при поддержке академика, в Университете строился циклотрон. Финансировало его космическое ведомство, циклотрон на них работает до сих пор, хотя лаборатория в упадке, и новый начальник тихо спивается. Вскоре после пуска циклотрона Хейфецом стала активно интересоваться госбезопасность, якобы из-за связей с международным сионизмом. И вот, когда его пришли арестовывать, произошла невероятная, дикая история: сам Хейфец и те, кто за ним явились, бесследно исчезли. Скорее всего, конечно, при аресте что-то вышло не так, и гебешники таким образом заметали следы. Но больно уж неуклюжая выдумка. В общем, дело это поганое, и лучше в него не соваться.

Обдумывая результаты разговора, Александр Петрович пришел к выводу, что без контакта с госбезопасностью обойтись не удастся. Все дороги ведут в Рим.

В качестве объекта атаки адвокат избрал отставного подполковника КГБ Сергея Петровича Клещихина. Ныне бывший чекист занимал скромный кабинет в мэрии и служил постоянной мишенью для нападок демократической прессы, на которые не обращал никакого внимания. В застойные времена подполковник именовался Кречетовым, поскольку офицерам его хищной организации полагалось иметь птичьи фамилии. Он, как тогда говорили, «курировал» Университет, и никому не казалось смешным, что один подполковник может курировать университет.

Александр Петрович заявился к нему в конце рабочего дня, на случай, если Клещихин сохранил привычку к конспирации, и захочет беседовать на свежем воздухе.

Адвокат не ошибся. Обменявшись с ним рукопожатием, подполковник бросил косой взгляд в угол кабинета и рассеянно произнес:

— А я-то уж собрался уходить. У вас ко мне серьезное дело?

— Что вы, какое там дело! — замахал руками адвокат. — Просто хочу об Университете поговорить, вспомнить разные мелочи.

— Тогда предлагаю пройтись. Вспоминать *alma mater* можно и на ходу.

Разговор состоялся на уединенной скамейке в скверике.

Александр Петрович не стал разводить церемоний:

— Мне нужно знать, как умер Хейфец.

— Боюсь, этого толком никто не знает.

— Но его труп — был?

— За кого вы меня принимаете, Самойлов? — поморщился подполковник. — Я с трупами не имел дела. Но, думаю, трупа не было.

— А отчет, как это случилось, был?

— Отчет наверняка был.

— Мне нужна ксерокопия.

— Зачем вам это?

— Дело, видите ли, чисто гуманитарное. Родственники хотят иметь могилу. Если могилы нет, хотят знать, почему нет.

— История очень темная, — подполковник сделал паузу, отслеживая взглядом прошедшего по дорожке молодого человека с сигаретой в зубах. — У меня были потом неприятности, да и не только у меня. Вообще, у всех, кто имел дело с Хейфецом, всегда были неприятности. От души советую: не лезьте в это дело.

— Что бы вы сказали, — Александр Петрович с удивлением заметил, что копирует интонации Хейфеца-младшего, — о тысяче зеленых?

— Это что, взятка? — деловито осведомился Кречетов.

— Взятка?! — в голосе адвоката прозвучало безграничное удивление. — Так это говорят правду, что вы у них еще работаете?

— Бросьте вы ваши шуточки. Конечно же, нет.

— Тогда о какой взятке вы говорите? Просто плата за работу в архиве.

— В том-то и штука, что дело Хейфеца — не архивное. Я думаю, оно не закрыто, я даже уверен в этом.

— Столько лет — и не закрыто? Ведь и вашего КГБ уже нет!

— КГБ нет, а дело есть. Вы же не ребенок, Самойлов. Режимы меняются, а служба безопасности остается.

— Ну, раз так, пусть будет полторы тысячи.

— С вами не соскучишься, — ухмыльнулся подполковник. — Обещать ничего не могу. Позвоню.

Через два дня, в том же скверике и на той же скамейке, Александр Петрович получил увесистую пачку листов ксерокопии.

— Девятая папка, — коротко пояснил подполковник. — Последний год жизни.

Адвокат с первого взгляда оценил товар, как первосортный, и без колебаний выложил условленную сумму, по-братски разделив с подполковником испрошенные для этой покупки у Хейфеца три тысячи.

Дома, исследуя добычу, он разложил документы на три кучки. В первую попала банальная полицейская рутина: ежемесячные отчеты осведомителя из числа научных сотрудников, выдержки из телефонных разговоров и записей подслушивающих устройств, и прочее в том же духе. Здесь же оказалась копия служебной записки майора Сапанова, который «вел» Хейфеца, о его аресте, если, конечно, то, что произошло, можно назвать арестом.

Во вторую стопку легли бумаги, относящиеся к научной стороне дела: заявление, то бишь донос, одного из сотрудников Хейфеца и два экспертные заключения, сделанные авторитетными учеными по запросу КГБ. Их опусы были для адвоката китайской грамотой, но конечные выводы отличались простотой: создавая экспериментальную установку, доктор Хейфец, при попустительстве академика Сахарова, сделал, по первому заключению, не совсем то, что требовалось, а по второму — совсем не то.

Третья группа бумаг содержала разрозненную и скудную, но совершенно неожиданную информацию: Хейфец занимался кабалистикой и был причастен к восточным эзотерическим учениям. В частности, он

имел переписку с величайшим знатоком кабалы Бен Шефиром, и даже всемогущему КГБ не удалось добыть копии ни одного из писем.

По окончании сортировки в руках адвоката осталось четыре листка, которые нельзя было отнести ни к одной из трех групп, и вообще, соотносить с чем-нибудь разумным. Это были показания сотрудников лаборатории номер шесть, то есть циклотрона, работавших в ночные смены. Они утверждали, что видели призрак Хейфеца, и даты на их показаниях стояли недавние. Что бы за этим ни крылось, Кречетов оказался прав: дело Хейфеца не закрыто. Значит, если он, адвокат Самойлов, сунется на циклотрон без надлежащего основания, то неизбежно попадет в поле зрения нью-кагебе, как бы оно теперь ни называлось.

Продолжая свой пасьянс, Александр Петрович весь материал разделил на две части. Направо легло рациональное: доносы, экспертизы, отчеты; налево — иррациональное: кабала и призраки. За увесистую правую пачку Хейфец-младший уже заплатил, и получит ее завтра же, за тощую левую стопку листков ему придется платить отдельно. Подумав немного, Александр Петрович переложил из левой пачки в правую два листка — в качестве наживки.

Далее он на своем портативном ксероксе снял еще одну копию со служебной записки майора Сапанова — тоже, небось, на самом деле Тютюкин или Лепешкин, подумал адвокат — и только после этого погрузился в детальное ее изучение.

Из документов следовало, что Сапанов «вел» Хейфеца несколько лет. Майору все было ясно, как божий день: Хейфец выстроил экспериментальную установку не так, как ему приказали, что в его профессии уже само по себе — преступление, и это — при постоянных тайных контактах с людьми, избличенными в качестве агентов мирового сионизма. Первый ордер не арест Хейфеца был выписан, как только его покровитель Сахаров отправился в ссылку. Но не тут-то было! Хейфец обслуживал предстоящий полет космической станции на Венеру, и космические боссы оказались не менее сильны, чем госбезопасность. Сапанову приказали временно оставить Хейфеца в покое и копить материал.

Должно быть, майор Сапанов ожидал запуска на Венеру с нетерпением не меньшим, чем участники космической программы: судя по его рапортам, он не сомневался, что зацепил крупную рыбу. И вот, наконец, пришло время, когда, с интервалом ровно в сутки, две ракеты, начиненные исследовательской аппаратурой, стартовали к Венере, а для майора наступил звездный час.

На операцию он выехал лично, ничто не предвещало неприятностей. Кабинет Хейфеца прослушивался, он вел себя, как обычно, и судя по всему, ни о чем не догадывался. У входа в здание циклотрона, на вахте, вместо сотрудника вневедомственной охраны, в этот день сидел человек Сапанова, и он тоже сигнализировал, что все в порядке. Майор остался с шофером в машине, а брат Хейфеца пошли двое в штатском. Оба имели табельное оружие, обладали отличной физической подготовкой, и у старшего по званию, лейтенанта, было индивидуальное переговорное устройство для связи с Сапановым. Оба проследовали мимо вахты и

поднялись на второй этаж в кабинет Хейфеца. Происшедший там диалог был записан с микрофона, вмонтированного в стену.

ЛЕЙТЕНАНТ. Вы — Соломон Хейфец?

ХЕЙФЕЦ. Что вам здесь нужно?

ЛЕЙТЕНАНТ. Мы из комитета государственной безопасности. Вам придется поехать с нами.

ХЕЙФЕЦ. Бумага есть?

ЛЕЙТЕНАНТ. Какая бумага?

ХЕЙФЕЦ. Ордер на арест, идиот.

ЛЕЙТЕНАНТ. Вы, главное, не волнуйтесь. Вот ордер.

ХЕЙФЕЦ /после паузы/. Хорошо. Но я должен выключить циклотрон. иначе здесь через час будет Хиросима.

ЛЕЙТЕНАНТ. А что, без вас этого не сделают?

ХЕЙФЕЦ. Я отпустил оператора. Можете сходить, убедиться, что на пульте управления никого нет.

ЛЕЙТЕНАНТ. Да нет, зачем же, идемте вместе /конец записи/.

И на этом все кончилось. Ни Хейфеца, ни кагебешников больше никто не видел.

Через десять минут Сапсанов попытался воспользоваться переговорным устройством, но оно глухо молчало. Майор, вместе с водителем, поднялся в кабинет Хейфеца — там было пусто. Они прошли на пульт управления — оператор оказался на месте, циклотрон работал. Никаких указаний об остановке циклотрона оператор не получал, и Хейфец сюда не заходил. Тогда Сапсанов вызвал оперативную группу.

Всем в лаборатории объявили, что получен сигнал о подложенном взрывном устройстве, и предложили покинуть здание. в нем-де будут работать саперы.

Остаток дня, вечер и ночь в лаборатории номер шесть шел обыск максимальной интенсивности. Отпирали каждую дверь на чердаках и в подвалах, лезли в кладовки, в шкафы и трубы вытяжной вентиляции, простукивали стены и вскрывали полы — и все напрасно, никаких результатов.

Как сообщил, передавая товар, подполковник, эта история поломала карьеру Сапсанова, его продвижение в должностях и званиях было заморожено. Он так и остался, до ликвидации КГБ, рядовым следователем с майорскими погонами, но дело Хейфеца у него не отобрали — скорее всего, никто не хотел с этим бредом связываться. Где Сапсанов сейчас, и что делает, Кречетов не знал.

Адвокат продолжал методично исследовать документы, иногда делая выписки, и вскоре у него возникло странное ощущение почти реального присутствия самого Хейфеца, или, по крайней мере, его строптивного духа. Он, видимо, был настолько сильной личностью, что накладывал свой отпечаток на всех, кто с ним сталкивался. Через полуграмотные сочинения осведомителей, сквозь собачий язык рапортов и служебных записок, проступал сумрачный образ человека загадочного, внушающего необъяснимый страх, гордого до надменности, и отделенного от прочих людей барьером интеллектуального превосходства.

Обдумывая дальнейшие планы, Александр Петрович решил с визитом к Хейфецу-младшему повременить — чтобы тот не считал кагебешную папку слишком легкой добычей. Адвокат сосредоточился на другом: как проникнуть на циклотрон и легализовать там свое присутствие. Наверняка всем сотрудникам циклотрона, рассуждал он, полагаются надбавки к зарплате за вредность условий работы, и, насколько он помнил университетские порядки, эти деньги наверняка никому не выплачивают. Обеспокоив еще раз проректора, Александр Петрович получил подтверждение своей догадки.

Далее все было делом техники — той техники, которой он владел в совершенстве. Телефонные разговоры, сцепляясь один с другим, словно колесики часового механизма, в течение дня привели к нужному результату: он был представлен заведующему лабораторией номер шесть как известный, но чудаковатый адвокат, готовый за чисто символическую плату отстаивать попорченную справедливость.

Адвокат потратил два дня, чтобы стать на циклотроне своим человеком. Благородство и бескорыстие его миссии открывало перед ним сердца служащих и, главное, развязывало языки. Закрытых дверей для него не было — он мог в любое время разгуливать со счетчиком Гейгера, где пожелает, и ему давали ключи от любых помещений, дабы он, вооружась рулеткой, мог промерять расстояния от рабочих мест до источников облучения или шума.

С заведующим лабораторией, профессором Башкирцевым, у Александра Петровича сложились совершенно душевные отношения. Башкирцев оказался меломаном и обладателем недурной коллекции старинных граммофонных пластинок, и домашний музей адвоката — коллекция аппаратуры звукозаписи — привел профессора в восхищение. Коллекционеры, как дети, мгновенно находят общий язык.

После нескольких дней знакомства, по случаю дождливой погоды, дело дошло до совместного питья коньяка. Профессор интеллигентно, но неутомимо поглощал сей благородный напиток, заедая каждую рюмку ровно одной четвертушкой шоколадной конфеты, и, независимо от количества выпитого, не терял ни респектабельности, ни детского румянца на гладко выбритых впалых щеках.

Никакой свидетель не смог бы сказать, что адвокат о чем бы то ни было расспрашивал ученого, но разговор все время сам собой касался Хейфеца.

— Нелегкий он был человек, талантливый, но нелегкий. Никто его не понимал, да он и не хотел, чтобы его понимали. Да и талантлив был — сложно объяснить — как-то странно... не по-нашему как-то. Прямо, инопланетянин какой-то, сосланный сюда в наказание за высокомерие.

— Талантливый? Вы сказали, талантливый? — рассеянно поинтересовался адвокат, подливая в рюмки коньяк. — А я слышал, он спроектировал циклотрон неудачно, не так, как надо.

— Пустая болтовня, чепуха. Можете судить сами: циклотрон уже дряхлый, а работает до сих пор, как часы, весь факультет кормит.

— Это в каком смысле кормит? — удивился Александр Петрович.

— В самом прямом: зарабатывает на жизнь. Мы ведь космос обслуживаем, а они все еще хорошо платят. И знаете, что мы делаем?

— Если это государственные секреты. . .

— Какие там секреты, — усмехнулся Башкирцев, — как показалось адвокату, с горечью. — Каждый предмет, подлежащий запуску в космос, они сначала приносят нам, и мы бомбардируем его ускоренными частицами. А они потом проверяют, не стало ли что-нибудь от этого хуже. . . Очень интеллектуальная работа, знаете ли, вроде лесоповала. . . Они весьма забавные люди: если в приборе меняют диаметр заклепки, весь прибор проходит испытания снова. Одним словом, большая наука.

— Значит, с циклотроном все было в порядке. . . А из-за чего же тогда пошли разговоры?

— Вместе с ускорителем он соорудил еще нечто, нам не понятное, и к циклотрону, по-видимому, отношения не имеющее. Здесь, под нами, — профессор слегка притопнул ногой, — гигантский бетонный фундамент, глубиной около восьми метров, и в него, внутрь, проведены мощные токоносители. Я не знаю, что там смонтировано, но оно пожирает бездну энергии, больше самого ускорителя. И продуцирует сумасшедшие электромагнитные поля: в радиусе ста метров обычные измерительные приборы сходят с ума, а на первом этаже здания отказывает вся электроника. Установка обслуживается специальными экранированными приборами.

— Простите, я вас правильно понял? — изумился Самойлов. — Несмотря на. . . гм. . . отсутствие доктора Хейфеца, вы продолжаете включать это, если позволите так выразиться, неизвестно что?

— Вы все правильно поняли, дорогой адвокат. Мы продолжаем включать это «неизвестно что», — Башкирцев умолк и забарабанил пальцами по столу, давая понять, что данное направление разговора ему неприятно.

Александр Петровичу, напротив, тема показалась увлекательной, и он извлек из кейса еще одну бутылку.

Поняв, что от любопытства адвоката отвертеться не удастся, профессор продолжал сам, без понуканий:

— Он устроил все очень хитро. Ускоритель включается и выключается только совместно с подземной установкой, таково программное обеспечение комплекса. Всякая попытка прекратить подачу энергии вниз приводит к остановке циклотрона. Он чувствовал, что ему смогут помешать, и решил заранее подстраховаться. И заметьте, еще деталь: когда включается ускоритель, с объекта удаляются все люди, кроме считанного числа необходимых сотрудников, и они, естественно, прикованы к своим рабочим местам. Значит, если вы не хотите, чтобы совали нос в какие-либо ваши приватные дела, лучше всего их совместить с включением циклотрона.

— Не понимаю, — искренне удивился Александр Петрович, — если все дело в программном обеспечении, почему нельзя переделать программу?

— Это безумно сложно. Чтобы лезть в чужую программу, нужно быть специалистом уровня не ниже автора. А туда, где приложил руку Хейфец. . . понимаете сами. Легче сделать новый пакет программ, но это стоит дорого. И еще убытки от остановки ускорителя на неопреде-

ленное время? Нет уж, проще оплачивать лишние расходы энергии. — Башкирцев выдержал довольно долгую паузу, словно думая, стоит ли откровенничать дальше. — Но я вам скажу больше. Хейфец умел предусматривать все, и никто не знает, что может произойти, если начать тут что-то переделывать. Я чувствую себя неандертальцем у кнопок ядерного реактора, и нажимать их наугад никому не позволю. Пусть все остается, как есть.

Профессор явно утомился разговором и начал клевать носом, но Александр Петрович решил, что еще один вопрос он выдержит:

— А вот эта подземная... *machina incognita*... на нее нельзя посмотреть? Есть же там какие-то проходы, коридоры — если понадобится что-нибудь смазывать или подкручивать?

— Блестяще! — неожиданно оживился Башкирцев. — Вы попали в самую точку! Для неспециалиста это даже удивительно. Конечно же, это азы техники: ко всякому устройству должен быть доступ для осмотра и ремонта. А здесь доступа нет. Парадокс! Этот бетонный массив похож на египетскую пирамиду: тоннель там внутри есть, но ведет он в пустое помещение, а истинная гробница фараона где-то в другом месте замурована наглухо. Значит, Хейфец был уверен, что установка продержится нужный ему срок без ремонта, и, вероятно, на длительную эксплуатацию не рассчитывал.

После этой последней вспышки бодрости профессор снова скис, начал откровенно зевать, и Александр Петрович счел целесообразным прекратить допрос.

Теперь адвокат имел все, что требовалось для повторного визита к Хейфецу-младшему: превосходный отчет о проделанной работе и завлекательные стимулы к продолжению расследования.

Ровно через десять дней после первой встречи Александр Петрович вновь посетил горбуна в его гостиничных апартаментах.

Хейфец бегло просмотрел принесенные адвокатом документы и выслушал его, не задавая вопросов.

— Да, Костенко говорил правильно, что у вас хорошая хватка. Будем считать первую часть нашего договора закрытой, и я вам плачу десять тысяч. Вы хотели бы наличными, или чек на какой-нибудь банк?

— Я живу в такой стране, мистер Хейфец, где всегда лучше наличные. Но... — после короткой паузы, сделав над собой немалое усилие, добавил адвокат, — я привык получать гонорар после полного окончания работы.

— Хорошо, — одобрительно кивнул Хейфец, — эти деньги в любом случае все равно, что у вас в кармане.

Адвокат потихоньку тянул кофе, понимая, что наживка проглочена, и следует дождаться конкретного предложения.

— Вы мне рассказали странные вещи, — продолжал горбун, — но все это похоже на Соломона. Здесь все в одном узелке — и то, как он исчез, и призрак, и эта непонятная штука под землей. Мы с вами договаривались о могиле, но если Соломон исчез так, что могилы нет, я хочу видеть, вместо нее, куда он исчез.



Хейфец замолчал, полностью сосредоточившись на своей, дозволенной врачами, весьма скромной дозе кофе. Покончив с ним, он бросил на адвоката не то оценивающий, не то сомневающийся взгляд, и Александр Петрович почувствовал, что ему сейчас преподнесут сюрприз.

— Я хочу вам кое-что показать, — решил, наконец, Хейфец и вынул из кармана сложенный вчетверо, потертый на сгибах, листок бумаги.

Текст был написан неровными крупными буквами, как пишут обычно близорукие люди: «Иосиф, если ты до сих пор веришь мне, как верил тогда в день отъезда, то я тебя жду». Пониже имелась приписка, сделанная той же рукой: «Позвоните по этому номеру и назовите свое имя», далее следовал телефонный номер и дата — март восемьдесят шестого года.

— Письмо с того света, — задумчиво сказал адвокат. — Однажды я сталкивался с подобным, но тогда это была фальшивка.

— Теперь это не фальшивка, — объявил горбун, и в его голосе послышались жесткие нотки. — Он мне напоминает о том, что знаем только мы двое, и напоминает именно потому, что иначе я бы мог не поверить. . . Эта бумажка ехала ко мне почти три года. Ее послали с оказией, но оказия получилась неудачная. Сейчас этот телефон не отвечает.

— По всей видимости, это не его почерк?

— Не его. Я бы начал с того, что выяснил, чей тут телефон и чей почерк. Хотя, не мне вас учить, как делают такую работу.

На этот раз Хейфец замолчал надолго, судя по выражению лица, вспоминая о чем-то не очень веселом. Адвокат решил, что аудиенция окончена, и встал, чтобы откланяться, но был остановлен повелительным движением лапки горбуна.

— Я думаю, вам следует знать, хотя бы немного, о чем говорил со мной Соломон в день отъезда. Моя мама везла меня к своему богатому брату лечиться. Я болел, и врачи здесь сказали, что мне полагаются умереть. Моя мама им верила, но надеялась, что другие врачи могут сказать другое. И вот, она везла меня через океан, чтобы я либо вылез, либо умер по-человечески. Мне было тринадцать лет. А Соломон был уже физик и не мог никуда ехать, потому что знал государственные тайны. И, главное, он не хотел ехать. Он эту страну не любил, но другие ему тоже не нравились. Он говорил, в других странах, не заметив этого сами, люди стали тоже советскими, и теперь весь мир живет в Советском Союзе, только одни об этом знают, а другие не знают. Соломона не устраивал этот глобус, он хотел другой глобус и искал путь к нему. Из древних книг он знал, что разумных миров много, и все они связаны между собой. Больше того, с помощью тех же книжек он краешком глаза заглядывал в другие миры. Он говорил, что индусы в древности, во времена вед, знали о таком плотном веществе, в одном дюйме которого существует вся Индия, почти такая, как на Земле, но немножко лучше, и были случаи, когда мудрецы переселялись в эту другую Индию. И вот в день моего отъезда Соломон сказал, что уже нашел путь, и скоро изобретет такое же вещество, и мы с ним сможем попасть в мир, похожий на наш, но не такой свиный, а я там не буду ни больным, ни горбатым. Вы, конечно, можете подумать, что он просто утешал мальчика-инвалида, которому

оставалось совсем мало жить, но это было бы не похоже на Соломона. Он спросил, верю ли я ему, и я сказал, что верю... Вот о чем он мне напоминает в записке... Даст Бог, это поможет вашему расследованию.

Непрост, ох, непрост этот горбун, размышлял адвокат, направляясь домой. Да, с ним надо держать ухо востро. Сейчас Александр Петрович искренне сожалел, что зажиллил полторы тысячи зеленых — ведь, если пронохает, не простит.

Следуя вполне разумному совету Хейфеца, адвокат начал с поисков хозяина телефона, указанного в записке. Без больших трудов он выяснил, что и почерк, и телефон принадлежали ближайшему сотруднику Хейфеца-старшего. После исчезновения последнего он возглавлял лабораторию еще несколько лет, и умер примерно четыре года назад. Ни друзей, ни родственников у него не осталось, в его бывшей квартире жили совершенно посторонние люди.

Единственным полем деятельности адвоката остался циклотрон. Это значило, снова придется хлестать коньяк в губительных для печени количествах — но что поделаешь, дело прежде всего. Александр Петрович теперь был вынужден действовать, по сути дела, наобум. Он решил осмотреть «странные» помещения в подвале, покопаться в архивах покойного, если от них что-то осталось, и между делом расспросить Башкирцева о сверхплотном веществе.

Когда Александр Петрович попросил у вахтера ключи от подвальных помещений, ему сказали, что ключи у водопроводчика, и он их не дает никому, ибо держит там всякую сантехнику, а она теперь дороже золота. Пришлось привести Башкирцева, который повелел привести водопроводчика и приказал держать ключи на вахте, но не давать никому, кроме водопроводчика и адвоката Самойлова, о чем сделал письменное распоряжение в специальном журнале.

— У нас, знаете ли, очень смешной водопроводчик, — рассказывал Башкирцев, поджидая с адвокатом явления сей важной персоны, — он панически боится крыс. Он говорит, когда циклотрон работает, крысы разбегаются, и ремонтирует трубы в подвалах только во время работы ускорителя. Он даже заранее записывает плановое время включения установки.

Наконец, в коридоре возник массивный силуэт человека с неуклюжей косолапой походкой. Переваливаясь из стороны в сторону, он заполнял собой коридор от стенки до стенки. Адвокату эта медвежья походка вдруг показалась знакомой. Когда ее обладатель приблизился, Александр Петрович узнал своего бывшего клиента.

Водопроводчик бросил связку ключей на стол и молча удалился. Несомненно, он узнал своего адвоката, но никак не выказал этого. Лагерная школа, усмехнулся про себя Александр Петрович. Однако, странная история с крысами: адвокат никак не мог поверить, что Харитонов, рецидивист по кличке Тяжелый, тюремный пахан, боится каких-то грызунов. Он взял себе на заметку по частным каналам навести справки о Харитонове.

Башкирцев вызвался лично провести адвоката в недра бетонного фундамента. Они спустились по винтовой лестнице и остановились перед железной дверью с цифрой один.

— Нумерация помещений начинается снизу, — пояснил профессор, с лязганьем поворачивая ключ в замке.

Дверь поддалась нажиму тяжело, но бесшумно, и адвоката поразила ее массивность.

— Дверь, словно в бункере, — пробормотал он.

— Да, странно, — согласился Башкирцев.

Они оказались в узком, тускло освещенном коридоре, полого опускающемся по мере продвижения вперед. Путь по нему показался адвокату бесконечным.

— Я вам, по-моему, говорил, что этот фундамент похож на египетскую пирамиду, — почувствовав себя экскурсоводом, профессор на ходу читал лекцию. — Так вот, он не просто похож, а является, по геометрии, точной копией египетских пирамид, только перевернутой вверх ногами. Я из любопытства даже углы промерял — точь в точь, как у египтян. Я вам после архитектурный проект покажу, посмотрите сами. Совпадение, понятно, случайное, но забавное. А может быть, и прихоть Хейфеца, кто его знает. Даже расположение центральных камер совпадает с тем местом, куда мы идем... вернее, куда мы уже пришли, — он указал на дверь с цифрой три в тупике коридора.

— Три, — удивился адвокат, — а где же два?

— Вот именно, — проворчал профессор, выискивая в полумраке нужный ключ в связке, — все, что Хейфец делал, даже в мелочах, было странно и непонятно. За это, главным образом, его и не любили.

Тяжелая дверь, такой же непомерной толщины, как и предыдущая, медленно отворилась наружу, и Башкирцев первым вступил в небольшое помещение кубических пропорций, освещенное еще хуже, чем коридор. Адвокат не без опаски последовал за ним и стал осматриваться.

На бетонных стенах имелось четыре пары электрических патронов — значит, изначально освещение предполагалось хорошее — но горела только одна, покрытая слоем пыли, тусклая лампочка. По стенам, образуя спиральный рисунок, шли медные шины, снабженные стандартными изображениями черепа с костями и зигзага электрического разряда. Какая бы то ни было мебель отсутствовала. На полу валялись водопроводные трубы и краны, гайки, пустые бутылки, стаканы, окурки и папиросные пачки. В углу лежала новенькая женская туфля на шпильке. Мусор располагался вдоль стен, в середине же оставалась совершенно чистая, будто только что подметенная, круглая площадка.

Чтобы не стоять среди мусора, профессор и адвокат прошли на эту площадку. Александр Петрович оглядел потолок — никаких вентиляционных отверстий не было, значит, долгое пребывание людей в этой камере не предусматривалось.

Александр Петровичу вдруг захотелось поскорее уйти отсюда, он ощутил беспокойство и непонятную тоску.

— Неуютно здесь, — он поспешно шагнул к двери, — пойдёмте.

— Да, да, пойдёмте, — согласился Башкирцев и взглянул на часы, — мне пора, через две минуты пуск ускорителя.

Профессор направился на пульт управления, дабы своим присутствием вдохновить дежурного оператора, адвокат же брел не спеша, внимательно разглядывая стены подземного коридора.

У выхода к винтовой лестнице его ждал Харитонов, буквально заткнув своей неуклюжей фигурой проем низкой двери.

— Слушай сюда, адвокат, — произнес он лениво, — когда циклотрон пашет, по низам не шастай. А то козликот станешь.

— Это что, суеверие какое-нибудь? — засмеялся адвокат. — Чепуха, готов спорить. Ни за что не поверю!

— Брось, адвокат, не старайся, — ухмыльнулся Харитонов, — я эти приемчики знаю. Мое дело — сказать, а твое — слушать или не слушать, — он сделал шаг к лестнице, но тут же обернулся к Самойлову снова. — Тебе-то здесь что надо?

— То-то и оно, что сам толком не знаю, — вздохнул Александр Петрович. — Надо знать, куда делся Хейфец, слышал о таком? Надо знать, правда ли, что видели его призрак.

— Про Хейфеца ничего не узнаешь. Дело давнее, свидетелей нет. А насчет призрака... — на лице Харитонова возникла мрачноватая усмешка, — если бы мне могли являться призраки, я бы давно сидел в дурике.

Ускорителю предстояло работать непрерывно три дня, людей не хватало, и профессор решил в первые сутки лично возглавить ночную смену. Адвокат попросился тоже провести ночь в лаборатории — вдруг-де ему повезет увидеть призрак Хейфеца. Башкирцев скептически улыбнулся, но согласился охотно, понимая, что охота на призрака без aqua vita невозможна.

Когда дневная суета осталась позади, и была откупорена первая бутылка, адвокат получил маленький сюрприз: пользуясь новыми экономическими свободами, Башкирцев оформил его юридическим консультантом лаборатории. Самойлов добивался этого на случай, если его деятельностью заинтересуются официальные инстанции — он не любил пустоты под ногами.

Беседа за коньяком текла плавно, о том да о сем, однако все время возвращалась к Хейфецу.

— Это правда, что он собирался изобрести какое-то сверхплотное вещество? — спросил адвокат. — Мне так сказал проректор.

— Чепуха. Все малограмотные люди ждут от науки сенсаций... извините, это я не о вас, а о том, кто вам это сказал, — под влиянием спиртного профессор обрел гражданское мужество, которого ему недоставало в трезвом виде. — На самом деле у Хейфеца, еще в начале научной карьеры, были чисто теоретические работы, из которых, вроде бы, следовала возможность существования пятого состояния вещества.

— Простите, какого состояния? — успел вернуть адвокат.

— Пятого, — Башкирцев, наконец, сообразил, что его гость никогда не слышал о подобных вещах. — Раньше люди знали три агрегатных состояния вещества: газ, жидкость и твердое тело. В двадцатом веке

к ним прибавилось четвертое: плазма. Пятого состояния нет и, скорее всего, быть не может. . . И вот, представьте, способный молодой ученый начинает всем толковать о пятом состоянии и даже предлагает его теоретическую модель. Ему бы этим и ограничиться, а он требует крупных ассигнований на эксперименты, причем, таким тоном, будто все его выкладки уже общепризнанны, и, самое скверное, ссылаясь на какие-то древние трактаты, заявляет, что пятое состояние было известно в доисторической Индии. Таких вещей у нас, знаете ли, не любят. Его осмеяли, назвали дилетантом, мистиком и мракобесом, и никаких денег не дали. Он на всех обозлился и к этой теме больше не возвращался.

— А не может быть так, — осторожно заговорил адвокат, — что все это, там внизу, имеет отношение к тому, что вы рассказали?

— Не думаю, у него было время образумиться. К тому же, его бредовый проект требовал сверхнизких температур, здесь этого явно нет, — он нервно повертел свою рюмку и допил остаток коньяка. — А впрочем, все может быть. Боже мой, Александр Петрович, я же говорил вам, когда речь идет о Хейфеце, может быть, что угодно. И поэтому я, профессор и доктор, сижу здесь, как цепной пес, и стерегу это самое, как вы изволили выразиться, неизвестно что. А точнее — его саркофаг. Он построил сам себе пирамиду, а я ее стерегу, я и вахтер внизу, у нас одинаковая работа. Противно чувствовать себя неандертальцем.

В качестве утешения адвокат мог предложить обиженному ученому только очередную бутылку.

К одиннадцати Башкирцев уже был готов рухнуть на диванчик, но нашел в себе силы проводить адвоката в бывший кабинет Хейфеца, ключ от которого хранил у себя в столе.

— Если призрак существует, то сюда заглянет наверняка, — объяснял он уже заплетающимся языком. — Здесь и поспать можно, вот диван, но учтите, тут хороший сон не приснится, атмосфера дурная, что ли. . . Здесь никто не хочет работать, вот и пустует. Кто болеть начинает, у кого неприятности. . . Суеверие, конечно, но так и есть. . . Я попробовал раз поработать на этом компьютере, так ведь ударило током. А компьютер сразу сломался, так и стоит с тех пор. . . В общем, спокойной ночи.

Оставшись один, адвокат начал с умывания холодной водой и нейтрализующей алкоголь таблетки, благо, умывальник имелся прямо здесь, в кабинете. Он тут же почувствовал себя неудобно, будто под чьим-то взглядом. Он запер дверь, включил настольную лампу, и верхний свет, и бра в углу у дивана, но неприятное ощущение, что тут кто-то есть, что на него смотрит множество глаз, не проходило. Правда, чувства страха или близкой опасности, как сегодня внизу, перед запуском ускорителя, не было, и, решив не обращать внимания на психологический дискомфорт, Александр Петрович приступил к делу. Все три шкафа, стоящие в кабинете, оказались пусты, в столе же сохранились бумаги. Он начал их изучать весьма тщательно, понимая, что после усиленного обыска КГБ заметить что-нибудь интересное может только внимательный взгляд. Но увы, все листы заполняли формулы, графики, наброски научных текстов, понятные адвокату не более, чем написанные по-турецки. Единственной

полезной находкой он признал папку с архитектурным проектом, впрочем, и так уже обещанную Башкирцевым.

Александр Петрович не имел опыта чтения архитектурных чертежей, поэтому дело продвигалось медленно. Он чувствовал себя неважно физически: стучало в висках, было душно, на спине под рубашкой ощущался жар и покалывание, словно там ползали и кусались горячие муравьи. Он отворил окно и мужественно продолжал изучение чертежей.

Фундамент, действительно, являл собой перевернутую вверх ногами и закопанную в землю египетскую пирамиду. Подземный коридор и центральная камера на чертеже соответствовали тому, что адвокат видел в натуре — никаких дополнительных выходов из этих помещений запроектировано не было. Он хотел выяснить, нет ли в толще бетона других помещений или пустот, но сделать это было непросто, ибо весь лист испещряли поясняющие надписи и изображения отдельных узлов. Исследуя поле чертежа сантиметр за сантиметром, он убедился, что других помещений быть не должно, но зато обнаружил одно любопытное обстоятельство. Проект требовал центральную камеру выполнить из специальной марки бетона, и эта же марка, видимо, более дорогая или дефицитная, указывалась еще в нескольких местах. Странная прихоть: в многотонной толще фундамента в отдельных небольших объемах требовать укладки специального бетона. Может быть, там и спрятано пресловутое «неизвестно что»?

Думать об этом Александр Петрович уже был не в состоянии. Духота тяжело навалилась на грудь и сдавливала спазмами горло, и по всему телу ползали уже не горячие муравьи, а что-то раскаленное и несравненно более крупное. От разглядывания плохо отпечатанных чертежей и яркого света саднило глаза. Он выключил все светильники, подошел к окну и высунул голову наружу — сразу же стало легче.

Перед ним черной массой громоздилась листва деревьев, а вдали, над куполами соборов, еще светились облака, окрашенные закатом.

Вдруг в тишине безветрия послышалось негромкое урчание автомобильного двигателя. Иногда оно стихало, и затем газ прибавляли медленно и осторожно. Адвокат насторожился: рядом пробирался на автомобиле некто, старающийся поменьше шуметь. Это было тем более странно, что в этой части университетского городка жилых зданий не имелось. Инстинктивно он глянул вниз, на свои «Жигули» у подъезда — они стояли на месте.

Глаза постепенно привыкали к темноте, и теперь адвокат хорошо различал, что творилось внизу. Подъехавшая машина, тоже «Жигули», остановилась, но не у главного входа, а перед боковым крылом здания. От стены отделился темный силуэт и характерной переваливающейся походкой приблизился к машине, постоял около нее и вернулся к стене, где, судя по кряхтению, стал возиться с чем-то тяжелым. Результатом его деятельности было появление у стены на асфальте пятна света — адвокат понял, что Харитонов убрал кованую решетку и вскрыл окно подвального помещения. Тем временем два новых персонажа принесли от автомобиля и помогли Харитонову просунуть внутрь окна нечто про-

долговатое, размерами приблизительно соответствующее человеку. Или труп, неожиданно подумал Александр Петрович. Через минуту световое пятно перед окном исчезло, и автомобиль уехал.

Адвокат быстро закрыл окно и бросился было к двери, намереваясь проследить за действиями Харитоновы внутри здания — и тут же остановился.

Вместо ожидаемой темноты в глубине кабинета, он увидел яркое фосфорическое свечение, исходящее от всех предметов. В воздухе медленно проплывали сгустки серебристого света, кое-где вспыхивали голубые искры.

Решив, что эти интересные явления могут подождать, Александр Петрович продолжал движение к двери, но теперь не спеша и осторожно. Опять его стали покалывать тысячи огненных игл и, стоило шевельнуть рукой, с пальцев сбегали лиловые искры. Сейчас у него было единственное желание, поскорее уйти отсюда, но как только он собрался повернуть торчащий из скважины ключ, от пальцев к замку потянулись уже не искры, а струи холодного синего пламени.

Вспомнив то немногое, что он слышал или читал об атмосферном электричестве и шаровых молниях, адвокат понял, что металлические предметы трогать нельзя. Он ретировался к окну и открыл его, но долго наслаждаться свежим воздухом не пришлось: все плавающие в воздухе световые образования, до сих пор почти неподвижные, дружно потянулись к нему. Он знал, во время грозы следует закрывать окна, но ведь это в том случае, когда электричество снаружи, а человек внутри. Он оставил окно открытым и подошел к столу, ему пришло в голову разбудить по телефону и призвать на помощь Башкирцева или вахтера, но что они смогут сделать, если в замок изнутри вставлен ключ. К тому же телефонный шнур был окутан тонкой сеточкой серебристого сияния, и Александр Петрович не решился прикоснуться к трубке.

Вдруг он заметил, что выключенная настольная лампа начала излучать слабый красноватый свет, а вслед за ней высветился экран компьютера, отключенного и неисправного компьютера! Он разгорался все ярче, и адвокат уже задался вопросом, не опасно ли это, когда на экране стали возникать слова. Это был не компьютерный шрифт, а крупные неуклюжие буквы, они появлялись одна за другой, проступая на экране медленно, как изображение на фотобумаге в проявителе. Буквы сложились в текст, который с некоторой натяжкой можно было считать приветствием: «Что вам здесь нужно».

Природа, наказав Александра Петровича такой постыдной слабостью, как трусость, одновременно предусмотрела для него частичную компенсацию: он от испуга никогда не терял головы, и даже откровенно стуча зубами от страха, продолжал отлично соображать.

Он не сомневался, что имеет дело с Хейфецем, и понимал, что тот присутствует здесь не в виде человека с руками и ногами, а в каком-то ином качестве, которое позволяет ему управлять электричеством и, в частности, компьютером. И уж, конечно, задавая вопрос, он ожидает ответа.



Адвокат подступил к столу вплотную и, невзирая на сильные уколы в пальцах, набрал на клавиатуре: «Вас ищет Иосиф Хейфец».

Этот текст на экране не высветился, но был понят, ибо вскоре появился ответ: «Канал контакта через сутки от данного момента в помещении 3».

Адвокат взглянул на часы — было два часа ночи.

Экран компьютера погас, прочие электрические явления вскоре тоже иссякли, и Александр Петрович беспрепятственно отпер дверь. В нем тотчас проснулся охотничий инстинкт, и, сняв башмаки, в носках, он направился в предполагаемую зону действий Харитоновна. Но время было упущено, и во всем здании тишина нарушалась лишь гудением люминесцентных ламп. Зная послужной список бывшего уголовника, соваться на винтовую лестницу адвокат не решился.

Он вернулся в кабинет Хейфеца и, уже на правах законного квартиранта, улегся на диван, понимая, что день предстоит хлопотный, а другого времени поспать не будет. Но заснуть ему не удалось. Нельзя сказать, что он так уж был потрясен контактом с покойным Хейфецом — да, собственно, и не покойным, а исчезнувшим, поскольку трупа никто не видел. Более того, именно в надежде на что-либо подобное он и торчал здесь на циклотроне, истязая свою печень лошадиными дозами коньяка. Его сейчас занимало другое: как организовать визит американского бизнесмена в закрытую лабораторию ночью. О нелегальном посещении не могло быть и речи, оно провалилось бы мгновенно. А легального решения он никак не мог найти и без конца ворочался с боку на бок. Наконец, он все же заснул, и успел послать пару часов, пока не был разбужен уборщицей.

Кое-как приведя себя в порядок, адвокат поехал прямо в гостиницу. Джейми была уже на ногах и бодро объяснила, что семь утра — для мистера Хейфеца время вовсе не раннее, он уже позавтракал и занят просмотром почты, но готов принять господина Самойлова немедленно.

Хейфец выслушал адвоката, как всегда, не перебивая.

— Я не вижу тут подвоха, — сказал он, — это похоже на Соломона. Я думаю, мне надо туда пойти, но как это сделать?

Да, как сделать, было главным вопросом. Они перебирали разные варианты, и ни один из них не годился.

Джейми прикатила кофейный столик, и именно в этот момент адвоката посетило вдохновение. Он написал несколько слов на листке из блокнота и подал его Хейфецу.

Джейми с изумлением смотрела на шефа: она впервые видела, как он смеется вслух. Обычно он лишь сдержанно улыбался, давая понять собеседнику, что оценил юмор.

— Превосходно, господин Самойлов. Я думаю, это годится.

День оказался нелегким для всех участников предстоящего события, но особенно пришлось потрудиться Джейми и референту Хейфеца. Они без конца курсировали между мэрией, Университетом и гостиницей, встречались с различными чиновниками и делали представительские подарки. В память о своем брате Хейфец сделал щедрые пожертвования

городу, Университету, а также конкретно лаборатории номер шесть, и в итоге требуемое разрешение было получено.

Башкирцева, утром уехавшего домой, вызвали в Университет снова, и когда к нему в кабинет вошла Джейми, там, конечно, случайно, оказался и адвокат Самойлов. Джейми одарила профессора своей очаровательной улыбкой и подала ему папку с документами. Пока она рассказывала о том, как сильно любил своего старшего брата Иосиф Хейфец, Башкирцев листал бумаги. Затем он написал что-то и передал папку адвокату. Тот, хотя и знал заранее, о чем идет речь, не мог удержаться от смешка. Мэрия просила руководство Университета разрешить американскому гражданину Иосифу Хейфецу посетить в любое удобное для него время лабораторию номер шесть с целью проведения сеанса мистической связи с покойным братом, погибшим во время научного эксперимента. Внизу имелась виза проректора: «Согласен при условии присутствия консультанта Университета по вопросам безопасности». Ага, теперь это так называется, отметил про себя адвокат. Башкирцев же написал: «Согласен, при условии присутствия юрисконсульта лаборатории».

Когда Джейми ушла, адвокат спросил:

— А вы сами не хотите принять участие?

— Нет уж, — проворчал Башкирцев, — я уже привык чувствовать себя неандертальцем, но не хочу быть еще и шутком гороховым. С меня хватит, знаете ли, одного Хейфеца.

Теперь у адвоката оставалась забота навести справки о Харитонове — Александр Петрович имел твердое убеждение, что при любых обстоятельствах в школу нужно идти с выученными уроками.

Сделав несколько телефонных звонков, он нашел нужную ниточку, которая привела его к вечернему чаепитию с благообразной седой старушкой. Имея за плечами бурную молодость и нелегкие зрелые годы, она доживала свой век пристойно, прибилась к церкви и замаливала грехи. Единственный порок, который она себе оставила и коим еженедельно допекала своего духовника, состоял в праздном любопытстве, привычке знать все обо всех. Адвокат же считал это свойство милым и привлекательным. Поговорив о разных вещах, он рассеянно заметил, что давно ничего не слыхал о Тяжелом, да и вообще жив ли он?

— Жив, еще как жив, — последовал немедленный ответ, — и честно живет, в научном заведении служит. На дела не подписывается, от Коленьки знаю.

— Вот ведь как хорошо, — в тон ей забубнил адвокат, — я всегда говорил, не любит он этого дела, как освободится, знаться ни с кем не захочет.

— А вот и нет, Александр Петрович, — взъерепенилась старушка, — на дела не подписывается, а знаться — знает!

— Как же это? — покачал головой адвокат. — Так не бывает.

— Я же вам говорю, бывает, мне Коленька рассказал. Только уж вы никому... ни-ни... Он с ребятами водится, и если кому очень нужно, может труп убрать начисто, так, что и волосок никогда не найдется. Аккуратно работает, в кислоте какой растворяет их, что ли. . Вот что

значит, человек при науке. Двадцать тысяч брал, в прошлом году, — она сделала паузу, подбавляя варенье в розетки. — Это что же творится, Александр Петрович! Раньше-то все, от начала и до конца, штуку стоило, а теперь один труп — двадцать... Да вы что, Александр Петрович? С чего это разулыбались? Я, по-моему, невеселые вещи рассказываю.

— Это я на вас радуюсь, — еще шире расплылся в улыбке адвокат, — хорошо у вас как, спокойно. Так бы и не уходил никогда, да вот дальше бежать надо. Работа такая.

Что же, размышлял адвокат, спускаясь по лестнице, он может позволить себе улыбнуться. В любой ситуации главное — знать немного больше, чем остальные. Для него только что непонятные детали сложились в понятное целое. Все стало на свои места — исчезновение Хейфеца, предупреждение Харитоновна и его тайные делишки, дорогая женская туфля в подземном каземате и точно очерченный, будто циркулем, чистый круг среди мусора. Все, что попадало в этот круг во время работы дьявольской аппаратуры Хейфеца, исчезало бесследно.

Вечером Александр Петрович успел еще час поспать, принять душ и поужинать, так что, въезжая во втором часу ночи в университетский городок, он чувствовал себя превосходно.

Выйдя из машины перед зданием циклотрона, он нос к носу столкнулся с подполковником Кречетовым, вернее, с полковником, потому что на его новеньких погонах красовалось по три звезды.

— Так вы теперь консультант, — после взаимных приветствий поинтересовался адвокат.

— Консультант, — скромно подтвердил полковник, — а вы, стало быть, юрисконсульт.

Адвокат разглядывал его радостно, как слона в зоопарке.

— А как теперь ваша фамилия? Беркутов или Кондоров?

— Что вы, сейчас это не принято. Пока Клещихин.

— А звезду вам дали, — не унимался Александр Петрович, — за то, что вы ушли из мэрии, или за то, что туда пошли?

— Мне ее дали за то, что я вынужден выслушивать ваши шутки, — огрызнулся полковник, не теряя, впрочем, благодушия.

Вскоре подъехали два автомобиля. В первом, кроме Хейфеца, была только Джейми, а во втором — медсестра, референт и два мускулистых молодых человека, нанятых по совету Самойлова для преодоления винтовой лестницы.

Дверца первой машины открылась, вышла Джейми и привела в действие специальный лифт, опустивший коляску с Хейфецом на асфальт.

Адвокат представил полковника, которому Хейфец слегка поклонился, но руки не подал. Все проследовали ко входу, и началось сошествие в подземелье.

Впереди шел полковник, заранее завладевший ключами, за ним — адвокат, затем молодые люди несли коляску с Хейфецом, с трудом разворачиваясь на узкой лестнице, позади брели остальные.

Когда спуск окончился, всю свиту Хейфеца, ввиду отсутствия вентиляции, отпустили наверх, а внизу, в коридоре осталась для связи Джейми.

В камеру направились трое: Хейфец, адвокат и полковник.

— Внутрь круга вступать нельзя, — предупредил адвокат, — это очень опасно.

До двух оставалось еще несколько минут. Хейфец и полковник с любопытством осматривались.

— А что будет, — Хейфец показал лапкой на круг, — если туда бросить бумажку?

— Не имею ни малейшего понятия, — пожал плечами адвокат, а полковник вынул из кармана спички и, почему-то предварительно отломав от одной из них половину, кинул в круг. Но спичка, отброшенная невидимой преградой, отлетела назад.

Тогда полковник попытался дотронуться до невидимого препятствия, но тут же отдернул руку и принялся ею трясти.

— Бьет, как током, — пояснил он.

Александр Петрович уже хотел было попросить прекратить эксперименты, но тут над центром круга в воздухе возникло светящееся облачко, из которого сформировался шар, постепенно увеличивающийся в размерах.

Адвокат почувствовал головокружение. Он с трудом сохранял равновесие, все части тела — голова, руки, ноги — поочередно становились то непомерно тяжелыми, то совсем невесомыми.

— Прошу не двигаться, пока не образуется контактное пространство, — произнес спокойный голос.

— Это Соломон, — сказал Хейфец шепотом.

Сияющий шар тем временем все больше раздувался, как гигантский мыльный пузырь, и стремительно заполнял собою помещение. Когда золотистая выпуклая поверхность приблизилась к лицу адвоката, он невольно отпрянул, зажмурился, и тут же почувствовал легкий толчок и нечто вроде слабого удара электричеством.

Через секунду, ощутив сквозь веки теплый и яркий свет, он открыл глаза. Ему показалось, что светит солнце, но солнца не было, свет исходил непосредственно от неба, или, может быть, купола. Бетонные стены исчезли, и Александр Петрович инстинктивно оглянулся назад, впрочем, уже понимая, что двери и коридора не увидит — и действительно, там, как и в других направлениях, виднелась лишь золотистая дымка. Краем глаза он успел заметить, что полковник тоже беспокойно озирался, Хейфец же, напротив, сидел в своем кресле, спокойно откинув голову назад и бесстрастно глядя вдаль, как египетский фараон.

— Не покидайте бетонной площадки, — слышался уже знакомый голос.

Глянув вниз, адвокат под ногами обнаружил грязный бетонный пол, за несколько секунд ставший таким родным, что его хотелось погладить рукой. Вокруг бетонного островка простиралась гладкая голубоватая поверхность, которую в обычных условиях Александр Петрович счел бы полированным камнем.

— Контакт продлится десять минут, — услышали они и, наконец, увидели говорящего с ними. Непонятно было, откуда он взялся — подошел

незаметно или просто возник; так или иначе, он стоял совсем рядом и спокойно, без любопытства, смотрел на них.

Мощный лоб, почти полностью лысый череп, глубоко посаженные глаза, обтянутые кожей скулы и крепкая челюсть несомненно принадлежали Соломону Хейфецу — адвокат видел его фотографии — но во многом он изменился. Лицо смягчилось, стало не таким угловатым, глаза и лоб занимали больше места, а подбородок — меньше. Нельзя было сказать, что он помолодел или постарел — он вообще потерял возраст. Его великолепную голову подпирали широкие плечи, от которых туловище резко сужалось вниз, к непропорционально узким бедрам и длинным ногам, так что фигура в целом напоминала восклицательный знак.

Процедуру взаимного разглядывания он прервал через несколько секунд, обращаясь исключительно к брату и словно бы не замечая адвоката и полковника.

— Я все сделал, как обещал, Иосиф. Я реализовал пятое состояние вещества и нашел альтернативный разумный мир, как ты говорил, другой глосус. Я искал тебя, чтобы пригласить сюда.

Горбун не спешил отвечать и продолжал рассматривать брата.

— Ты странно выглядишь, Соломон, — сказал он после паузы.

— Я прошел трансформацию. Ты будешь выглядеть примерно так же. Если ты, конечно, готов.

Ответа не последовало.

— Хорошо, Иосиф. Несколько минут ты можешь подумать, — он перевел взгляд на адвоката и полковника.

Александр Петрович почувствовал мягкий толчок. Это у них вместо «здрасте», решил он.

— Наши законы гласят, — продолжал Соломон, — каждый, вышедший на контакт, имеет право на контакт и на трансформацию в наш мир.

— Что случилось с теми людьми, которые приходили вас арестовывать? — спросил полковник.

— Они прожили здесь свои сроки, изжили шлаки предыдущей жизни и прошли следующую трансформацию.

— Разве жизнь у вас длится несколько лет? — вмешался Иосиф.

— Здесь другие масштабы времени и не одна его координата. Они прожили тут, по вашим меркам, не менее двухсот лет.

— А ты, Соломон, почему не ушел дальше? Не из-за меня?

— Ты тут ни при чем. Все дело в шлаках. Моя трансформация была поспешной и вынужденной. Ной канал остался открытым. В него до сих пор поступает всякая дрянь, и пока я не найду способа ликвидировать эти шлаки, я не могу пройти следующую трансформацию. Но все это к тебе не относится. Ты чист, и никаких забот у тебя не будет.

— Все равно не понимаю, Соломон. Гебешники прошли, а ты не прошел. Как это может быть?

— У большого человека большие шлаки, — с невинным видом обронил адвокат и осторожно покосился на горбуна, но тот пропустил его реплику мимо ушей.

— Совершенно верно, — неожиданно обратил на адвоката внимание Соломон Хейфец, — те люди после себя в вашем мире почти ничего не оставили. Они знают свое прошлое, это их негативный опыт, оставшийся в их сознании, как неприятные воспоминания детства в памяти взрослого. А за мной остались тяжелые шлаки, которые я должен как-то ликвидировать.

— А я тебе не могу помочь? Я теперь богат, Соломон, и могу нанять любых специалистов.

— Упаси тебя Бог лезть в это дело, Иосиф! У вас нет таких специалистов. Речь идет о дикой, неукрошенной материи с непрогнозируемыми свойствами. Это хаос, пожирающий космос, та самая внешняя тьма, о которой говорится в Библии. Это моя забота, и только моя.

— Чем опасны эти шлаки? — задал еще один вопрос полковник.

— Опасностей много. Самая простая из них — спонтанное выделение энергии в масштабах, превосходящих все ваши ресурсы.

— То есть, возможна серьезная катастрофа?

— Да, но она не грозит вам. Если я не справлюсь, эту работу сделают стоящие на высших ступенях, у меня же лично будет катастрофа, — Соломон повернулся к брату. — Осталось мало времени, Иосиф. Как ты решил?

— Ты же помнишь, Соломон, я в детстве для всех был обузой. Теперь я делаю музыкальные инструменты. Во всем мире волосатые молодые люди играют на моих синтезаторах, поют и приплясывают. Они говорят: «У меня Хейфец», «Я купил Хейфеца». И еще есть люди, которым я нужен, и даже такие, которые без меня не выживут. Это мое пятое вещество, Соломон, я сделал его своими руками. Я не могу все это бросить.

— Хорошо, Иосиф, я тебя понимаю, — Соломон перевел взгляд на полковника. — Что скажете вы?

— У меня семья, — бодро отрапортовал тот.

— А вы любопытный человек?

— Спасибо, — любезно улыбнулся адвокат, — но у меня есть ценная коллекция, ее нельзя оставлять без присмотра.

На лице Соломона в первый раз мелькнуло подобие улыбки:

— Вам еще долго предстоит развиваться. Прощайте. Прощай, Иосиф.

— Прощай, Соломон.

— Контакт окончен. Прошу сохранять неподвижность.

Золотистая сфера стала стремительно съезжаться, все испытали легкий толчок и опять оказались в грязном каземате.

Хейфец выглядел совершенно заморенным, происшедшее было для него непосильной нагрузкой.

— Мне трудно сейчас говорить, я поеду, — он слабо кивнул адвокату и полковнику и направил коляску к выходу.

— Вам помочь, мистер Хейфец? — бросился к нему адвокат, но тот лишь отрицательно качнул головой и выехал в коридор, навстречу спешащей к нему Джейми.

— Нам надо бы обменяться впечатлениями, — адвокат вопросительно глянул на полковника. Тот согласно кивнул.

— Но здесь душновато, — Александр Петрович шагнул к двери, и тут же отступил перед возникшим на пороге коренастым человеком в темносером костюме.

— Служба контрразведки, — буркнул он коротко, прикрывая за собой тяжелую дверь. — Ах, и вы тоже здесь, — он довольно фальшиво изобразил удивление при виде полковника и обратился к Александру Петровичу, — адвокат Самойлов, я полагаю?

— К вашим услугам. С кем имею честь?

— Майор Сапанов. Я только что слышал голос Хейфеца. Он тут был?

— Вы встретили его в коридоре, он ехал в инвалидной коляске, — адвокат скосил глаза на полковника, интересуюсь его реакцией: ведь то, что майор начал задавать вопросы, не заручившись формальным согласием старшего по званию, означало косвенный допрос самого полковника.

— Я не этого имею в виду, — раздраженно отмахнулся Сапанов, — мне нужен Соломон Хейфец.

— Вы же видите, тут, кроме нас, никого нет.

— Вижу, вижу. Но я слышал его голос, и хочу знать, что это означает, — он подозрительно осматривал углы камеры.

— Может быть, вам послышалось? — наивно спросил адвокат. — Голоса братьев иногда бывают похожими.

Сапанова передернуло.

— Прошу вас учесть, Самойлов, что об этом деле я осведомлен гораздо лучше, чем вы думаете. И вам известно, — он ухмыльнулся, — что Хейфец подозревается в убийстве двух человек. Как юрист вы должны понимать, какие отсюда следуют выводы, относительно вашего собственного поведения. В ваших интересах придти ко мне и рассказать все, не дожидаясь приглашения. Надеюсь, и вы мне поможете, — он поклонился полковнику почтительно, но с гаденькой улыбкой, и удалился.

— Очень вредный. Может напакостить, — заметил полковник.

— Какая жалость! — воскликнул адвокат.

— О чем это вы, Александр Петрович?

— О том, как жаль, что вы это сказали. Я хотел вам сказать то же самое, слово в слово.

— А, вот оно что, — полковник задумчиво глядел на собеседника, — ничего не поделаешь, я первый сказал.

— Ладно. Нужно его отвлечь. Сообщите ему что он ищет не там. Здесь работает водопроводчиком некто Харитонов, который знает обо всем этом больше, чем мы с вами, вместе взятые.

— И на какое время это может его отвлечь? — по-прежнему задумчиво поинтересовался полковник.

— На неопределенное, — голос адвоката был полон беспечности. — Думаю также, что ничего особенного мы сегодня не видели. Духота, жара, понимаете ли, всякое могло померещиться. А Иосиф Хейфец разговаривал сам с собой. Не хотим же мы в самом деле встретиться в психушке.



Они поднялись по лестнице, и полковник ушел с ключами к вахтеру, адвокат же стал прогуливаться по опустевшему коридору, не сомневаясь, что Харитонов болтается где-то поблизости. Тот не замедлил появиться.

— Что за цирк, адвокат? Горбун — откуда?

— Их Америки. Младший брат покойного Хейфеца, приехал посмотреть на могилу.

— Живут люди... — неопределенно протянул Харитонов.

— Кум приходил. Про вас спрашивал.

— Полковник, что ли?

— Нет, майор, в штатском. Говорит, вчера ночью что-то видел.

— И что видел?

— Не говорит. Искать будет.

— Пусть ищет, у него работа такая, — равнодушно проворчал Харитонов, но на долю секунды в медвежьих глазах мелькнула недобрая искорка, и адвокат понял, что сигнал принят.

Он добрался домой на рассвете и едва нашел в себе силы раздеться перед тем, как провалиться в сон. Его разбудили телефонным звонком, как ему показалось, не дав поспать и получаса. На самом деле он проспал до полудня.

Звонила Джейми: адвоката приглашали к мистру Хейфецу в четыре часа.

Подъезжая к гостинице, Александр Петрович прикидывал, сколько ему заплатят. Ему казалось, Хейфец должен заплатить больше, чем договорились, раз уж он этакий лилипутский Монте-Кристо.

Джейми встретила адвоката у выхода из лифта, и, как во время первого визита, они вдвоем наблюдали медленное приближение по коридору процессии во главе с Хейфецом.

Лечебные процедуры сделали свое дело: мистер Хейфец был в хорошей форме. Уединившись с адвокатом, он медлил начать разговор, и Александр Петрович тоже молчал, давая возможность хозяину выбрать, в каком ключе вести беседу.

Как и предполагал адвокат, Хейфец не склонен был обсуждать ночные приключения. Он приступил прямо к делу:

— По-моему, господин Самойлов, вы блестяще сделали вашу работу. Я считаю, все условия договора выполнены. Я должен вам заплатить тридцать тысяч, — он выдержал паузу, оставляя время собеседнику согласиться, либо не согласиться, или даже, мелькнуло в мыслях у адвоката, провоцируя его поторговаться. Нет уж, подумал он, не дождетесь, мистер денежный мешок.

— Вы по-прежнему предпочитаете наличные?

Последовала новая пауза, затем горбун нажал кнопку на своем пульте, и Джейми принесла на подносике шесть запечатанных пачек пятидесятидолларовых бумажек. Продемонстрировав деньги адвокату, она ловко, не прикасаясь к ним руками, переместила их в полиэтиленовый пакет с рекламной синтезаторов «Хейфец» и оставила около адвоката.

Далее, как обычно, был предложен кофе.

— Я на днях уезжаю, господин Самойлов, — сказал Хейфец, — и хочу вам на память сделать подарок.

Джейми прикатила журнальный столик, на котором под прозрачным колпаком покоилось что-то довольно большое. Приглядевшись получше, адвокат обомлел: это был фонограф.

Джейми подвезла фонограф к Хейфецу и сняла прозрачный колпак. Хейфец освободил какой-то рычажок, восковой валик начал вращаться, послышалось шипение и приглушенный хрипловатый голос, неразборчиво произнесший несколько слов по-английски.

— Вы слышали голос Томаса Эдисона, — торжественно объявил Хейфец, — этот фонограф — из первой партии, выпущенной им самим. Хорошая вещь, но увы, он, как и я, может жить только под стеклянным колпаком.

Джейми передвинула столик к адвокату, и тот, в свою очередь, тоже запустил фонограф и тотчас остановил его.

— Спасибо, это царский подарок, — адвокат церемонно поклонился. — Я потрясен вашей щедростью... и вашей осведомленностью.

Джейми сама пошла проводить Александра Петровича к машине, а за ними молодой человек спортивного вида нес фонограф.

— Вы счастличик, господин Самойлов, — щебетала по пути Джейми, — мой шеф не каждому делает такие подарки. Если вы захотите его продать, на любом аукционе вам дадут не меньше двухсот тысяч.

Но каков проныра, думал, сидя за рулем, адвокат. Просто счастье, что не пронохал о тех полутора тысячах. Разумеется, эту чудесную игрушку он, Самойлов, никогда не продаст, и тех двухсот тысяч, о которых говорила Джейми, ему никогда не видать. Но сейчас это не было важно, как всякого истинного коллекционера в подобной ситуации, его переполняла детская радость обладания. К тому же, ему не ткнули лишние деньги в конверте, словно чаевые, а отблагодарили изысканным подарком, как джентльмен джентльмена, и сертификат, лежащий на заднем сидении, удостоверял не только подлинность фонографа, но и респектабельность адвоката Самойлова на уровне мировых стандартов.

Новый экспонат музея звукозаписи принес и радость и хлопоты. Такая вещь кое-к-чему обязывала, и Александру Петровичу пришлось потратить три дня на установку более современной сигнализации и дополнительной, металлической, двери.

Он уже и думать забыл об Университете, когда ему позвонил Башкирцев и попросил приехать.

В кабинете профессора, кроме него самого, у стола сидели Клещихин и человек в джинсовом костюме, который отрекомендовался как полковник Шереметев.

Понятно, теперь у них будут боярские имена, заметил себе адвокат.

Джинсовый полковник объяснил, что два дня назад исчез его подчиненный, майор Сапсанов. Он, полковник Шереметев, приехал сюда лично, потому что в рапортах майора относительно циклотрона и приезжего бизнесмена Хейфеца много странного.

Поняв, куда дует ветер, адвокат рассказал о своей первой и единственной встрече с майором. Тот, несомненно, вел себя несколько странно, был раздражен и нервозен, и, что совсем удивительно, слышал голос Соломона Хейфеца, умершего восемь лет назад.

— Это был его пунктик, Соломон Хейфец. Он был просто помешан на нем.

— Почему вы о нем говорите «был»? — укорил Шереметева Александр Петрович. — Это плохая примета, так говорить.

— Да, конечно, — согласился джинсовый полковник, — извините.

В заключение разговора адвокат попросил, для порядка, показать фотографию майора и опознал его. Затем полковник Шереметев, сопровождаемый Клешихиным, совершил экскурсию в подземные помещения, и оба полковника, воркуя о своем, удалились.

Александр Петрович хотел последовать их примеру, но Башкирцев, проводив кагебешного боярина, обратился к адвокату с удивившей того торжественностью:

— Если вы не спешите, не откажите мне в удовольствии пообщаться с вами приватно.

Заперев дверь кабинета, он выставил на стол коньяк и конфеты.

— Дорогой Александр Петрович, у меня радостное событие. Более того, я позволю себе сказать, у нас с вами радостное событие.

Адвокат, попивая коньяк, ждал продолжения.

— Сегодня утром было плановое включение ускорителя, и представьте, дежурный электрик докладывает: потребление энергии резко упало. Стали разбираться, в чем дело — так вот, эта окаянная подземная установка сама собой отключилась. Я на радостях велел размонтировать кабели, ведущие вниз — и циклотрон нормально работает. Боже мой, Александр Петрович, я только сейчас понял, каким грузом это висело на мне. Нам есть, что отпраздновать, — он снова наполнил рюмки.

— А я вам сделаю приятное предсказание, — адвокат охотно подхватил праздничную тональность разговора, ибо, по своим причинам, тоже пребывал в превосходном настроении, — отныне призрак Хейфеца никого тревожить не будет.

— Он вам сам об этом сказал? — со счастливой улыбкой спросил профессор.

— Разумеется, ведь я духовидец. И заявляю со всей ответственностью, что дух Соломона Хейфеца рассчитался со всеми земными долгами и покинул нас навсегда.

— Никакой вы не духовидец, а просто большой шутник, — погрозил ему пальцем Башкирцев. — У вас замечательный дар создавать веселую атмосферу, я даже не знаю, что бы без вас делал.

Домой Александр Петрович ехал, мурлыча под нос «Волшебную флейту». Да, думал он, общение со счастливыми людьми — подлинный эликсир жизни.

В почтовом ящике он обнаружил конверт, большой и плотный, точно такой, в каком месяц назад получил визитную карточку Хейфеца, но на

этот раз на конверте не было никакой надписи. Он несколько удивился, ибо знал, что Хейфец сегодня должен был уехать.

Отключив сигнализацию и заперев обновленные замки на дверях, он вскрыл конверт — из него посыпались десятидолларовые бумажки. В полном недоумении он, чисто механически, пересчитал их: получилось ровно полторы тысячи долларов.

От стыда и обиды он почувствовал жар в щеках. Значит, пронюхал все-таки! И решил, свинья, повоспитывать. Швырнуть бы эти паршивые бумажки в его серьезную физиономию! Впрочем, Александр Петрович отлично знал, что не сделал бы ничего подобного. Он придвинул купюры к себе, словно боясь, что их кто-то отнимет. В конце концов, это его, адвоката Самойлова, пятое вещество. Он заставил себя сдерживать вредные для здоровья эмоции и принялся складывать хрустящие доллары в аккуратную пачку, бормоча слова, неведомо как застрявшие в закоулках памяти со времен далекого пионерского детства:

— Буржуй проклятый!

---

Николай Голь

**БЛАГОДАРНОСТЬ**

А хотите, скажу, за что я  
благодарен годам застоя?

А за то, что так научили  
говорить, как не говорили  
никогда, нигде, ни о чем  
(это я не про сложность тропов  
и иронию, и эзопов  
здесь язык как раз ни при чем).

... А за то, что натренировали  
так читать, как вовек не читали,  
и утроили этот дар  
(это я не про строчки точек,  
и не чтение между строчек,  
и не про шестой экземпляр).

... А за то, что в пыли бесед  
иль под утро, уткнувшись в книжку,  
никогда не тянул на вышку,  
а, как максимум, на семь лет.

\* \* \*

Все время ниточку времен  
сучат и связывают парки...  
У баррикады с двух сторон  
сошлись враги для битвы жаркой.  
Один ружьишком старым тряс,

другой хвалил оружие это,  
а третий, юн и лупоглаз,  
палил, подлец, из пистолета.  
Телега, бочка и кровать  
скрывали лик его бесстрашный...

Но поздно, кажется, стрелять,  
но вот дошло до рукопашной.

Сперва горой навалят хлам,  
потом дерутся под горою,  
потом разносят по домам  
друзей, не вышедших из боя,  
и баррикада не гниет,  
хоть до нее и нету дела:  
по эту сторону ее  
и по другую — все истлело.

#### СВИДАНИЕ

В июле Зиновьев попросил свидания  
с Каменевым. Совместно обсудив си-  
туацию, они согласились выйти на  
суд при условии, что Сталин под-  
твердит обещание не казнить ни их,  
ни их сторонников.

*Р. Конквест*

Когда дуло нависнет над затылком или же лбом,  
уже безразлично: спереди дуло, сзади ль,  
и атеист вспоминает тринадцатый Псалом,  
в котором сказано: Боже, спаси Израиль!

Впрочем, при чем тут еврей? Перед этим равны  
христиане, язычники, даже, как их, фрейдисты.  
Навзничь в траву или носом по камню стены —  
хочется в рай, и неважно, в Эдем, в Парадиз ли.

Это жизни закон — или смерти, верней говоря,  
но уж точно закон, а закон, как известно, что дышло.  
И когда в бах-бабах превратится вербальная пря,  
и Перуна припомнишь, и Зевса, и Будду, и Кришну.

В общем, сколько перед стрелком стрелку компаса ни верти,  
Кааба находится там, где прикажет Коба,  
в именно в точке, где сходятся все пути,  
то есть тут, где мы очутились оба.

\* \* \*

На рассвете отплывали с помпою,  
с полным трюмом, такелажем, помпою  
под тысячекратное ура,  
не заметив, что под парусиною  
притаились выводки крысиные:  
старцы, папы, мамы, детвора.

Кроме этих крыс, плывущих зайцем,  
вышли в море несколько скитальцев.  
Их никто не числил в новичках:  
два матроса с выправкой завидною,  
кок со сковородкой, боцман с рындюю,  
капитан с цепочкой на очках.

Два матроса испарились первыми.  
Кок рыдал, не в силах сладить с нервами,  
боцман помянул такую мать.  
Капитан на капитанском мостике  
видел всюду усики и хвостики  
и решил, что надо завязать.

Боцман был вторым, но не последним.  
Он исчез беззвучно и бесследно,  
только кок случайно увидал,  
как в густых волнах по бейдевинду  
шла на дно начищенная рында.  
Капитан сказал, что завязал.

Кок в тоске стал ниже на два фута.  
Капитан прокладывал маршруты  
брился, пел, крепился, пил вино,  
Но на повороте ненароком  
вдруг подумал: что там стало с коком?  
И припомнил: не видал давно.

Смотрит кэптен, свесивши за борт очки:  
что это за лапки и за мордочки,  
серые, как серая земля?  
Это крысы уплывают с тонущего,  
посреди седой пучины стонущего,  
умирающего корабля.



---

---

Алексей Шельвах

### ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Для разминки представим голубое, в три этажа, здание родильного дома с густопсовыми гипсовыми амурами и водосточными трубами из чистого серебра.

Напротив здания, задрав рыжеволосую голову, стоит мужчина в парусиновой куртке, в парусиновых штанах, в брезентовых башмаках. И голову он задрал к верхним окнам здания.

«Эмилия! — восклицает он. — Неужели мальчик?»

Из окна по пояс высовывается моя мама со мною на руках.

«Похоже на то!» — восклицает она ответно.

Кстати, представим и сугубо ленинградскую погоду: иглы влаги, завывание ветра, атлантического по происхождению.

Вероятно, завывал я и сам, вился и биясь в маминых руках, в струях ветра.

Повторяю: в течение детства и отрочества только и было мне известно об отце, что звали его Максим и что умер.

Нет, обнаружив однажды на обложках всех моих учебников чернильные тщательнейшие парусники, мама вздохнула и придумала мне, что папа был штурманом дальнего плавания.

И ровесникам я говорил горделиво и в маминых словах не сомневаясь: «Папа был штурманом дальнего плавания!»

Более ничего не желала придумывать мама, как и сколько ни упрашивал я ее в течение детства и отрочества.

А потом перестал упрашивать. Стало некогда, стало не до того.

Начались прозрачные ночи и сомнамбулические прогулки возле блистающих волн — Невы, разумеется.

И, разумеется, гуртом. С гитарами наперевес и в битловых патлах. И бутылка водки — на храбрых семерых. И блатные баллады — хриплым хором. И девушки по случаю выпускного бала в большом белом количестве.

О пламенный пах, о холодные уши и стальные мышцы. Обнюхивал, облизывал одну в сиянии сирени. Короче, — о, юность.

А потом был абитуриентом, — мямлил, малиновый, мокрый. В английском вообще не волок. Срезался; провалился, засыпался.

У черта на куличках отбивал двухгодичную воинскую повинность — участвовал в развертывании объектов за колючей проволокой. На вышках скучали ровесники в черных тулупчиках с автоматами на перевес.

... Это учительница русского языка и литературы Элла Эдуардовна на родительском собрании убедила маму, чтобы я обязательно поступал на филологический. Я же прочил себе судьбу, осуществимую без высшего образования. Однако согласился при виде маминых слез.

Мне будущность мнилась лестно, и были тому причины: в течение детства и отрочества я публиковался на страницах пионерских газет, исправно восхищаясь красотами очередного из времен года или живописуя городские достопримечательности — от краеугольного броневика до кораблика в необитаемых небесах.\*

Вот будущность и мнилась мне лестно. И мнение это разделялось окружающими — поблажки и даже потачки сыпались градом, как сладкое драже.

Случалось мне быть невразумительным на уроках — и учительский состав вместо причитающегося мне кола ставил три балла в надежде, что оглашу их имена на всю историю литературы, благодарный.

Или бывал я дерзок с некоторыми соученицами, и соученицы некоторые охотно переживали священные восторги вперемежку со священными же ужасами в упомянутых выше кустах.

Только учительница русского языка и литературы Элла Эдуардовна проявляла немилосердную требовательность. Жаловался я на людоедку в задымленном школьном туалете, принимая чинарики из участливых рук, но, конечно, смекал и кумекал, что требовательность Элочки объясняется именно лестным — выше, чем у кого бы то ни было — ее мнением о моей будущности... мнением, таймым от окружающих... тоже смекал я и кумекал, почему.

Итак, не желая огорчать маму, согласился поступать на филологический. И был уверен в успехе. Поэтому время, абитуриентами употребляемое на заучивание, сопровождал.

Ну, например, посещал отдельную от родителей комнатку одноклассника и соперника по перу Федосея Каратышкина.

---

\*Был опубликован и образец любовной лирики, именно о сомнамбулических прогулках. В середине шестидесятых, в пионерском печатном органе — либералом был редактор! Правда, за ноги извлек из кустов, вычеркнул бутылку, затолкал под мышки учебники, заставил взяться за руки и шагать в утро пурпурное. Едва мы взяли за руки, учебники выпали из под мышек.

Федосей был, как и я, даровит; как и мои, и его стихотворения печатались на страницах пионерских газет. Он однако высказывался о будничности для нас обоих в терминах — где только их наслушался или начитался? — тюремных. Он лучше меня знал историю советской литературы.

Сызмала у Федосея болела почка. Он был освобожден от воинской повинности и поэтому не торопился на филологический. Зато в стихотворениях, сочиняемых им денно и нощно, торопился осмыслить свое и ближних существование, — дело, что и говорить, не терпящее отлагательств, если сызмала болит почка и вдобавок лучше многих знаешь историю советской литературы.

Эта его самозабвенная торопливость стала очевидна после церемонии вручения аттестатов зрелости. Федосей отказался участвовать в сомнамбулических прогулках, отправился домой, в отдельную свою комнатку, заканчивать поэму. «О всех нас», — пообещал он, однако услышал в ответ лишь «улю-лю» коллектива соучеников и соучениц, ставших бывшими.

До утра мы резвились возле блистающих волн, трезвонили гитарами, приветствовали воплями нетрезвыми утро пурпурное, залог лестной для всех нас будущности, а Федосей самодостаточно строчил поэму.

Днем я навестил его, чтобы поинтересоваться творческими удачами, а заодно и как бы между прочим похвастаться своими, в упомянутых выше кустах, — пусть не задается, пусть позавидует!

Изумленный, я прикусил язык — за письменным столом красноглазый Федосей в чалме табачного дыма запрокидывал лицо в потолок и с потолка считывал незримые простому смертному буквы. Он стремглав наклонялся к листу бумаги, записывал их, а на кушетке. . .

А на кушетка расположилась Елена Плетнева с волосами распущенными и трусами припущенными.

Оказывается, из упомянутых выше кустов, где она давеча позволяла ощупывать и облизывать себя на прощание всем ставшим бывшими соученикам (и мне!), Елена опрометью кинулась, а точнее написать: ринулась к Федосею и незадолго до моего прихода сделала с ним все, что хотела.

Они подтянула трусы и объявила мне, что покуда Федосей не завершит начатую о всех нас поэму, нечего и думать ему о поступлении на филологический, на фиг это, строго говоря, нужно, Федосей будет завершать, а она готовить пищу, стирать одежду, и простыни, и наволочки, нечего думать в ближайшем будущем и о рождении ребенка, она все понимает и обязуется принимать меры предосторожности, а зарабатывать можно и шитьем на дому, шить умеет и любит, а еще поступит на курсы машинисток и станет полезна Федосею помимо прочего в качестве машинистки, и это здорово, ведь личность Федосея с восьмого класса привлекала ее внимание, на уроках она украдкой, руки под крышкой парты, аплодировала его осведомленности в области истории литературы, а литература, как известно, создается на материале чувств и размышлений,

и вот Федосей, зная лучше многих историю литературы, лучше многих научился чувствовать и размышлять, чем и привлек ее внимание. после уроков она частенько шла следом до самого его дома, наблюдая, увы, издали, увы, искоса, как он раскрывает и закрывает рот, постепенно приотрапливаясь в шевелении губ его угадывать изрядные куски поэтического, сочиняемого вот так запросто, на ходу, текста, в котором торопился он осмыслить свое и ближних существование, а когда начались прозрачные ночи, стало ей невмоготу, взад и вперед ходила под окном, золотым в ряду черных, глядя отнюдь не под ноги, отчего отдавливала хвосты кошкам, перебегавшим через тротуар, кошки выли, подвывала и она, и сегодня не вытерпела, по водосточной трубе достигла уровня четвертого этажа и заглянула, о любимый, о красноглазый и самодостаточный, впрыгивая, порвала юбку, но это пустяки, зато из разговора с Федосеем поняла, что торопливость его, обусловленная неизлечимым заболеванием, по сути героична, да-да, попытка осмыслить свое, а главное, других, кому недостает ума или смелости, существование, героична и требует недюжинных духовных усилий в условиях утечки времени, которое для неизлечимо больного утекает особенно быстро, и не всякий неизлечимо больной задумывается над смыслом своего, а тем более других, существования, неизлечимо больному и без того тошно, попытка Федосея потому и героична, что требует духовных усилий именно недюжинных, но он справится, он осмыслит, способностей ему не занимать статью...

С того дня Елена поселилась у Федосея, переорав своих и его родителей. Не за страх, а за совесть готовила и стирала, потом на кушетке перемежали они утехи изучением литературного наследия детских и отроческих лет его. Одних только поэм предстояло перепечатать поленицу.

Елена и осваивала машинку, тыкала поначалу указательным, а вскоре и остальными, любовь делала ее нечувствительной к усталости.

Она отворяла мне, простоволосая и раскрасневшаяся, запахивала на себе распахнутое и, жалеючи меня, видом бледного (о причине бледности ниже), угощала пирожками с крапивою, которые моментально пекла в свободные от машинописного труда моменты.

За пирожками и чаем Федосей и я декламировали гражданскую лирику Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского, до хрипоты курили и витийствовали на темы будущности литературы в частности государства вообще. Несомненно гражданственная лирика этих тогда поэтов вдохновляла нас быть смолоду в ответе за все происходящее в государстве.

На пирожки зааживали однокашники Виктор Умнин с умной миной, здоровенный Тобиас Папоротников с гитарой, Генка Адрианов с девушками, мы скидывались на бутылку и развлекались помимо витийств танцами-шманцами и шурами-мурами.

...Теперь продолжу повествование о себе. На чем я остановился? Сейчас посмотрю. Ага, нашел: «...развлекались танцами-шманцами и шурами-мурами». Ну, да, было дело.

Но прошлепав звучными тропами по краю Лахтинского болота в сторону золотого, мазутного устья Большой Невки, куда интереснее препровождал я времечко на территории лодочной станции, Тобиас Папоротников там капитально ремонтировал доставшееся ему даром корыто.

Владелец корыта убыл некогда в заграничную командировку и пропал без вести. Сторож лодочной станции заявил нам с нескрываемым возмущением, что владельца как пить дать похитили и закармили веществами сотрудники западных специальных служб.

И однажды атлантический по происхождению ветер сорвал брезентовое покрытие, и с тех пор корыто круглосуточно захлебывалось ливнем очередного из времен года (климат наш своеобразен).

Беспризорный образ жизни не мог не сказаться: корыто где прогнулось, где выгнулось, и главное: прогнило, прогнило до дыр.

Сторож лодочной станции и переместил решето в угол территории, в сень кустарников, невесть отчего разросшихся вокруг корыта пуше прежнего и образовавших рошу, нет, чашу, нет, пушу — по уши даже здоровенному Тобиасу. Вымахали выше тобиасова колена и травы, в особенности могильная и богородская, всяческие виды осоки, спорыш (целбнейшее средство при почечных заболеваниях), чертополох, подорожник, выручавший впоследствии Тобиаса и меня при травмах, и прочая, росточком не вышедшая шушера егозила, ерзала на одном месте или, встав на любопытные цыпочки, норвила заглянуть в иллюминаторы, а со стороны Лахтинского болота миллионом сиңих глаз уже надвигались незабудки, и прелестная их внешность не сулила судну ничего хорошего, самое появление незабудок предвещало натиск растительности откровенно болотной, — возле кормы уже шушукались пушица и сушеница.

И прибегали с болота лягушата — соревноваться в прыжках через палубу. Изныв от влаги и скуки, они ради развлечения еще как рисковали, ведь над судном веселились всеядные вороны.

Опять же онятно обросли замшелые, замшевые борта, слизни оплошливо высовывались из под шляпы питающего их опенка и, не успевая пикнуть, становились пищей тех же ворон. Не худо устроились вороны — не щадили даже мышевидного, в роше заплутавшего грызуна!

Жирных от пожины и ставших, как это часто бывает, трусливыми, ворон теснила орава чаек. Альбатросы однако не придумали ничего умнее, как использовать судно в качестве отхожего места. Заляпали белыми кляксами так, что когда мы впервые приблизились к судну, мне лично увиделось оно этакой мраморной гробницей в ох, неслучайной роше между морем и болотом!.. в роше, для Тобиаса и доныне священной, ведь совершал он здесь жертвоприношения будущности своей в виде затрат свободного времени и недюжинных мышечных усилий...

В роше этой имел обыкновение отдыхать сторож лодочной станции Николай Петрович Власов.

Но сперва опоражничивал он бутылку водки. В три приема из титанического стакана. И считал дозу достаточной, чтобы заморить червячка. И ковылял в рошу, укладывался в сень кустарников и трав.

В нетленном тельнике и парусиновых портах, с дымными космами, золотыми зубами и татуированным туловищем, старикашка стал нашим другом, а в науке судостроения — учителем.

Хотя был он прост в еде и одежде, нищенской его зарплаты нипочем не хватило бы на ежедневную бутылку. Но владельцы лодок, тем паче катеров и яхт, покупали ему бутылку эту, лишь бы он сторожил недремально плавсредства и не ослаблял над ними попечения. Он и не ослаблял: где подоткнет края брезентового покрытия, где присоветует дельное относительное ремонта, где и покрасит чего за дополнительную дозу. «Николай, — обращались к нему судовладельцы, — ты уж приглядывай за моим корытом».

Забавно, что после употребления он лишь лежал в роше, как отдыхающий леший, но судовладельцы уразумевали в его лежании высший смысл. Они заметили, что несмотря на периодическое пренебрежение сторожем своими обязанностями, плавсредства пребывают в целости и сохранности.

Однажды он обмолвился, слушая в тобиасовом исполнении блатную балладу, что наказание отбывал за... тут его позвали судовладельцы.

О морском его прошлом можно было догадаться по татуировкам — якоря как водяные знаки.

И хромал он на левую ногу. Это в ледяном лесу под Выборгом прозрачный финн прострелил ему сухожилие. Да, в сороковом.

Родных и близких у него не было.

Большую часть времени, ежели не лежал в роше, проводил за выуживанием из мазутной золотой жижи золотых окушков и ершиков. Знал толк и в подледном лове: из черного отверстия в стеклянной реке выдергивал вечно молодую корюшку, как выдергивали ее рыболовы Санкт-петербургские да и допетровские рыбаки ингерманландские.

Рыбу распродал в трамвае на пути к дому, оставшееся дарил коммунальным соседкам.

Тем не менее было бы несправедливо избочничать Николая Петровича в злостном истреблении рыб. Рыболовство было для него баловством. Птицы первыми поняли, что человек он добрый: в роше воздвиг ансамбль кормушек и регулярно наполнял их кормом. Было бы ошибочно представлять его и отшельником на берегу реки жизни, ищущим общества исключительно растений, птиц, лягушат и мышевидных грызунов, — пил

как в одиночку, так и на троих с теми же судовладельцами, выказывая неподдельный интерес к обсуждаемым за бутылкой проблемам внутригосударственного и международного значения.

Правда, и в хлам пьяные робели разговаривать с ним о бабах: прибаутками на тему материально-телесного низа пугал и самых похотливых.

Сочинял на эту тему еще и куплеты, которыми веселил старух в коммунальной кухне.

Старухи, перемигиваясь, выставляли ему купленную вскладчину бутылку за оказываемые бытовые услуги: починку будильника, вбитый гвоздь.

Помню, я похвастался перед ним образчиком любовной лирики, опубликованным в пионерском печатном органе. Без обиняков растолковал он мне смысл сомнамбулических наших прогулок. Да я и сам осознавал этот смысл!

«Зачем же припел книжки под мышками и утро пурпурное?» — шурился и шерился старичина.

Ухо мое пылало алым эхом.

В отместку я хохотал, когда на территории лодочной станции появлялись долговязый Федосей и статная Елена — старикашка лебезил перед ними, путался у них в ногах, приносил из будки единственную табуретку, предлагая Елене присесть.

Удалялся сторожить плавсредства, а на самом деле прятался в зарослях и оттуда рассматривал Елену!

А предчувствуя грозу, шатко, валко, но и шустро шастал между лодками, катерами и яхтами, успокаивающе гладил их по обшивке, принаитовливал брезентовые покрытия. С первым громом воздевал кулачище в небеса! Облитый ливнем, орал в ответ матом!

Разумеется, он волновался за вверенные ему плавсредства: берега рек, именно берега болотистые, отличаются повышенной электропроводимостью — заурядная молния с температурой пламени всего двадцать тысяч градусов способна спалить любое плавсредство. Это он цитировал сведения из научно-популярного издания:

«Моргнуть не успеешь — испепелит со скоростью в сто тысяч раз превосходящей скорость звука!»

И все же в его поведении чудилось мне чуть ли не соперничество со стихиями, я подозревал Николая Петровича в сверхъестественных со стихиями отношениях. Вряд ли отсутствием мзды за попечение, размышлял я, объясняется плачевная участь доставшегося Тобиасу корыта.

В шутку я высказал другу следующее:

«Судно сие обрек Николай Петрович на все муки, какие только назначены древесине в условиях тлетворного нашего климата. Перемещенное

неспроста в угол укромный, когда же оно прохунилось, вот вопрос: до перемещения или после? Сдается мне, что было оно до перемещения в целости и сохранности, как и прочие плавсредства.»

«Ну и что? — отвечал Тобиас. — Ну и что? Николаю Петровичу виднее, как распорядиться плавсредствами пропавших без вести судовладельцев.»

«А то, — возражал я, — что Николай Петрович престранный сторож лодочной станции! Да и не сторож вовсе, а жрец! Жрец в соответствующей роше! И его отношения со стихиями догадку мою подтверждают!»

Тобиас обладал чувством юмора и не обиделся за Николая Петровича, которому был благодарен. Они ведь были коммунальными соседями, и старик, зная тобиасовы с детства увлечение парусным спортом и намерение поступить по окончании школы в мореходку, подарил ему утешительную возможность плотничать, дыша атлантическим по происхождению ветром. Николай Петрович очень сомневался, чтобы круглого сироту приняли в мореходку, а даже и приняв, выпустили в дальнее, за пределы нашего государства, плавание.

Он говорил тетке Тобиаса при встречах на коммунальной кухне: «Проблема занятости молодежи — проблема и в нашем обществе. Пущай покамест плотничает на свежем-то воздухе и у меня на глазах.»

Сидя однажды на унитазе, установленном в нише этой кухни, услышал я через ветхую дверь мнение Николая Петровича относительно анкетных данных друга моего.

Это праздновался тобиасов день рожденья, и Виктор Умнин с Федосеем развесили над столом дымную беседу, и Генка Адрианов развеселился с девушками, которых по обыкновению привел в количестве больше, чем требовалось, и Елена, призывая всех-всех отведать пирожки с крапивою, немудреным таким способом отвлекала внимание девушек от Федосея (излишние предосторожности — девушки глядели только на Генку).

А я глядел только на Елену и грустил, что она живет с Федосеем, и ел пирожки, стараясь ей угодить.

И до того наелся, что вынужден был отлучиться в нишу. Там, на расстоянии в один метр от моего уха, услышал я разговор Николая Петровича с Людмилой Сергеевной, теткой Тобиаса.

Невольный слушатель, узнал я, что отец Тобиаса был англичанином по фамилии Ферн, и был он арестован в сорок восьмом. Тобиас родился через день после ареста отца. Мать его умерла от нервного потрясения тогда же. В общем, жалко парня, не видать ему моря, анкетные данные у него — прямо скажем.

Я сидел, разинув рот, — ну и дела, ничего себе, обалдеть можно. Я и обалдел от услышанного. Как же это Тобиас за годы совместного



обучения и внеурочных игр ни разу не проболтался, что отец у него — арестованный англичанин? Ай да Тобиас. И никто из нас, соучеников его, ни разу не удивился, что это за имя такое, — ну и мы. И на что же он в таком случае надеется, предполагая поступить в мореходку?

Обалдев от услышанного, я не заметил, что в холщевый мешочек для газет (газеты издавна используются в коммунальных квартирах по назначению) вложена пачка наждачной бумаги, нарезанной по обиходному образцу. Ошутив трение крупных корундовых крох о ягодицу, вскрикнул! Голоса за дверью умолкли, потом Людмила Сергеевна спросила укоризненно: «Опять ваши дурацкие шутки, Николай Петрович?» «Не пойму, ты это о чем, Сергеевна?» — ласково отвечал Николай Петрович.

Когда шаги отзвучали, я вышел из ниши и решил не огорчать друга расспросами. Если Тобиас в неведении, так и пушай в самом деле плотничает покамест на свежем-то воздухе.

С детства и до середины отрочества Тобиас сразу после уроков (а по выходным и с утра) спешил в яхт-клуб, где проявлял врожденную расторопность в обращении с парусами и похвальную усидчивость на теоретических занятиях в межнавигационные периоды. Но угораздило его связаться в потасовку клубных ровесников — кого-то с проломленной башкой спихнули с пирса. Правые и виноватые были из клуба исключены.

К моменту церемонии вручения аттестатов зрелости Тобиас порядком подзабыл науку хождения под парусом, вот Николай Петрович и подарил ему возможность плотничать, припоминая, значит, морское дело с азов, чтобы впоследствии бороздить золотое мазутное устье и фиолетовый Финский залив на собственном судне водоизмещением в целую тонну!

И Тобиас плотничал. Но сперва шуганул чаек и ворон на все четыре стороны неба, и повыдергал плевела вокруг судна, а лягушата сами (шлеп-шлеп-шлеп) попрыгали восвояси — в Лахтинское болото. Затем приступил к дотошному осмотру судна: острием ножа вонзался в каждый квадратный дюйм поверхности корпуса, это он выискивал участки, тронутые гниением. Таковые безжалостно вырезал, мечтая заменить вставками древесины здоровой и качеством не хуже, именно мечтая, ведь неоткуда было взять ему древесину здоровую, вот и оставалось лишь мечтать о добротных, в меру просушенных ясеневых досках для выделки гнутых шпангоутов или достаточном количестве шпона (из кедра!) для обшивки. И, как хлеб, требовался ему дуб для изготовления форштевня.

Увы, корыто было таким ветхим, что лезвие ножа под воздействием даже нежного нажима пронзало борт.

Тогда Тобиас вознамерился построить судно заново и непременно деревянное, то есть подлинное от киля до топа мачты. По ночам штудировал справочники по старинному судостроению и вдруг ушибался лбом о

плоскость стола — не просыпался, какое там — сразу начинало грезиться бревно горного вяза, вожденное для изготовления кия, и крепок был сон, как это бревно.

И мне, и мне было занято перелистывать справочники по старинному судостроению, недаром, значит, отец мой был... был... кем же все-таки он был?

Туговато приходилось Тобиасу в начале его предприятия — тетка на низкооплачиваемой работе из сил выбивалась, чтобы обусть и одеть племянника. Не могла она выделить денег на покупку досок.

И Тобиас на три летних месяца нанялся в отделение связи доставщиком телеграмм. До колотья в обоих боках бегал по нашей улице с бакенбардами пены на все равно румяной физиономии!

И допоздна (и до помрачения зениц) готовился к вступительным экзаменам в мореходку. Уже в облаке обморока штудировал справочники...

А по выходным на территории лодочной станции помахивал топоришком, купленным за свои, кровные.

Происхождение его энергии мне-то было теперь известно: сказывался папа-англичанин.

Да, туговато ему приходилось, и все же работа спорилась (а не стопорилась). Николай Петрович снабжал его останками доисторических плавсредств, каковые находил в зарослях рогоза вдоль течения Невы или в тлетворных ямах Лахтинского болота.

Из этих сомнительных по прочности материалов построили они над судном навес, приладили стены — получилась сарай или, говоря грамотнее, эллинг, внутри коего Тобиас в охотку рубил, долбил, строгал, пилил, сверлил, а впоследствии предполагал циклевать, шпаклевать, смолить, белить...

Помогал ему и я чем мог и как умел. Утомленные, усаживались мы на бревнышко, перекуривали и во все глаза озирали горизонт залива.

О время, о Нева золотая, мазутная, вечно блистающая и впадающая в синий, зеленый, лазурный, а главное, открытый, открытый океан!

Короче, о юность. И чаек визг. И сторож моря пьяный вдрызг.

Однажды и Федосей полюбопытствовал заглянуть в пресловутые справочники. Да-да, при всей самодостаточности Федосей иногда совал нос в чужой вопрос. Снисходительно он сознавался, что грешен, грешен, сует нос именно не в свой, а в чужой и, разумеется, не бог весть какой важности вопрос, и сует лишь затем, чтобы осведомиться хотя бы мало-мальски о том или ином виде человеческой деятельности. Наивный Федосей полагал, что попытка осмыслить свое и других существование станет внятной этим другим, если насытит он текст описаниями всяких разных видов человеческой деятельности, то есть выкажет себя сведущим не только в истории литературы, пусть даже и суровой советской,

и тем придаст тексту видимость достоверности. На самом деле из всех видов человеческой деятельности наивысшим почитал он создание стихотворений и поэм. Его лицемерие меня бесило, а снисходительное любопытство относительно священных справочников тем более.

Вероятно, из любопытства этого снисходительного и приперлись однажды Федосей и Елена на территорию людочной станции. Тобиас предложил им прилечь на траву возле судна, и распили мы на четверых одну бутылку — по молодости каждому из нас, чтобы захмелеть, хватало стакана — после чего Тобиас начал жаловаться на отсутствие древесины и каких-то плотницких инструментов, а Федосей сунул нос в справочник, а Елена утешала Тобиаса, а я залюбовался ее внешностью: простоволосая и раскрасневшаяся (на сей раз от выпитого, а не от машинописных работ), она была необыкновенно хороша на фиолетовом фоне залива.

Вдруг Федосей захлопнул, не долистав, справочник, потянулся и в извинение за зевок томно этак пообещал может быть когда-нибудь что-нибудь и сочинить о море и морях.

Он же был ехидным, Федосей, но был он ехидным поневоле, ведь в самые самолюбивые времена детства и отрочества лишь наблюдал развлечения ровестников на свежем-то воздухе. По причине почечного заболевания парусный спорт, в частности, был ему заказан.

А я тогда не понимал, что ехидство для Федосея — способ выражения духовного усилия, и не боится он, выражая, выглядеть даже комичным, как вот давеча, ибо смысл своего существования осознает в непрерывных духовных усилиях. О отчаяние сызмала лишь наблюдателя! Приходило же ему в голову, что литературное творчество, пусть и ночью, и денно, и с упомянутыми усилиями, — занятие все же незавидное для взрослого здорового парня!

Но здоровым-то он как раз и не был, почему и захлопнул справочник, и зевнул с вызовом.

А я, без того уже на взводе от близости Елены, не стерпел оскорбления кораблей и воскликнул:

«Послушай, Федосей, а ведь поэту вроде как бы и не пристало относиться к чему бы то ни было иронически? Прежде, чем насмешничать, не обязан ли он изучить объект предполагаемых насмешек?»

Федосей и рта не успел раскрыть, как Елена вскочила с травы на ноги и спросила запальчиво:

«Это еще зачем?»

«Мне кажется, — отвечал я, не дрогнув и продолжая полулежать, — что изучение объекта предполагаемых насмешек побуждает изучающего

сочувствовать этому объекту. Объектом твоего, Федосей, ехидства стала наша с Тобиасом судостроительная деятельность. Так вот желание понять, зачем нам понадобилось возиться с этим корытом (если бы желание такое у тебя возникло), я и называл бы в данном конкретном случае „изучением объекта“. Д-да, желание понять я называю уже и изучением, и вскоре объясню, почему, а покуда, Елена, спрошу тебя: не способен ли поэт орлиным-то своим оком проникать предметы глубже, нежели простые смертные?»

«Но обязательно ли сочувствовать объекту побуждает его изучение? — перебила меня Елена. — Сочувствие, не забудем, есть разновидность чувства как такового. а чувство как таковое невесть откуда берется...»

«Эх, Елена, — огорчился я, — ты же прекрасно поняла. что слово „сочувствие“ я употребляю в значении „соучастие“ или даже „сопереживание“! Поняла, но, как большинство баб, стараешься запутать оппонента.»

Тут Федосей осведомился вкрадчиво:

«А вот если ты стал объектом собственного изучения, кто тогда и кому сочувствует? Иными словами, возможно ли изучение самого себя?»

«До тех пор, пока изучение не началось, возможны лишь насмешки, в том числе и над самим собой. Сочувствие возникает в результате изучения, но изучения честного, то есть без ехидства.»

Федосей только хмыкнул в ответ, зато Елена встала руки в боки:

«Без ехидства? Причем здесь ехидство?»

Алая ее юбка взмыла при порывах ветра и, опадая, накрыла аккурат мою голову — бешено я забарахтался барахтался под кошмарным кумачом, выбрался наружу, пунцовый от смущения, — белейшие бедра успел узреть и обонять, благоуханнейшие!

«Без ехидства, — отдуваясь, подтвердил я, — каковым пробавляются те, кому недостает ума или смелости. О дураках, впрочем, в другой раз, а вот о трусливых потолкуем. Ведь сочувствие — это тоже недюжинное духовное усилие, вдобавок, хлопотное и зачастую героическое. Если тебе не верится, давай представим поведение людей, ну например, в гололедицу. Простые смертные в зависимости от обстоятельств (а простые смертные всегда зависят от обстоятельств) то сочувствуют поскользнувшемуся, то хохочут над ним. Потому что они простые смертные. Но поэт, поэт способен независимо от обстоятельств постигнуть, что (сызнова проклятая юбка) как бы комично человек ни шмякнулся, ему больно или могло быть больно, способен не только изучить все причины и следствия всех падений в гололедицу в прошлом и настоящем временах, но

и предвидеть их. Увы, способность эту не всякий поэт в себе развивает, иные пробавляются ехидством, понимая, еще как понимая, что единственно возможное следствие изучения падений в гололедицу есть сочувствие пострадавшим. Нет-нет, и простые смертные, наблюдая падающих, а то и сами претерпевая боль при падении, рано или поздно постигают, что упавший нуждается в сочувствии, а не в насмешках. То есть некоторое количество падений в гололедицу, случившихся с нами или на наших глазах, это в сущности тот самый жизненный опыт, на основании которого люди определяют меру своего участия в какой-либо ситуации, сообразуясь, разумеется, с личными выгодами. Но поэтому и можно утверждать, что сочувствие героично, ибо заставляет забыть о выгодах. Помогая упавшему подняться (ничего не вижу — юбка), мы тратим время, которое намечали провести полезнее, у нас портится настроение при виде искаженного страданием лица человеческого, мы, наконец, рискуем угодить в черные списки, если упавший считается государственным преступником, скажем, инакомыслящим. Выше я назвал желание понять (в примере с гололедицей — поднять) уже изучением. Желание это мы вольны в себе подавить, и если не подавляем, значит, изучение началось. Потому что возникло сочувствие.»

«Это единственно возможное следствие изучения несчастных случаев?» — спросила Елена насмешливо и сызнава прикрыла меня дурацким колпаком, сызнава я размахивал руками, красный, как рак, и где уж было мне заметить сверкающие глаза Елены высоко надо мною.

Зато сверкание это заметил Тобиас и попробовал перевести разговор на другую тему:

«Вот раздобуду, — сказал он, — ясеневые досточки и пушу их на выделку гнутых шпангоутов.»

«Ладно, пусть я баба, — сказала Елена. — Бабам, как принято считать, присуще чувство сострадания. Присуще в большей мере, чем мужикам...»

«Обработка дуба, — призывал нас к вниманию Тобиас, — дело трудоемкое, но благодарное. Придется попотеть...»

«Бабам присуще чувство сострадания, — продолжала Елена, — но однажды я наблюдала, как человеку зашемило голову дверями автобуса. Он лез в автобус, а водитель забыл посмотреть в боковое зеркало, закрыл двери и защемил ему голову за ушами. Лицо, озирая всех нас, находившихся внутри, имело такое озадаченное выражение, что мы... мы, конечно, сочувствовали пострадавшему, но хохотали до слез!»

«Если бы такое происходило на твоих глазах достаточно часто, ты научилась бы немедленно спешить на помощь, то есть пытаться раздвинуть двери», — возразил я.

«Да мне стало бы скучно, — сказала Елена. — Мне уже скучно.»

«Вместо кедра на обшивку согонится ель, гнул свое Тобиас. — Не самая прочная древесина, однако влаге противостоит сносно.»

«Помолчи, Тобиас, — сказал я, — ведь мы еще не разобрались с поэтом, который неделен способностью изучать объекты, но способность эту в себе не развивает. Не развивает, по моему мнению, из трусости...»

«Короче, ты сомневаешься в том, что иронический поэт способен осмыслить существование ближних, верно я тебя поняла?» — спросила Елена.

«Поэт!.. — воскликнул я. — Эх, Елена, представим некоего юношу, обдумывающего житье. Вот он решает, чем будет в жизни заниматься. и вдруг сознает, что кроме кропания стишков делать ничего не желает. Впрочем, это сильно сказано: „сознает“!»

«Ну-ну, — сказала Елена. — Очень интересно.»

А воздух все озарялся и озарялся, это Елена все разъярялась и разъярялась, и глаза ее метали молнии, но я-то сызнова бился под юбкой и не замечал угрозы извне.

«Допустим, что воображаемый нами юноша вследствие неизлечимого заболевания сызмала не ощущал себя равным среди ровесников. И допустим, что он действительно обладает литературным дарованием, скромным, но тем не менее. Что же ему остается, как не мнить себя поэтом в отместку нам всем? Эх, Елена, юноша есть юноша, и трудно убедить его в том, что он всего лишь кропает стишки, а не сочиняет стихотворения, и что кропает он стишки потому, что это занятие легче прочих. Но даже если воображаемый нами юноша и сознает незавидную причину своего творчества, он старается забыть ее и утешается самоуверением, что не кропает он стишки, а сочиняет стихотворения. каковое занятие мнит высшим проявлением жизнедеятельности, требующим недюжинных духовных усилий, и он, героический юноша, единственно в нем полагает смысл своего существования. И как же ему не полагать, если стишки получаются, ничего не скажешь, талантливые, они пока публиковались на страницах лишь пионерских газет, но редактор пророчил юноше лестную будущность, и это хорошо, и прекрасно, но до поры и до времени. Юноша становится мужем, не твоим мужем, Елена, мы рассуждаем о некоем воображаемом юноше, который становится не мальчиком, но мужем в значении...»

«Понятно, понятно, — сказала Елена. — А хотя бы и моим мужем.»

«Эх, Елена, — не унимался я, — ты, помнится, гордилась попытками Федосея осмыслить свое, а главное, других, кому недостает ума или смелости, существование! И ты права, что гордилась...»

«И горжусь,» — уточнила Елена.

«Ты права, права, в попытках таковых и заключается героика поэтического творчества. Ведь если поэт избирает объектом изучения лишь

себя самого и, следовательно, лишь себе самому сочувствует, а к другим относится с заведомым ехидством, то ни черта он не осмысливает, а обманывает и себя самого, и этих вот других, то есть ближних! Изучением лишь себя самого он, во-первых, ограничивает область применения духовных усилий, что для поэта уже подозрительно. Во-вторых, как я выше указывал, ехидством пробавляется поэт именно трусливый, который догадывается, что если он честно, или иначе говоря, смело осмыслит свое, а заодно и ближних существование, то станет ему так страшно, что станет ему не до кропания стихшков...»

Елена пожалала плечами, отступила на шаг, и я задышал свободнее.

А чем занимался Федосей в продолжение нашего с Еленой разговора?

А глядел в серебристое, серое, ребристое пространство залива. И зевал уже не вызывающе, а естественным образом.

«Ох, и трудно трусливому изучить себя. В процессе изучения он, конечно, обнаружит много интересного и быть может, даже приятного, но вот сущность свою трусливую так и не осознает. Потому что для этого надобна храбрость, а где же ее взять трусливому? Но самое забавное, что он ведь только делает вид, что боится изучать себя, ибо как можно взаправду бояться того, о чем лишь догадываешься, что это страшно? То есть я вот о чем толкую: ни черта по неведению трусливый не боится, поэтому с перепугу способен совершить и смелый поступок, а именно: заглянуть в себя, в смрадную свою помойку... Ужаснувшийся, может и сочинит он тогда впервые стихотворение, а не накропает, как обычно, стихок. И неверно я выразился: „сочинит“. Нужно было сказать: напишет, — а еще точнее: запишет. Запишет под диктовку подсознания нечто истерическое, косноязычное, что именно записывается, а не сочиняется. И покуда поэт не испытает этот ужас, каковым проникается всякий честно себя изучающий, до тех пор поэтом называть его можно только в кавычках, а вот мужиком и в кавычках нельзя.»

«Мужиком? — переспросила ошарашенная Елена. — Я не ослышалась?»

«Нет, не ослышалась. Что же он за мужик, если боится сочувствовать ближним? Это и не мальчик, и не муж, а так... юноша.»

«Но ближние-то далеко не всегда сочувствуют друг другу... Ах, я забыла, они же простые смертные и зависят от обстоятельств, а поэт не зависит.»

«Ну зачем ты цепляешься к сказанному в юношеской, я ведь тоже юноша, горячности? Разумеется, и поэт зависит от обстоятельств. Он же смертный и страстный, как и ближние его. Но чем меньше он позволяет себе зависеть от обстоятельств...»

«Ладно, а каким образом возникает сочувствие: помимо воли изучающего или требуется духовное усилие?»

«Изучение открывает изучающему, что объект нуждается в сочувствии. Изучение именно честное, без ехидства, не оставляет изучающему возможности выбирать: сочувствовать или не сочувствовать. Мы колеблемся с выбором только при условии недостаточного изучения, полагая, что нам некогда, или лень, или скучно оказывать помощь упавшему в гололедицу, а на самом деле мы плохо изучили причины и обстоятельства конкретного падения, поэтому и колеблемся, а на самом-самом деле боялись их изучать, не изучали или изучали намеренно плохо, догадываясь, что честное изучение не оставит возможности колебаться. Честное изучение уже есть выбор, мы выбираем хлопоты, опасности, духовные усилия...»

«Но если поэт понимает, что изучение хлопотно и опасно, и поэтому побаивается изучать, что же все-таки способно подвигнуть его к изучению? Узвзвенное самолюбие, что ли?»

«Ну я не знаю», — пробормотал я, глядя на окружающие судно травы и, чтобы успокоиться, припоминая в уме их названия: одуванчики, васильки и лютики, ромашки (помимо обиходных «любит — не-любит» еще и безъязычковые, они же пахучие, они же зеленые, они же ромашковидные!), истод горький с цветками синими и овсяница красная, и волоснец, и осока, и морская горчица, и чина приморская, и лебеда прибрежная (сыну штурмана дальнего плавания особенно приятно перечислять эти названия), подмаренник и белена черная, а заодно уж на букву «ч» череда, частуха, читотел и чертополох-шотландец, жаперстянка и клевер, трава могольная тире пастушья сумка и спорыш тире галочья гречиха (целебнейшее средство при почечных заболеваниях), а там, возле кормы, непрошенные кукушкины слезки, ведь болото близко, фиолетовые фонарики аквилегии, и сабельник вострит себя в струе воздушной, узнаются уже и калужница, и вахта трехлистная, и крестовник, и вровень с кормой восковник, он же мирт болотный...

«Ах, ты не знаешь», — сказала Елена.

«Да знаю я, знаю, — ответил я, продолжая разглядывать растительность и поднимая взгляд выше: шиповник собачий, экий клыкастый, и волчье лыко, источающее, скажите на милость, запах ванили, и пушистые цилиндрики кровохлебки, пурпурные, как утро лестной тогда для всех нас будущности, и крапива, причем не одна только общеизвестная извергина, но и спасительница осаждаемых городов, двудомная, — из молодых ее побегов Елена приготавливала начинку для своих пирожков. — Эх, Елена, да любовь же и вдохновляет поэта изучать объекты, неужели не понятно? Любовь к истине... эх, Елена.»

Забывшись, я поднял голову. И сразу зажмурился — под сенью ветл, осин и черных ольх пылали желтые глаза Елены!

«Засиделись мы однако», — сказал я, поспешно поднимаясь.



«А на кого ты собственно намекал, утверждая, что ехидством пробавляются только трусливые поэты?» — вкрадчиво спросила Елена.

«Да ладно тебе», — отвечал я, отступая.

«Нет, погоди, — настаивала Елена, уже теснимая успешными вскочить Федосеем и Тобиасом. — ты, похоже, считаешь, что ирония по природе труслива и ею пробавляются те, кто боится воспринимать действительность такую, какая она есть, и так, как она этого требует, или этого заслуживает, или в этом нуждается. Да ведь я и поллюбила-то Федосея за мужество ежеминутного его самоанализа, каковой возможен только при условии иронического к себе отношения, понял? К себе самому в первую очередь!»

Растрепанная и запыхавшаяся, она легко вырвалась из рук Федосея и зашла за куст волчьего лыка отдышаться. Но выбежала из укрытия с воплем!

За нею ковылял черепитчатый Николай Петрович — черными прошлогодними листьями был он облеплен с головы до пят.

«Ну нигде от баб покоя нет, — ворчал старикашка. — Хотя бы извинилась, что наступила. Так нет — еще и недовольная. Еще и вопит.»

---

Арлен Блум

### «ТЛЕЮЩИЕ УГЛИ ИВРИТА» ПОД СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРОЙ 20-х ГОДОВ

На первых порах коммунистический режим относился к древнееврейскому языку более или менее безразлично, что позволило выпустить на нем до 1920 г. около 200 изданий. Однако, в конце 1919 г., в связи с гонениями на сионизм и массовыми арестами его руководителей, обвиненных в «контрреволюционной деятельности», издание книг, журналов и газет на иврите было запрещено, так же как и преподавание его в школах.

Если литература на идише запрещалась или разрешалась в зависимости от ее содержания и политической направленности, то совершенно иным сформировалось отношение к ивриту. Язык как таковой через два года после октябрьского переворота объявлен был вне закона, хотя бы на нем писались и печатались произведения не только лояльные к советскому режиму, но порой и его прославляющие. В глазах власти иврит — «проводник клерикальных, сионистских идей», способный отвлечь «еврейские массы» от задач коммунистического строительства. Если не считать отдельных прорывов в первой половине 20-х годов, литература на нем на 7 десятилетий прекратила свое официальное существование. В этих условиях группа ивритских писателей во главе с Бяликом вынуждена была эмигрировать. Репрессии продолжались все 20-е годы: многие сионисты были сосланы, заключены в лагерь; часть ушла в подполье (1). Совершенно механически между сионизмом и ивритом ставился знак равенства. В 1926 г. вынужден был покинуть страну единственный театр, ставивший пьесы на иврите, — «Габима».

Зловещую роль в судьбах иврита играли коммунистические «евсекции» — так назывались Еврейские секции ВКП(б), в руководстве которых преобладали ортодоксальные коммунисты, делавшие ставку на идиш, ибо только он, по их мнению, отражал чаяния «еврейского пролетариата», в противоположность ивриту, объявленному ими «языком раввинов и клерикалов, а также ревнителем идей сионизма». Они питали к древнему языку просто зоологическую ненависть, часто шагая «вперед прогресса». Руководители ЦБ (Центрального бюро) Евсекции запрещали отдельные произведения даже в том случае, когда официальная цензура

склонна была их разрешить. Каждый раз книги и другие издания на иврите посылались им на «консультацию», и мнение Евсекции становилось решающим. Особенно активен был С. Диманштейн, руководивший центральным бюро вплоть до его ликвидации в 1930 г., погибший, как и многие другие «преданные коммунисты», в годы Большого террора.

В этих условиях издание литературы на иврите практически прекратилось. Появился ранний еврейский «самиздат» — гектографированные журналы на иврите, затем переписывавшиеся его сторонниками: харьковский «Из бури» — орган находившегося в подполье центрального комитета сионистов, «Заполнение пробела» (1925 г.) и ряд других (2).

Попытки напечатать ивритские сборники «Гутенберговским способом» заканчивались полным провалом: цензура неизменно запрещала их. Сведения об этом, по причинам засекреченности цензурных архивов, до сих пор почти не проникали в печать. Лишь однажды заключение «политического редактора» (так назывались в те годы цензоры) стало известно историкам. Речь идет о киевском сборнике «Гааш» («Наступление»), включившем три поэмы на иврите Мили (Шмуэля) Новака. Не решившись дать разрешение на его издание, киевская цензура обратилась в Москву к вышестоящим инстанциям, приложив свое «мнение»: «Сборник из трех поэм представляет попытку на древнееврейском языке передать веяния нашей коммунистической модернистской поэзии. Влияние в них Блока и Маяковского несомненно. Стих этого документа звонкий, местами резкий. „Сказание об Октябре“ — панегирик Октябрю с сильным отвращением к миру прошлого и его морали. . . „Послание“ — отражение оборотной стороны революции, ужасов контрреволюции». Казалось бы, содержание сборника и его политическая направленность безупречны. . . Но вот заключительные строки этого «мнения», надолго предопределившие отношение к ивриту как таковому: «Для кого предназначаются эти стихи?» — задает риторический вопрос киевский цензор, и сам отвечает: «Ясно, что в другой обстановке, в Палестине, этот сборник был бы одним из материалов агитации КПП, ибо там значительная часть рабочих говорит по древнееврейски. В обстановке же нашей действительности этот сборник будет предметом филологически-литературного смакования клерикально-буржуазной части еврейского общества. Ясно, что это издание нежелательно» (3). Несмотря на такой сокрушительный отзыв, книга Новака все же вышла в 1923 г.: в этом сказалось некоторая неопределенность, двусмысленность отношения режима к древнееврейской литературе на первых порах, в самом начале Нэпа.

Публикатор этого документа справедливо замечает: «Формально не было в Советском Союзе постановления, объявлявшего этот язык вне закона, однако в действительности он был на нелегальном положении», приводя далее недоуменное восклицание одного из ивритских писателей: «Запретить иврит? Этот указ поражал отсутствием логики, противоречащим Октябрю!». Его недоумение вполне понятно: ведь почти все писатели, как правило, молодые люди, писавшие на древнееврейском языке, были безусловными приверженцами революции, сбросившей «оковы». Да и самого «указа», запрещающего иврит, никогда не было: более того, во

всех советских конституциях, начиная с первой, 1918 года, предусматривались санкции за «любое ограничение, прямое или косвенное» прав народов, населяющих Россию, в том числе и священное право пользоваться своим языком.

Но своя «логика», если, конечно, искать ее в наступившем абсурде, все же была. Иврит изначально объявлен был языком «реакции». Как писал в 1922 г. известный историк, будущий Президент Израиля Залман Шазар (1963–1973), «многие годы громоздят измышление, что „иврит — реакция“. Не потому, что тот или иной писатель, пишущий на иврите, является реакционером, не потому, что те или иные наши требования приносят вред. Нет! Сам язык в своей основе негоден. И в тех самых кругах, которые преследует тень Эрец-Исраэль, царит семикратный страх перед ивритом... Страх перед „чудовищем“ — вот лакмусовая бумажка в том, что касается иврита. Страх перед „чудовищем“ воцарился, приговор вынесен и война объявлена. Артисты „Габимы“ преследуются неотступно. Запрещаются книги на иврите и изымаются на почте» (4). Это — отрывок из отклика Шазара на интервью, данное Горьким Шолому Ашу. Горький, находившийся тогда в полудобровольной эмиграции, не раз выступал в защиту гонимого языка, но голос его был одинок и не принимался во внимание. Именно к нему обратились участники нелегальной конференции учителей иврита (преподавание на нем было запрещено, начиная с 1919 г., а в 1928 г. прошла волна их арестов), сообщая, что в СССР нет ни одного журнала и ни одной газеты, ни одного издательства на иврите, что запрещен ввоз книг на этом языке из-за границы, «... все, что написано на иврите, все творения ивритских классиков, даже то, что написано на иврите Шолом-Алейхемом, изъято из библиотек», а каждый, желающий прочитать такие книги, должен заручиться предварительно специальным разрешением евсекции (5).

Последние книги на иврите, вышедшие тогда, в СССР, — харьковский сборник «Цильцелей шома» (по названию древнейшего музыкального инструмента), изданный в 1923 г. и «Берешит» («В начале»), появившийся в 1926-м. Последний сборник, хотя и имеет издательскую помету «Москва-Ленинград», на самом деле напечатан в Берлине; второй, полностью подготовленный к печати, скорее всего, не был разрешен цензурой (6).

По свидетельству писателя Авраама Карива, «издалека очень трудно понять чувство сиротливости и бедствия литературы на языке, потерявшем связь с родной почвой и нашедшем последнее прибежище в надписях на памятниках еврейских кладбищ...» Все вокруг было бесконечно странно и даже самое далекое существование иврита казалось нереальным... Шло время, но ни одной печатной строчки не попадалось мне на глаза... Порой, когда я писал стихи на иврите, странные сомнения закрадывались в мою душу: «не создал ли я сам этот язык в своем воображении?» (7).

Тем не менее, даже в таких условиях, «язык великого Бялика» вдохновил группу молодых ленинградских поэтов, решивших продолжить традиции ивритской поэзии. Ими была создана в середине 1920-х годов

«группа гебрееких писателей», в которую входили И. Саарони (И. Матов), Н. Шварц, Хаим Ленский и другие. Публикуемые далее документы отчетливо рисуют исполненную драматизма картину почти самоубийственной борьбы этих поэтов за право писать и печатать свои произведения на древнееврейском. В марте 1927 г. руководитель этой группы обратился в Ленгублит с таким заявлением: «Прошу разрешить устройство литературного вечера древнееврейского языка, имеющего быть 3 апреля в помещении по Стремянной ул., д. 18, в 8 часов вечера. 14 марта 1927 г. И. Матов». На заявлении — «разрешительный» штамп Ленгублита: к тому времени не только произведения печати, но и любые «массовые выступления» и «зрелищные мероприятия» — лекции, доклады, вечера, вплоть до танцевальных, — дозволялись только всеохватной цензурой.

Однако вечер не состоялся. 13 мая в Ленгублит поступило предписание старшего помощника прокурора Ленинграда Жукова: «Ко мне поступило заявление уполномоченного Ленинградской группы гебрееких писателей, которое указывает, что им от вас 26 марта 1927 г. получено разрешение на устройство литературного вечера на гебрееком языке, а 19 апреля перед началом вечера явилась милиция, заперла дверь и не пустила публику в зал, так как якобы Гублитом разрешение на устройство вечера было аннулировано на основе телеграммы из Москвы. В порядке ст. 70 Положения о судеустройстве предлагаю дать объяснение по этому поводу».

Ответ начальника ленинградской цензуры предельно лаконичен и снабжен грифом «Сов. секретно»: «Сообщаем, что разрешение на устройство гебреекого вечера было выдано Ленгублитом и Гублитом же впоследствии аннулировано по директиве Секретариата Губкома ВКП(б)». Ленинградский законник, видимо, был вполне удовлетворен таким ответом (продолжения переписки с ним в архивном деле нет), понимая прекрасно, что выше закона, чем «закон партии», не существует; последнее слово, как свидетельствуют и другие документы, в «сомнительных случаях» всегда оставалось за идеологическими структурами. Тайная подоплека дела выясняется благодаря тому, что «гебреекие поэты» на этом не успокоились, решив обжаловать самоуправство (как они полагали) — цензоров в самом Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета, возглавляемого тогда «всесоюзным старостой» М.И. Калининым. В июле 1927 г. Ленгублит получил «срочное и секретное» предписание заместителя начальника Главлита Мордвинкина: «Президиум ВЦИК препроводил нам выписку из заявления группы гебрееких писателей. Нам указывается, что Ленгублит якобы занимает недостойную позицию в вопросе о преследовании древнееврейского языка. Главлит предлагает Ленгублиту в самом срочном порядке дать исчерпывающие объяснения как по существу всего вопроса, так и по поводу конкретного случая, указанного в заявлении».

К предписанию приложена «записка из заявления группы гебрееких писателей», адресованного Президиуму ВЦИК.

«1. Ленинградским Гублитом запрещено издание сборника „Гуффе-сейну“ (без объяснения мотивов). Главлит утвердил это запрещение: не-

смотря на то, что против содержания никто не возражал, и отговаривается (устно) какими-то „политическими мотивами“. А заведующий Отделом Народов западной культуры Совнацмена (9) откровенно заявил, что все пишущие на древнееврейском языке — контрреволюционеры, независимо от содержания произведений.

Евсекция Губоно (еврейская секция губернского отдела народного образования) отказала в разрешении устройства литературного вечера, но мы нашли защитника в лице тов. Стецкого (10) („Агитотдел Северо-Западного Бюро ЦК ВКП(б)“) и после утверждения цензурой программы было получено официальное разрешение Гублита 26 марта 1927 г. (разрешение прилагается). Но перед началом вечера (10 апреля 1927 г.) явилась милиция, заперла двери и не впустила публику в зал. В Гублите отговаривались получением какой-то телеграммы из Москвы.

3. Нам удалось сговориться с правлением Дома печати об устройстве в помещении Дома вечера по утвержденной цензурой программе. была заметка в газете (вырезка прилагается). Но за час до начала нам было заявлено об отмене вечера, ибо представитель Отдела печати Губкома ВКП(б) тов. Дергачева нашла, что для древнееврейского языка, аналогично церковнославянскому, нет места в Доме печати.

4. На основании Вашего письма (возможно, самого Калинина, но оно не обнаружено. — А.Б.) мною сегодня снова было подано заявление в Гублит о разрешении вечера, и снова был получен отказ (заявление с резолюцией прилагается). Между прочим, ваши слова — „Говорить и писать на древнееврейском языке в советских законах препятствий не имеется“ — местные власти растолковывают как о письме и разговоре частным образом, но не о печатании и публичных выступлениях, поэтому просим более точных разъяснений, а театр „Габима“ для них является единственным исключением, без которого не обходится ни одно правило.

Ленинградская группа гебрейских писателей. И. Матов.

Ленинград., ул. Белинского, 13» (12).

На сей раз ответ ленинградских цензоров (все-таки начальство!) более пространен и красноречив сам по себе: «Секретно. В Главлит. 15 июля 1927 г. Ленинградский Гублит сообщает: в Ленинграде гебрейских писателей, как организации, не существует, а работает отдельная группа. Группа эта зарекомендовала себя крайне отрицательно. Отношение Евсекции ЛГОНО (Отдела народного образования — А.Б.) и Отдела печати Губкома ВКП(б) к ней недоброжелательно. Ленинградский Союз писателей отказался принять эту группу в число своих членов. Отношение Гублита к печатанию произведений гебрейских писателей определяется качеством подаваемого материала, примером этого качества может служить посланная Вам на заключение рукопись „Питериада“, автор Шварц» (13).

В остальном отношении Гублита к этой группе определяется указаниями, исходящими от директивных органов. «Одновременно сообщаем, что по имеющимся в Гублите сведениям, руководители этой группы, в частности, податель заявления И. Матов, находятся под арестом. Заключены в Ленинградском „Энгель“ (14).

Обратим внимание на два примечательных факта. Во-первых, на в высшей степени показательное и отнюдь не случайное уподобление древнееврейского языка церковнославянскому представителями партийных органов: и тот, и другой в их глазах являлись проводниками «религиозного мракобесия», употреблявшимися во время богослужения: первый в православных храмах, второй в синагогах, что в условиях воинствующего атеизма делало их табуированными за их пределами. Такое уподобление вовсе не было изобретением обкомовской дамы Дергачевой, а являлось, по-видимому, общим местом партийной пропаганды. Так, например, еще в 1922 г. старый большевик и «ведущий правовед» И. П. Трайнин, отвечая на упоминавшееся уже интервью Горького Шолому Ашу, опубликовал в журнале «Жизнь национальностей» статью с выразительным названием «От дерзания буревестника к болоту обывателя». Отмечая «любовь Горького к мертвящему душу ветхому „гебраизму“», а «древнееврейский язык понятен лишь одиночкам-, „гебраистам“», он демагогически вопрошал писателя: «Что сказал бы Горький, если бы в государственных московских и петроградских театрах для рабочих стали ставить пьесы на латинском или древнеславянском языках?» (15). В случае же с ивритом ситуация осложнялась еще и тем, что в глазах власти он нерасторжимо связывался с движением сионизма.

Во-вторых, снова стоит обратить внимание на тот универсальный довод — указания «директивных органов», — который каждый раз приводят цензоры. Перед ним сразу же замолкают все иные инстанции, в которые обращаются с протестом руководители литературной группы ивритистов. Да и обосновывать запрет, как видно из последнего документа, особенно нечего, поскольку органы ОГПУ уже «разобрались» с ее участниками. Как раз в 1927 г. на молодых поэтов обрушилась волна репрессий, почти все члены «Группы гебреевских писателей» были арестованы и сосланы. Не малую роль в этом сыграло их сокровенное желание — не дать окончательно угаснуть «тлеющим углям иврита». Одним из них — Аврааму Кариву, Иосифону Саарони (И. Матову — руководителю группы) и другим — удалось в конце 20-начале 30-х годов эмигрировать в Палестину (16). Судьба других сложилась трагически: они сгинули в лагерях ГУЛАГа. Погибли Н. Шварц, автор запрещенной поэмы «Питериада», талантливейший Хаим Ленский и другие. Ленский, родившийся в 1905 г. в Слониме, в 1925 г., после ряда приключений и одного кратковременного ареста, приезжает в Ленинград и находит там единомышленников, таких же молодых поэтов, как и он сам, — поклонников иврита. Как вспоминает один его современник, Ленский праздновал победу, когда «гебреевская группа» получила ответ Калинина, уверявшего, что в СССР иврит не преследуется, хотя и является «мертвым языком» (17).

Хаим Ленский был влюблен в русскую поэзию: переводил Пушкина, Лермонтова, А. К. Толстого. Оставшись после арестов и отъезда друзей почти в одиночестве, Ленский писал уехавшему Саарони: «Вытащите меня отсюда! Не бойтесь: если мои стихи не годятся — руки прокормят меня. Ведь рельсы нужны и для железных дорог в Эрец-Исраэль». Иногда

ему удается переслать друзьям свои стихи, которые изредка печатаются в газетах и журналах Палестины. В конце 1934 г., в связи с прокатившейся по Ленинграду волной арестов, вызванных убийством Кирова, он был арестован и просидел в сибирских лагерях до 1939 г. В ленинградской тюрьме им написаны пронзительные строки:

... И тогда белизну снеговой пелены  
В муках брызгами крови усеяв.  
Он припомнит о пасынке чуждой страны,  
О последнем поэте евреев.

Из Мариининского лагеря в Сибири Ленский написал письмо Горькому, в котором рассказал, что единственным его «составом преступления», за которое он осужден на пятилетнее заключение, является неизбывная любовь к ивриту, языку Библии, языку Бялика, которым Горький всегда так восхищался (18). Получил ли это письмо Горький — неизвестно, но даже в положительном случае вряд ли он стал бы в годы начавшегося Большого террора ходатайствовать за гонимого поэта. После освобождения в 1939 г., он на правах ссыльного вынужден был поселиться в Малой Вишере, хотя в Ленинграде оставались его жена и маленькая дочь (пресловутый «сотый километр», за пределами которого и могли только жить освобожденные из лагеря).

Обстоятельства его кончины загадочны до сих пор. По некоторым сведениям, он был снова арестован в 1942 г.: «Рассказывают, что когда колонна заключенных проходила по мосту через какую-то речку, охранник спихнул Ленского с места. Так или нет погиб этот гениальный поэт, неизвестно, но он, как и любимый им Пушкин, тоже запнулся на роковой цифре „37“...» (19).

Имя Хаима Ленского — одного из активных и ведущих участников ленинградской «Группы габрейских писателей», пытавшейся противостоять всеильной цензуре, — широко известно в Израиле: выходят его книги, пишутся исследования. Русскому читателю он стал известен в переводах только в 1990 г.

Так закончилась «вегетерианская» эпоха Нэпа: в дальнейшем иврит был окончательно загнан в подполье. Еще в 1918 г. виднейший литературный критик Юлий Айхенвальд точно подметил особенность новой власти: «Под общий знаменатель контрреволюционности большевики, как известно, щедрой и вооруженной рукой подводят очень многие явления различного порядка. Недавно они сделают это и по отношению к сионизму: он заподозрен ими в политической неблагонадежности и против его газет и деятелей приняты вполне энергичные меры». Уловил он сразу же и другую особенность: «Замечательно в этом пункте что как и в разных других большевики сходятся с прежней дореволюционной властью: здесь тоже в какой-то непостижимой симпатии и средстве душ встретились эти крайности и подаёт руки покойный Столыпин и здравствующий, слишком здравствующий Ленин». Действительно, большевики в принципе не придумали ничего нового; они лишь «усовершенство-



вали» и довели до тоталитарного абсурда практику прежней власти. В отношении к литературе на иврите суть новой власти проявилась полно. В условиях тоталитаризма не только любой «вопрос» мог быть объявлен существующим, но и любой язык — ситуация, поразительно напоминающая деятельность «Министерства правды», в котором работает главный герой романа Джорджа Оруэлла «1984». История переписывается в нем каждый день в соответствии с последними указаниями Старшего Брата. Исчезнувший человек объявляется «*нелицом*»: «Он не существовал. Он никогда не существовал». По аналогии можно сказать, что иврит на многие десятилетия был объявлен в СССР «неязыком», как и целый народ — «*неацц ей*»...

(1) Маор И. Сионистское движение в России. Иерусалим, «Библиотека-Алия», 1977. С. 423–439.

(2) Гильбоа И. Литература на иврите в Советском Союзе. Евреи в Советской России (1917–1967). Иерусалим, «Библиотека-Алия», 1975. С. 253. (3) Гильбоа И. Указ. соч., С. 253–254.

(4) М. Горький. Из литературного наследия. Горький и еврейский вопрос. Иерусалим, 1986. С. 483.

(5) Там же, С. 375. Скорее всего, только что вернувшийся в СССР Горький не ответил на этот крик о помощи: во всяком случае, сведений об этом нет. См. Гильбоа И. Лашон омедет аль нафша (язык борется за свое существование). Тель-Авив, 1977. С. 141–143.

(6) Гильбоа И. Литература на иврите в Советском Союзе... С. 254. Автор высказывает предположение, что власти чинили препятствия изданию первого сборника, чем и объясняется факт издания его в Берлине: в СССР было допущено не более трехсот экземпляров.

(7) Там же, С. 249.

(8) ЦГАЛИ Спб., ф. 31, оп. 3, д. 30, лл. 105–107.

(9) Учреждение при Совете национальных меньшинств, ведавшее, в частности, и еврейскими делами в области культуры. Наравне с коммунистическими евсекциями, нещадно преследовало ивритскую литературу и печать.

(10) Стецкий Александр Иванович (1896–1938) — видный партийный работник, позднее (с 1930 г.) зав. Агитпропом ЦК ВКП(б). Странно, что он не был в курсе последних идеологических вехий, пытаясь взять под защиту ивритскую литературу: впрочем, тогда такие «противоречия» еще были возможны.

(11) По-видимому, авторы протеста пытались сослаться на прецедент — исполнение на древнееврейском языке пьес, ставившихся московским театром «Габима», но за год до этого события театр вынужден был покинуть СССР.

(12) ЦГАЛИ Спб., ф. 31, оп. 3, д. 27, л. 586.

(13) К сожалению, сведений об этой рукописи и отношении к ней Главлита, негативному, судя по всему, поскольку эта поэма так и не появилась в печати, обнаружить не удалось.

(14) ЦГАЛИ Спб., ф. 31, оп. 3, д. 27, л. 594.

(15) М. Горький. Из литературного наследия... С. 490.

(16) Гильбоа И. Литература на иврите в Советском Союзе... С. 270. Здесь же указаны источники сведений о писателях и поэтах, писавших на иврите в СССР.

(17) Антология еврейской поэзии XX века. Хаим Ленский ( ) Век (Рига). 1990. № 2(5). С. 18. Здесь же впервые на русском языке опубликована подборка стихотворений Ленского в переводе Валерия Слуцкого, а также воспоминания о поэте его друзей.

(18) СМ.: Гильбоа И., указ. соч., С. 266. Письмо опубликовано тем же автором в его книге «Лашон омедет аль нафшо» («Язык борется за свое существование»). Тель-Авив, «Сифрият Полиам», 1977. С. 301–303.

(19) Антология еврейской поэзии. Хаим Ленский... С. 18. Воспоминания, подписанные инициалами «Ф.М.», женщины, знавшей Ленского в свои детские годы.

---

---

## Наталья Хараг

### ЭДИП

Смешения кощунственны и шатки,  
И в гибельном Элизиуме дня  
Пронизывают облачные складки  
Осиротевших пряжек острия  
Тычинками созвучий непреложных.  
О, если бы белесый Асфодел  
Увидел тела выпуклый треножник,  
Когда последний кратер опустел  
До черноты. Дочерние объятья  
Наполнены молчаньем Эвменид...  
Что медлишь ты, исчадие проклятья,  
У входа в изнывающий Аид,  
Где Эмпуса утраченного смысла  
С холодных пальцев слизывает соль,  
И маска оскорбленная повисла  
Гримасой сфинкса. Жалобный бемоль  
Сочится из расколотых скрижалей,  
Над сонным осязанием глумясь.  
Ты помнишь руки — как они зажали  
Рыдающие прорези для глаз?

### ПЛАЧУЩЕЕ ЗЕРКАЛО

... И железой поэзия в железе,  
Слезящаяся в ротовом разрезе.

*О. Мандельштам*

Прячутся в скорлупки хрупкие маслины,  
Спутывая грани двойников своих.  
Солоно железо крови паутиной,  
Веточки-ресницы — в ризах соляных.

В призрачно-прозрачных глиняных купелях  
 Льют младенцам лица бременем слезы  
 И хоронят в зыбких слезных колыбелях,  
 Окропив железным молоком лозы.

Радужная мякоть с косточкой хрустальной,  
 Зрящей сквозь хрустящий, зреющий зрачок,  
 Дышит колокольным лепетом зеркальным,  
 Застекольной болью льется спелый сок.

Боль стекла — как дымка ясного кристалла,  
 И излом лучится в облаке теней,  
 А слеза в колодезь замертво упала,  
 И звезда посмела отразиться в ней.

#### УВЕРТЮРА

В оконнице с термометром подмышкой  
 Ноябрьское мокрое белье,  
 И жмурится дежурная пустышка,  
 Дотла опорожненная жильем.

Деревенеет окись водорода,  
 Сворачиваясь в судорожный жгут,  
 И капельки запекшейся невзгоды  
 Еще глоток — и кажется, прожгут

Закваску кружев, сплюснутую плесень,  
 Свидетельство в защиту естества,  
 Гласящее, что выбор неуместен,  
 Когда по обе стороны родства —

Два холода, чреватые раздором,  
 Риторикой литых метаморфоз,  
 И в полночь телефонного фарфора  
 Расколется простуженный наркоз,

Минуя ту обманчивую точку —  
 Апофеоз лояльности стихий,  
 Согласных на любую оболочку.  
 В кисломолочной келье пастухи

Благодарят кого-то за увечье,  
 И каждый эту скинию почтил  
 Присутствием инкогнито при встрече  
 Ущербных чувств и немощных стропил.

Везде короста дельты чреваточной,  
И к локонам колючих каннелюр  
Воздетый бег по сходням худосочным,  
И созерцанье пращура впришур:

Эпоха помещается на блюде,  
И вывиху на лавочных весах  
Все предано — прелюдии и люди,  
И трапезник — судья на небесах.

А в голосе оскомины и склянка,  
А градусный стеклярус ледовит —  
Как странно ртуть — от холода беглянку —  
В щелях меж половицами ловить.

\* \* \*

Между пальцами снежная губка,  
Между пъяльцами впалая ткань,  
И заклятьем нечаянно-хрупким  
Между нами — поземкина скань:  
Комариный псалом у виска,  
Белой боли остывшие стружья.

Над обрывом, на самом краю,  
Виноградные дремлют армады  
Слез, но ими не выместить взгляда,  
Не пролить ими жажду мою —  
Как молиться, когда так поют  
Над душой голубые Плеяды?

Я Изольда, я вся изо льда —  
Корабельного, тонкого, злого. . .  
На весу костенела вода  
И летела с обрыва, и снова  
Я Изольда последнего слова,  
Я печально твоя, как тогда,

Перечеркнуто красною краской  
Все, что белого было, и пусть  
Наяву — только совесть и грусть,  
Только снежного пламени пляска,  
Только А умирающих в ласках,  
Только Яблоку хочется уст.

## РИМ

Там, где оперы запретной оперение  
Трепыхается по прихоти трахей,  
Снежной перхотью хрустя с остервенением,  
Прозябает полоумный Мардохей.

И глаза его звериные коричневые,  
На ладонях его киноварь и гарь,  
На щеках его прозрачные брусничины,  
И шаги его похожи на январь...

В переулке пахнет жареным картофелем,  
И распластанная впадинами стен,  
Из-за пазухи, как пудель Мефистофеля,  
Вислоухая выглядывает тень.

И знакомая с пеленок околесица,  
Что под ложечку, за шиворот, взащей  
Все пеняет, все никак не перебесится,  
Застит очи парой ломаных грошей.

То застенчивый, то праведно-неистовый,  
Изможденный в платонической вражде,  
Он бесчисленные двери перелистывал,  
В преисподнюю просился по нужде —

Нет ответа — где ты, персова владелица,  
Венценосная наперсница 'Эсфирь'?  
Отчего, скажи мне, нацело не делится  
Одиночества двоичная цифирь?

И ведомые неведомой потребою,  
Убаюканы посконною тоской,  
Осыпаются рябиновые жребии  
На подмостки костенеющих висков.

---

---

Александр Мелихов

## ПОВЕСТЬ О ПРАГМАТИЧНОМ АНДРОНЕ

Это хорошо, что улетаем, а главное — прилетаем в затрапезное «Шереметево-1», а не в космополитически-лошеное «Шереметево-2»: там более хищная, избалованная обширной международной таможня. Тамошняя таможня, тамошняя таможня... Заграница с поразительной быстротой превратилась из экзотики в обыденность — сколько обольстительных тайн хранил для нас «железный занавес»! Отраднo думать, что товары с Востока по-прежнему везут на верблюдах — хотя «верблюды» здесь, пожалуй, я один: прочая челночная братия предпочитает все таскать на себе и в таможене рисковать пускай и вдвое, но зато с удвоенным (а может, и утроенным) выигрышем.

Моя челночная бывалость, убавив тревоги, освободила место для мизантропии: я уже не без неприязни поглядываю на своих случайных спутников — в их лицах мне видится пугающее сочетание простоты и целеустремленности. Простота без простодушия нам, романтикам, особенно претит в неземных существах — в женщинах: жвачная женщина нам несравненно противнее, чем мужик, мирно оплывающий с неизменной банкой пива в руке. Изобретатель чуингама, несомненно, куда больший преступник, нежели разрушитель храма Христа-спасителя, и однако же, непреклонно выдвинутая челюсть на женском личике все-таки еще отвратительнее простой жвачности: если по застарелой (устарелой) привычке кинешься втаскивать ее раздувшийся баул в автобус, она только фыркнет раздраженно: истинные (истовые) рыночники, они не хотят, чтобы в мире существовало что-то еще, кроме купли-продажи, как их ненавистники коммунисты не желали, чтобы в мире оставалось что-нибудь еще, кроме чистой классовой ненависти, — какое-нибудь маскирующее «буржуазное лицемерие». Ух, эта страшная борьба двух простот!..

Я уже знаю, что долгий пронзительный взгляд пограничника не обличает, а только сличает тебя с паспортом.

Идти по снегу в кроссовках как-то вроде бы не очень, но в Стамбуле, авось, придется в самый раз. Нынче для меня что «ИЛ», что «Боинг» — тем более, с загадочной славянизированной надписью «Новосибирск» на

борт. Вспоминается только, как после сбитого южно-корейского «Боинга» в наших газетах замелькали крошечные заметочки: там у «Боинга» при посадке отвалилось колесо, сям при взлете обломилось крыло — давали, видно, понять, что южные корейцы и так, и этак были обречены.

В блаженную пору стилиг — первых цветочков плюрализма, как всегда, брючно-причесочных (хотелось бы надеяться, что самые крупные и горькие ягодки уже позади), — среди прочей джазухи гулял по танцплощадкам страшно стильный б у г и: «Э, Стамбул, в Константинополе, э, Стамбул, в Константинополе...» И вот «Э, Стамбул» превратился в «Истанбул»: внизу мерцает электрическое море, в котором медленно текут электрические реки, а вдоль них, в точности повторяя их извивы, движется встречное течение красных светлячков — стоп-сигналов. Аэропорт Кемаля Ататюрка похож на ангар, оплетенный гигантскими трубами. Мясистый профиль великого Кемаля будет сопровождать нас всюду, а в бывшем султанском дворце, где турецкий Петр скончал свои дни, доведется даже увидеть — в этой небогатой живописью исламской стране — залитые светом картины прямо с ВСХВ: вождь посещает... чуть не написалось — колхоз: открытые счастливые лица чего-то там «рбов» — мудрые старцы, чистые юноши и девушки...

Витрины сверкают, как, примерно, и у нас теперь. В ванной на полу махровое полотенце с вытканными босыми ступнями. Спелые пальцы растопырены, как отростки на картошке. В унитазе из-под бачка свисает свиной хвостик — шланг не то для смыва, не то для еще более интимной гигиены. Пол мраморный, хотя близость Мраморного моря не сразу и заметишь в уличных просветах (дымка почти не рассеивается — Стамбульский декабрь похож на наш сентябрь). Да и дно Мраморного моря пестреет не мрамором, а, как и у нас, кирпичным крошевом. Кстати, именно во время нашего пребывания концентрация углекислого газа в Стамбуле достигла критической точки — а мы и не заметили! Гостиница третьеразрядная, то есть номер — как наш хороший одноместный, только мебель целая и телевизор работает. Деликатная мышка, изредка снующая по ковру, тоже точь-в-точь наша, только в крошечной фесочке. Зато типично нашенького шестиместного номера с раскладушками ни в одном караван-сараяе встретить не удалось — так же, как вонючей еды: даже в какой-нибудь закопченной сирийской харчевне с грубыми столами и ржавой солью мясо имеет вкус мяса, сыр — сыра, а хлеб — хлеба. Я долго пытался понять, почему нигде, кроме как у нас, не кормят дерьмом, — и не нашел никакого иного объяснения кроме того, что в других местах дерьмо считается несъедобным.

Доллар ходит наравне с лирой. О лира, в первый раз накормишь ты поэта! Турецкий хлеб — белоснежный пух в золотой корочке, хрупкой, как бабочкино крыло. Там-сям в витринах медленно вращаются упитанные куриные тушки, насаженные на вертел. Но больше никого турки на кол уже не сажают и кожу тоже не сдирают, а наоборот продают — милейшие люди, только что усатые и гортанные, но не страшней, чем где-нибудь в Баку. Мальчишки прямо по тротуару гоняют гремучую банку из-под пива, к ним, увлекшись, может кинуться на подмогу и му-

жик, — хотя ни одного пьяного! Но на светофоры и водители обращают немногим больше внимания, чем пешеходы, — вполне могут двинуться на красный цвет, так что не зевай. Никаких фесок, шаровар, кафтанов — все в куртках, пиджачках. Женщин маловато, но в парандже ни одной.

Со всех сторон бывшие воины аллаха зазывают в магазины, лавки и лавчонки: «Вася-Юра-Саша-Володя, заходи!» На русских приказчиков такой бурный спрос, что в ход идут любые подделки из Болгарии, Югославии. Польши. А считает по-русски, кажется, весь город.

Не отвечать на призывы — для деликатного человека источник постоянного напряжения. Русские вывески на каждом шагу: «Золото», «Обмен АЮБОЙ валюты». И родное словцо из «Аленького цветочка» — тувалет. В гостинице прикиплен листок: «Увезжаем завтра».

Кожаные куртки и курточки, кипы юбок и штанов, розвеси блузок, блуз и блузонов, дубленки волокут из подвалов охাপками, швыряют под ноги, как полонянок, снимают крючьями из-под сводов, как висельников, — свингер, ломбада, бельмондо, глянцево́е «пропитки», какой-то крэк, не то крэг (английский режиссер?), давно потрескавшийся, в элегантных оспинах...

Если ничего не смыслишь, все равно щупай, мни, озабоченно вглядывайся в швы, будто способен в них что-то разглядеть, верти в руках опушку, словно она в чем-то перед тобой провинилась, а в возмещение обиды пытайся сбросить с цены процентов двадцать — где-нибудь авось да повезет. Ну, а нет — положи́сь на Аллаха, переложи дальнейшие поиски на своих покупателей — а уж они сыщут! Подошва меховых тапочек при сгибании пойдет трещинками, как ступня крепостной мужички, на дубленке откроются проплешинки, элегантный шнурок при попытке затянуть его останется в руке, капюшон не налезет на голову... Но это еще когда, а сейчас старайся вставлять в разговор английские словечки, их в Стамбуле знают и чтут. Лет двадцать назад, слышавши кандидатский минимум, я «спикал» довольно бойко, но все поглотили безъязыкие годы в социалистическом Эдеме, теперь приходится восстанавливать по разговорнику для моряков: «Вы повредили мне корму. Где здесь плавучий кран?» Моряк должен быть готов ко всему — и к «Передайте, пожалуйста, этот соусник», и к «Боль отдает в кончик пениса». Ну и, разумеется, к «Это слишком экстенсив. У вас короткий ахтерштевень и правый фальшборт ниже левого, подайте мне трап».

Закупки отнимают много времени, главным образом, потому, что никак не удается поверить, что дураков здесь так и не найдешь (исключая тебя самого), и что чем дальше забираешься от русского квартала, где тебя поселили, от бесчисленных стад челночниц (начиная с соплюх и кончая бабушками: мужчины крепче держатся за рабочую честь) тем выше становятся цены. Правда, не намного. А потом лавки сменяются мастерскими — хоть и на пяти квадратных метрах: сначала стрекочущими машинками, а потом воющими, испускающими струи искр точильными кругами, белым пламенем горнов, голубыми вспышками электро-сварки, — пора обратно, к своим — и вот уже снова зачистили русские «Джинси», польские «склепы» с чем-то гуртовним, и рассеявшиеся по



свету, аки племя иудейское, русские физиономии пошли бросаться в глаза непреклонным выражением «Нас на мякине не проведешь» — сразу видно, кто турок, а кто казак. В Турции я ни разу не видел злобности — разве что неотесанность. Продавец может ответить через плечо, не отрываясь от разговора — но ответить по сути, а не вопросом на вопрос: «Глаз нету?» Я обнаживал новинку из крэка (?), которую мне предстояло провезти на себе через таможду, — и время от времени обнаруживал, что меня кто-то ощупывает. То есть не меня, а мою кожу. Оглянешься — улыбнутся: «Хороший кожа. За сколько брал?» Разумеется, турки тоже люди и тоже хотят тебя поднадрать. Но когда ты этого не позволяешь, в России тебя ненавидят, а в Турции вполне могут пошутить, похлопать по плечу — что ж, мол, на этот раз твоя взяла. Зато соотечественников, которые не каждый миг держат локти растопыренными, встречаешь с удесятеренной нежностью: им ведь неизмеримо труднее, чем остальному роду человеческому, ибо у нас сохранение человеческого облика считается делом неимоверно трудным — а его потеря, напротив, вполне простительным: нужда, мол, заставила.

Муции Сцеволы, находящие в себе силы улыбнуться, подвинуться, убрать протянутые ноги, не отстаивать значительность щетиной мелких пакостей, зарабатывают ну ни лирой меньше окаменевших с растопыренными локтями несмеян, попытки вывести человеческое поведение из материальных обстоятельств — из бедности или богатства, из автократии или демократии, из недостатка образования или из его избытка — здесь, как и всюду, не приводят ни к чему, кроме глупостей и натяжек: человек ведет себя как сволочь по одной единственной причине: ему нравится быть сволочью. А любовь к сволочизму, как и ко всякой духовной ценности, детерминируется параметрами еще более неуловимыми, чем колебания мод от широкого к узкому. «Олд базар» — бесконечные галереи под расписными сводами уходят во все стороны сразу (ты всегда на перекрестке), в четыре необозримости, сверкающие золотом, коврами, всякой турецко-туристской хурдой-мурдой: фесками, лампами Аладина, востроносими парчовыми туфлями Маленького Мука, кальянами-ятаганами и, конечно же, — гирляндами кожаных курток, курточек, плащей, дубленок. В тряпье же, мне показалось, наметилась мода на первозданность: грубые куртки, расписанные под индейцев, которых нужно было сначала истребить, чтобы ощутить в них поэзию («Вагономин, вагономин...»), юбки-штанцы с некой домотканинкой, которой когда-то стыдилась деревенщина, вязаные платья «рыбачка Соня» с намеком на рыболовную сеть...

Что и понятно: в Стамбуле даже кривые закопченные переулки из узеньких трехэтажных домиков с тифлискими балкончиками и н т е р е с н ы (восточная музыка своей дивной истошностью сопровождает тебя всюду, куда не затрется), а мечети — вообще застынешь на нескончаемом вдохе. Для тех, кто бывал в Самарканде-Бухаре, вроде бы не так уж и ново, но — величие все-таки связано с величиной, а стамбульские мечети, сложенные (вырезанные) из серого камня, ошеломляют огромностью, минареты вблизи кажутся мощными, как водонапорные

башни, — лишь издалека открывается их невесомая колкость. Прославленная Айя-София — увы, нам, византийцам — не самая здесь прекрасная: крашенная в красно-бурое, как захолустная фабрика, она утопает в собственных контрфорсишах, выглядит кряжистой, как блиндаж, — только внутри захватывает дух от невероятных арочных взмахов. А у мечетей огромное пространство верховных куполов разбивается на каскады теснящимся ожерельем куполов-спутников, под которыми, глубоко вниз, ничуть не смущая своей затерянности, бродят кошки и неверные собаки — все больше англоязычные. Витражи яркие и непредсказуемо причудливы, как калейдоскопы.

Что еще хорошо — близ мечети всегда есть туалет и (это уже не так важно) череда низеньких крючконосых краников, под которыми в любую погоду моют ноги перед посещением дома Аллаха. Гяурам туда дозволяется не со всякого хода и не в любое время. Кажется, надо подождать, пока закончится переключка радиофицированных завываний: «Алла, бисмилла. . .» Зато потом — фри оф чадж. К изумлению своему, ты понимаешь, что шепчет печальный нищий: «Аллах акбар».

Турицию часто выдвигают примером успешной модернизации. Но блуждания по Стамбулу наводят на ретроградные мысли: европейские здания здесь удручающе неинтересны — такого европейского захолустья в Европе, пожалуй, и не сыщешь: немало для удобства, кое-что для представительства и ничего для восхищения. Равнодушный серый бетон, без любви, без выдумки излитый в прямоугольное лоно, вкрапления и к а к о г о ампира, напоминающего разве что о сталинской Москве. Поближе к окраинам — вообще какой-то советский райцентр Партиябад. Арабская вязь — сама по себе дивный орнамент, но — ведь латиница практичней! Утешают только сарьяновские собаки — хоть они и нечистые животные.

Султанский дворец прошлого века — роскошь тогдашней европейской электики воспроизведена на почти кустарном уровне, росписи плафонов напоминают, опять-таки, Дворец культуры начала пятидесятых. Да и так называемый народ — так ли уж он осчастливлен весьма относительным европейским комфортом (из многих окон торчат самоварного вида дымящиеся трубы), ради которого нужно целый день хватать прохожих за руки: «Колэга, хороший кожа, дубленка, воротник из стриженной ламы»? В патриархальных, неподвижных странах самоубийств во много раз меньше, чем в «передовых», где не жизнь, а сплошное состязание, — но ведь на пьедестале почета не может быть слишком много вакансий. Главное — эта гонка не оставляет возможности бежать вполсилы и жить вполкачества: или чеши до упаду — или будешь отброшен в полное ничтожество. И тем, кто желает отстоять свое право на неторопливость, не остается ничего другого, кроме фашизма. . .

За всю неделю я не видел, чтобы кто-нибудь на кого-нибудь заорал. Единственный раз солидный мужчина топал на меня ногами и кричал: «Дюрак, дюрак!» — показывал, что нужно идти до автобусной остановки с таким интересным названием. Объяснять, где сойти, собирается полавтобуса.

В уличных киосках выставлена такая крутая порнуха, какой и у нас не увидишь. Стамбул гяуры нынче славят... «Э, сейчас многие только пишут: мусульман — а сами не верят!..» — с сожалением машет рукой красавчик-продавец. Итог нашей беседы таков: что вера пала — это плохо, но жить без нее стало лучше: «Раньше я много не мог такого делать, как сейчас». Но в деревне верят, в парандже ходят, уважительно вспоминает он. «Раньше османы сильные были — о! — но у падишаха (падишах — это как президент) дети дураки, думают: а что, я тоже буду падишах... Забываю историю — все проблемы, проблемы, — а ваш бог разрешает голых женщин?» — «Он нам не говорит. Может, уже исстрадался весь...»

Наконец и на азиатской стороне, за Босфором осмотрены точно такие же достопримечательности — чем можно поразить, после волоса из бороды Магомета, к которому поднесена предусмотрительная лупа (табличка при входе просит соблюдать почтительность, за спиной не музейные бабуси, а brave автоматчики). Пора позаботиться и о р а с т а м о ж к е. Российская таможня не позволяет драть с одной страны больше трех шкур, то есть дубленок, тогда как для нас именно кожа самый выгодный груз: максимум стоимости на килограмм веса. Приходится нагружаться и текстилем, еще одну дубленку натягивая на себя (вальжность, бархатные нотки в голосе обретаются с поразительной быстротой), а кожно-меховой излишек отправлять «кáргой» — препоручить тысячедолларовый мешок неведомой конторе, которая «гарантирует» и доставить до места, и «договориться» с таможней всего за 4–5 баксов с килограмма. В случае пропажи она «гарантирует» и выплату полной стоимости. Гарантией служит отстриженная от школьной тетрадки бумажная ленточка, в которую шариковой ручкой вписана фамилия хозяйки (не могу нарадоваться, что я всего лишь верблюд!).

Турбюро, доставившее нас в Стамбул, тоже обещало растаможку, но на месте призналось, что несколько прилгнуло. Искушенные в деловой этике челноки даже не сердятся: понятно, у них клиентов не хватает, и так полсамолета пустые летели, придется отправлять через «Гиппопотам» или «Агат», а то «NNN» прокололось: возили через К., — военный аэродром, очень добрый дяденька-таможенник, армянин возил ворованные машины, люди по месяцу не могут получить, все погнило на складе...

Трое бравых молодцов под сорок (молодая ослепительная седина, физиономии альпинистско-инженерские) предлагают за ту же цену доставить на автобусе через Болгарию, Румынию, — в общем, смотрите сами по карте до Смоленска. Все расписано — таможни, рэкетеры, омовцы с пистолетами: сто, сто, тридцать пять, двадцать пять, — баксы отскакивают от зубов, как «до-ре-ми-фа-соль», — а после Российской границы подсаживаются двое с автоматами: зачем рисковать? Вот именно: если что, как мы с них получим свои зеленые? У «Гиппопотамов» хоть адрес есть...

Отправляем через «Трейдпocket». В полутемном пустом баре, на пыльной стойке гарантийный лоскуток с твоей же фамилией выписы-

вает приветливая женщина в очках — явно тоже «из бывших», из сокращенных инженеров, чей приток в торговлю заметно очеловечил эту беспросветно советскую стихию. Наш плетеный, как лапоть, пластиковый мешочик с перевязанными для тасканий кроличьими ушками, опутав скотчем (это якобы предохраняет от вскрытий), покидаем под высокими вращающимися табуретами. «Они только деньги берут как за самолет, а повезут все равно на машине, хрена с два во вторник получите», — предупреждают автобусные ушкунники — и как в воду глядят: в самые морозы, когда бы продавать и продавать, моя хозяйка тшетно дозванивается в «Трейдпocket».

Мне легче, но поди докажи таможеннику, что ты верблюд! Зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Но, видимо, какие-то рудименты интеллигентности во мне все-таки уцелели: суровый таможенник — он хороший парень, но с нашим братом по-другому нельзя — пронзительно глянул в упор: «В сумке все точно по декларации?» Точно, с предельной (запредельной) честностью подтвердил я и раскрыл перочинный нож. Видя, что я действительно готов сделать харакири не только своей «Капучино», но и самому себе, он молча мотнул головой: проходите, мол, не задерживайте.

И все же дубленочная вальяжность не улетучилась до конца, даже когда я поспешно семенил на волю. С хозяйкой мы друзья, но насколько же легче наемнику, чем собственнику!

Обретя в околочелночном бизнесе известный опыт, а с ним и известное нахальство, я, как всякий уважающий себя трудящийся, постепенно начал ощущать гнет эксплуатации: я таскаю за хозяйкой суму, кланяюсь в таможене, торгуюсь инглиш, а получаю всего в два раза больше, чем законные четверть ставки в своем НИИ. Будя, попили нашей кровушки, ноне не старый режим!

Отправляясь в Грецию, я взял займы тысячу дойчмарок — сумму для меня абсолютно неподъемную: если что — как честный офицер придется стреляться, и даже вдвоем, потому что ссудивший меня друг сам позаимствовал эти деньги в кассе своего малого предприятия — этак на месячишко. Хуже того — друг этот был женщиной, так что пришлось бы застрелить сначала его, а потом себя.

Как звучит — Македония! Фессалия! Счастливы мы, фессалийцы... Среди тамошних памятников больше Византии, чем Афин, но и это звучит сказочно: В и з а н т и я... Из Софии нас доставили на автобусе — чувствуется, что и горы здесь не простые, а византийские. Почему болгары все такие красивые? Отчасти, может быть, из-за имен — Снежина, Камен? Но наши бабы немедленно высчитали, во что нам обходятся эти светящиеся гостеприимством сопровождающие: мы живем в Греции неделю — и они с нами, — едят, пьют и загорают за наш счет.

По вечерам отчетливо виден Олимп, но мысли у нас не олимпийские.

На третий день:

— Бабы, а что это хоть за море? Черное, что ли?

— Эгейское, дура.

Белый сверкающий городок в пять-шесть рядов растянут вдоль моря — одни отели да магазины: почти одинаковые трех-четырёхэтажные параллелепипеды, опоясанные лентами (фризами, выражаясь по-здешнему) балконов, а в первых этажах — рестораны и ресторанчики, лавки и лавчонки, среди курортной жары утопающие в мехах. Богини судьбы Мойры с чего-то устроили так, что наследники Искандера Двурогого торгуют шубами, которые сегодняшние олимпийцы шьют где-то на горных фабриках, дерущих шкуры со всего мехородящего мира, включая и Россию. А мы для нее выбираем, уж конечно, не русских соболей и даже не «целиковую» норку, а самую что ни на ёсть мозаичную. Пушистые сквозные «хвостики» дешевле всего. Потом идут «лобики» — ряды полукруглых, вложенных друг в друга норковых скальпов, напоминающие панцирь, а шуба «из сердца» — из сигмаобразных гистерезисных петель, вырезанных из грудок несчастных зверьков, — имеет самый причудливый рисунок. Дешевле этих мозаик, кажется, только ошетилившийся, тронутый сединой опоссум — я его и сейчас распознаю на эскалаторах: ага, матушка, на норку, стало быть, не тянешь... А в разгар охоты на опоссума я усматривал сходство с ним и в ночном бурьяне.

В Греции, как известно, пишут русскими буквами с довольно незначительными погрешностями. И слова почти понятны: на вокзале видишь вывеску «трофим», в лифте читаешь что-то по поводу литургии, растерявшись у общественного туалета — в какую дверь сунуться? — с облегчением прочитываешь на табличках нечто вроде «андрон» и «гинекейон». Почему арбуз — карпузо, тоже легко догадаться: на кого же еще похож карапуз! И венцом всему, в книжной лавке отыскиваешь том Бориса Полевого, повествующего о некоем «прагматичном андроне». И такое счастье тебя охватывает, когда поймешь, что прагматичный андрон есть не что иное, как «настоящий человек». И впрямь, что ж такое «настоящий», как не «серьезный», «солидный», «положительный» — ну, словом, прагматичный.

Ныне я и сам прагматичный андрон. «Тысяча марок, тысяча марок!» — стучит в мое сердце («Сначала ее, а потом себя, сначала ее, потом себя...»). В Метеору я, правда, съездил — в монастырь, угнездившийся на пучке гигантских, выветренных скал, округлых, как вставшие на дыбы исполинские черные свиньи. Греция — страна причесанная, как и вся Европа, никаких первозданностей, вроде буреломов и помоек, не наблюдается. А добираться до Акрополя нам вдруг совершенно расхотелось. В Пушкинском музее я, бывает, прихожу в греческий дворик просто посидеть среди макетов, а в качестве озабоченного прагматичного андрона как подумал — ночь туда да ночь обратно, да все сидя, да сколько денег, да сколько меховых лавок за это время можно обойти, да сколько шуб пересмотреть и перещупать, со сколькими приказчиками переторговаться, изображая человека положительного...

В качестве такового здесь предложат присесть, поразмыслить, потягивая метаксу с какой-нибудь шипучкой — ужасно втягиваешься в это дело. Однажды в Салониках (Фессалониках) я обскакал всех коллег, разнюхав некую щель с хвостиками, которые еще немного и прищиплись

бы по карману даже работникам культуры. Усатый толстяк (жара, усы, пузо — все напоминало почему-то о Сухуми) был настолько щедр, что накинул в презент тяжеленькую монету.

Драхма — как это звучит! Оскорбленные моим успехом завистники в отеле немедленно обнаружили (о лысинках я умолчу: кто живет в стеклянном доме...), что мне втюхали так называемую «летнюю» норку, осыпавшуюся как одуванчик при первом же дуновении покупателя. Но все кончилось благополучно: руководительница группы (она и в первой жизни была «рукгруппы» оборонного НИИ — высшее образование всюду высшее образование) помогла мне найти магазин, куда согласились взять мои шубы совсем с небольшим для меня убытком — долларов с полсотни.

Теперь я понимаю, откуда взялась мечта о социализме: когда люди тебе улыбаются, угощают метаксой, а потом... потом действуют не в твоих, а собственных интересах, ужасно хочется сделать так, чтобы они этих интересов не имели, чтобы ничто не мешало нам улыбаться друг другу без всякой задней мысли. Ужасно жалко, что состязательность может быть изгнана из жизни лишь вместе с самой жизнью! А то взглядишься в заботы зазывал и торговцев — так их же еще и пожалеешь. Для нашего брата, челнока, повсюду набран русскоязычный штат: наш великий и могучий слышится всюду. Аки племя иудейское... В добрый или недобрый час вспомнили наши бывшие соотечественники о своей неполной русскости? Эта милая брюнетка, стесняющаяся хватать тебя за руки, заваливая все новыми и новыми мехами, — наверно, она была счастливее в качестве старшего технолога в Подмоскowie. А эти братишки из Уфы — может, им лучше было бы по-прежнему слесарить, а не бегать среди кромешной тьмы по сверкающим отелям, заманивая в какой-то сказочный магазин, страну Муравию, где торгуют себе в убыток. «Запомните их хорошенько!» — гремит наша Гренадер-баба, отправляясь с ними во тьму. Они натянуто улыбаются — бакшиш у них грошевый (кажется, по-гречески это именуется лептой?). Время от времени проносится слух, что своих избранных они могут взять на Олимп — черпать прямо с фабрики.

Самое отвратительное, что есть в жизни (и без чего, увы, нет жизни), — это борьба. А стоит на шаг отступить от нее — и начинается рай. Отель скромный, то есть, по советским меркам, очень хороший: кровать, холодильник, ванная — наших братских могил здесь, видно, тоже не строят. Выходишь на улицу в плашках, босиком проходишь сто метров до моря. С лотков без всякой очереди и хамства набираешь каких вздумается фруктов (я и не знал, что простой персик способен на целый день наполнить комнату ароматом), горячий хлеб, на твоих глазах извлекаемый из элегантной печи (только там видишь потного торговца, но и он улыбается без малейшей натуги), в молочной (но побыстрее, не то схватишь насморк) берешь холодное молоко, йогурт с размякшими ягодками на дне (столько сортов — вечная проблема выбора, от которой тоже избавляет социализм) и — горячий песок, сияющая лазурь, халявные пластиковые топчаны — наживка, подброшенная хозяином кафе: ты только приляг, а там, глядишь, и не удержишься от стакана прохладного пива, сока, кофе-гляссе, шашлыка из кругленьких сладких пончиков.

Пробуксовывая в песке подведомственного ему пляжа — километра три по солнцепеку, — без усталости с восхода до заката обходит нежащуюся публику с подносом на плече юный грек лет десяти, подернутый по загару золотистым пушком. Он родом из Ташкента, здешних греков не любит: они злые, все время подгоняют, в Ташкенте было лучше. Но греки, по крайней мере, купеческое слово держат: назови адрес — хоть из другого города доставят ваши шубы — аккуратнейше скрученные в черных плаستيковых мешках, заклеенных скотчем. Укладывая в автобус — места полно — и кати в Софию, как белый человек.

Мы прибыли на границу без четверти ноль — через пятнадцать минут истекала наша виза. Все шло точно по расписанию. Утром София, в полдень — самолет. Мимо автоматчиков и колючей проволоки въезжаем на залитый прожектором асфальтовый нейтральный пятячок: гофрированный навес, витринные стекла конторы, но на витрине мы, а не эти усатые люди в униформе. «У нас все законно», — твердим мы себе, но сами-то знаем, что закон — тайга. «Тысяча марок, тысяча марок...» («Сначала ее, потом себя, сначала ее, потом...»)

Внезапно — никто не слышал этой команды, она разнеслась телепатически, но все разом начинают понуро выбираться из автобуса, не поднимая глаза — каждому известна инструкция завоевателей (не древнегреческая ли?): «Убивайте гордых!» «Выгружайте!» — разносится телепатически. Наши черные тючки, аккуратные, как почтовые посылки, вывалены на пыльный асфальт; расшвыривая их ногами, взад-вперед прохаживается гневный усатый коротышка (замухрышка, шмакодявка, мандавошка, соплей перешибешь), напоминающий шпаненка на танцплощадке, покровительствуемого взрослыми блатарями. Бледная руководительница группы пытается забежать вперед, разъяснить, что у нас все в точности по декларации, что если мы распакуемся, нам будет до утра не упаковаться, что утром у нас самолет...

«Это ваши проблемы!» — мы без переводчика понимаем эту формулу развитого капитализма, она же формула развитого социализма: «Нас это не е...!» Коротышка скрылся в конторе, а мы остались под прожекторами. Каждый знает — законов нет, возьмут и конфискуют, требуй потом через международный суд в Гааге. Ну, не конфискуют, так размажут штрафом. Или задержат на... Сколько дней мне потребуется здесь отсидеть, чтобы пришлось сначала ее, а потом себя?

Согбенные, мы стоим над грудой своего мохнатого имущества на пятячке ослепительного мертвенного света среди жаркой тьмы. Проходит час, другой. «Сначала ее, потом себя, сначала ее...» Отдельные добровольцы отправляются в витрину, где, униженно склонившись к конторе что-то лепечет наша рукгруппы на своем пиджн инглиш. «Ничего, прорвемся!» — подбадривает Гренадер-баба и собирается идти ругаться, зная, что ее не пустят. «Как по-гречески геморрой?» — спрашивает она меня. «Это греческое слово. Что-то вроде кровотечения.» Все поражены.

Света, в миру ее соседка, которую Гренадер-баба ради своего увеселения таскает по всему свету, как всегда, покорна судьбе. Людмила не переставая капает корвалол в термосную крышку. «Они хотят большую

бутылку метаксы!» — с видом бывалого человека повторяет Юра, но и он только храбрится: рукгруппы уже намекала усатику на некую сумму в долларах, но вызвала лишь новый взрыв самой опасной злобы — патриотической. Всем Светам, Милам и Юрам около пятидесяти. Все с высшим — группа исключительно интеллигентная.

Постепенно выясняется, что бешеный коротышка возмущен долларизацией греческой экономики: он требует, чтобы мы вернулись во все магазины всех населенных пунктов, где мы что-то покупали, и взяли там справки, что расплачивались драхмами, а не долларами. Мы действительно платили долларами — в голову не приходило, что это запрещено: лавочки просто сияли навстречу нашей «зелени»; они же дали бы нам и любую справку, но заняло бы это дня три (не говоря уже о том, что всех магазинов и не вспомнишь). А виза? Ведь мы уже не имеем права находиться в Греции. А полдневный самолет?

Я брожу кругами, петлями и спиральями под белыми солнцами прожекторов. Кругом колючая проволока неизвестно среди какого мира, вдоль шлагбаума прохаживается солдат в неизвестной форме, держа как-то странно, поперек пояса длинный автомат. «Сначала ее...» Может, броситься на проволоку? — короткая очередь — и все кончено. А на нейтральной полосе цветы... Выплывают из тьмы и с ревом скрываются во тьме огромные трейлеры с надписями: «Иstanbul», «Amsterdam» — я уже не различаю кириллицу и латиницу. Не покидает ощущение бреда: неужели это я, старший научный сотрудник престижного НИИ, совсем недавно получивший приглашение вступить в нью-йоркскую академию, брожу по этой нейтральной полосе между Стамбулом и Амстердамом? Зайти здесь можно только в туалет и «фри-шоп» — каждый из них я обследую раз по двадцать: чисто, поблескивают краны, гудят унитазы, на полках перед зеркалами фессалийское и фалернское, кивающая уже из мира потустороннего метакса, две тысячи сортов виски и шоколада, электробритвы, магнитофоны... Какая страшная, сверкающая красота! Сколько на свете вещей, не нужных человеку!

На некоем подобии клумбы, под агавами небольшим таборцем сидят умиротворенные украинцы. «Ничого», — утешают они меня. Ось вони уже с месяц здесь сидят: неправильно оформили паспорта, в Грецию их не пускают, а назад вернуться не на что. Вот, оказывается, где мне суждено скончать свои дни. А как же «сначала ее»?...

Черная тьма понемногу превращается в серую мглу, проступают контуры гор. Горы начинают розоветь. Выходят солдаты причесывать грабелями и без того великолепно возделанную землю промеж двух колючек. Усатый замухрышка, исполненный достоинства, отбыл на отдых. Его сменил другой усач. Он бы нас отпустил, но не решается отменить распоряжение коллеги. Вот в девять придет начальник — он нас рассудит. «У нас же самолет!..» Не могу знать. Все это по-гречески. Рукгруппы звонит в Афины, в российское посольство. Посол соблюдает день субботний. Но в понедельник он нами обязательно займется. Рукгруппы грозит дежурному международным конфликтом, хотя наши уже окончательно сморены. Дежурный призывает таможенника и что-то долго ему



внушает. Рукгруппы дозванивается до Софийского турбюро, оно обещает задержать самолет. «Турбовинтовой?» — спрашивается бредовое созвучие, но говорят, что это может каждый — за сто долларов не то в час, не то в минуту, не то в секунду. Все это ляжет на наши кошельки. «Сначала ее...»

Начальник уже выехал в таможню, Снежина в аэропорт — кто кого? Он уже здесь — усы, пузо, но почему-то больше не Сухуми. Он готов нас отпустить, если мы распишемся, что не имеем претензий. Опытные люди предостерегают: на незнакомом языке можно подписать признание в попытке провезти наркотики. Все же по одному тянемся расписываться. Очумелые, укладываем тючки, расползаемся по успевшему хорошенько прокалиться автобусу — и начинается гонка: Снежина в Софии сыплет нашими долларами, мы в Балканах ждем на газ. Но победила нас японская делегация, у которой был уже назначен вылет из Москвы — не Болгарии тягаться с финансовым могуществом Японии. Уже на ступенях аэропорта (что-то в духе Хлебникова — чуть ли не «Летище») мы увидели, как наш лайнер взял курс на Москву — мы остались на плавающемся асфальте над своей меховой грудой.

Нас отправили в пригородную гостиницу, обещали устроить на поезд, но в голове прагматичного андрона всегда звучит один вопрос: «Почем?» И насколько же его отсутствие украсило бы прогулку по Софии! А так больше всего запомнился мавзолей Георгия Димитрова с мазутными надписями: «Желев-предатель», «Луканов-предатель!» — дальше не хватило не то места, не то всенародных героев, которым всем до единого предстоит обращаться в предателей, стоит им оказаться наверху: от них всегда ждут невозможного. Впрочем, еще более сильное впечатление произвел шофер автобуса, остановившийся закусить на наших глазах, когда я уже начинал нервничать, не уедет ли группа без меня: в нашем братском промысле это запросто, на нейтральной полосе я вскакивал уже на ходу.

— Запасайтесь пресной водой! — предупредила бывалая Гренадер-баба. — Ехать через всю Болгарию, Румынию, Молдавию, Хохландию... И везде таможни! — зловеще перебила она себя. Все знают, что таможня — это произвол, не в ругательном, а в констатирующем смысле: очень многое передано на личное усмотрение таможенника.

Однако в поезде немедленно возникает избыток пресной воды: обрушивается ливень, пол начинает подтекать — прямо к нашим мешкам. Лихорадочно извлекаем, ощупываем, держим на руках, будто младенцев, — нам не до дивных горных пейзажей. В крепости... почему станцию Горный Ореховец так хочется назвать крепостью? — в Горном Ореховце уже затемно наблюдаем посадку «турецкого десанта» с текстилем и кожей. Согбенные черные силуэты, увешенные сумами, влекут силуэты багажных тележек, на которых уже в невидимой вышине колеблется черная пирамида таких же сумиш, именуемых почему-то «капучино». Силуэты забрасывают и забрасывают сумиши в тамбуры, держа поезд на стоп-сигналах. Каждое купе завалено по грудь, в него взбираются и ложатся поперек.

Румыния. Таможенники, раззолоченные и свирепые, как латиноамериканское диктаторы. «Сначала ее, потом...» Бесконечная кукуруза, изредка барашковая шапка, высокая, как сырная пасха. Где же ты, единое экономическое пространство?.. Молдавия, Украина, Россия — и всюду «сначала ее, а потом себя». Наконец (и вокзальный рэкет не тронул) — стадион ЦСК!!! Место стоит — даже повторять не хочется, с парой шуб нечего и соваться — приходится стоять во дворе, мешая движению и разбегаясь при виде стражей порядка. Занимаются этим одни бабы. Я разбежался разок и бросил. Огромный омоновец с золотым зубом за несколько тысяч пристроил меня к стеночке (как ему, должно быть, впоследствии не хотелось в эту трехпогибельную Чечню!). Одна шуба на плечах, как бурка, другая в руках. Подошла денежная деваха с завидующими подружками, примерила. «Что это за шуба — никакой формы!» — «Формы надо иметь хозяйке», — вступился я. Завидующие подружки счастливо закатились. «Продают брак!» — денежная с ненавистью швырнула мне мои «хвостики». Я разыскал разбегающихся коллег и довольно быстро уговорил этих благороднейших людей взять мои шубы ровно за тысячу марок — ну, с самым пустячным минусом. Больше я в коммерцию не совался. И детям закажу.

А коллеги все рискуют. Гренадер-баба купила «BMW». Света все вложила в «ЖЖЖ» — теперь служит там же кассиром в надежде, что хоть своим-то что-нибудь вернут. Успела уже просчитаться и внесла еще один миллион. Юра летает в элитарные Эмираты — в предыдущем своем воплощении он был электронщиком, а в Эмиратах без этого трудно. Людмила, охая, причитая и глотая корвалол, сама удачно свозила несколько групп в Грецию и круто поднылась. Зина, с которой я начинал ездить в Польшу, решила разом покрыть все долги, взяла займы восемь тысяч баксов и в компании, по наводке земляков, двинула на олимпийскую фабрику. По дороге автобус остановили автоматчики в масках, прекрасно владеющие русским языком, всех высадили, отвели куда-то в кусты и обчистили, а автобус угнали. Зина продала квартиру, вернула долг, а на остатки возит кожу из Турции.

Живет у подруги (сыну, к счастью, жилплощадь пока не нужна — он снова сидит в тюрьме). Попутно ей ампутировали грудь, велели передохнуть с полгодика, но она каждый день ездит в Лужу (Лужники): заранее арендовала место за сорок, что ли, тысяч в день. И, похоже, зря: внезапно начали требовать лицензии на кожу. Надвигается и реорганизация Лужников — сколько можно терпеть это безобразия! Да поможет ей Гермес — вороватый покровитель стад, путников и торговцев.

А что до меня... Бывая в своем институте, видя все те же чаепития, только в более чем ополовиненном составе при более чем ополовиненном рационе, я чувствую, что уставать, рисковать и даже унижаться, но — хоть отчасти держать свою судьбу в собственных руках гораздо достойнее, чем медленно погружаться в трясины и не шевельнуть при этом ни единым пальцем, а только ныть, прожектерствовать, злобствовать...

---

---

## София Дубнова-Эрлих

### «Я ХОТЕЛ БЫ СЕРДЕЧНО ПРОСТИТЬСЯ С ЭТИМ ГОРОДОМ...» (С.М. Дубнов в Петербурге)

*Известие о гибели в рижском гетто отца, выдающегося еврейского историка Семена Марковича Дубнова, София Дубнова-Эрлих получила в Америке. Последний раз они виделись в Вильне в 1940-ом году — тогда встреча с дочерью и внуками, едва спасшимися от фашистского геноцида в Варшаве, и общение с соратниками, учениками на юбилейных заседаниях Института по изучению идиша (ИВО), посвященных И.Л. Перецу, были окрашены весенним пробуждением природы и надеждой, что жизнь устоит перед нашествием варваров. С.М. Дубнов укрепился в мысли, что его «настоящее место — среди виленских энтузиастов науки, созданных, как и он, из крепкого, огнеупорного материала». Он стал готовиться к переселению из Риги в Вильну. Но Вторая мировая война уже катилась по земле, исторические события перечеркивали человеческие надежды, ничего нельзя было планировать, жизнь отдельного человека теряла свою цену... Красная Армия вступила в Прибалтику, Латвия была включена в состав Советского Союза, граница закрылась. Дубнов остался в одиночестве, не умея вписаться в новую, незнакомую для него жизнь, обеспокоенный судьбой своего архива, которому могло грозить разгищение. Осенью 1940-го года он получил из Вильны письмо от дочери, в котором она сообщила, что опасаясь ареста советскими властями — в Брест-Литовске был арестован ее муж лидер польского Бунда Генрих Эрлих — семья отправляется в эмиграцию. Через Россию, Японию и Канаду в 1942 году они приехали в Америку. Здесь и настигло Софию Дубнову-Эрлих сообщение о последних днях отца. По свидетельствам очевидцев, в начале июля 1941 года из предместья Риги, где жил Дубнов, были выселены все евреи. Он оказался в гетто, в приюте для стариков — писателю исполнилось восемьдесят лет — и прожил там четыре месяца. Затем ему нашли другое убежище, но и оно его не спасло. По версии одного из свидетелей, Дубнова выгнали и заставили присоединиться к колонке евреев, нашедших смерть в Рамбули, под Ригой, где погибли все рижские евреи. По другой версии, в ночь с 7-го на 8-е де-*

кабря 1941 г. большого Дубнова — у него была высокая температура — выгнали на улицу, где стариков и слабых сажали в автобусы: для всех мест не хватало и многих расстреливали на месте. Старый писатель не в силах был быстро подняться на ступеньку автобуса. И тогда, как рассказал очевидец, «пьяный латышский полицейский подбежал к нему и выстрелил прямо в затылок». С.М. Дубнов упал замертво, его похоронили на старом еврейском кладбище в рижском гетто.

София Дубнова-Эрлих приехала в Америку сложившимся человеком. Поэт Серебряного века — автор двух лирических сборников «Осенняя свирель» /1911/ и «Мать» /1916/ — профессиональная журналистка и литературный критик, она прошла, кроме того, большую школу общественно-политической работы в рядах Бунда. Несмотря на значительные расхождения с отцом, скорее возрастные, поколенческие, нежели идейные, София Дубнова-Эрлих так сказала об их взаимоотношениях: «Столько лет любить одно и тоже — связи нет сильней».

В Америке продолжилась литературная деятельность Софии Дубновой-Эрлих. Журнал «Новоселье» на протяжении многих лет публиковал ее очерки, литературные обзоры и стихи. В 1977 году в Нью-Йорке вышел ее последний поэтический сборник «Стихи разных лет» — лирическим дневник, предельно искренний и душевно напряженный, хотя подчас и горький. Эмигранткой она себя не считала, в стихах сказала: «Просто дочь, разлученная с матерью...» По поводу своей национальной принадлежности высказалась однозначно: «Русская еврейка. Этого ответа хватало на всю мою жизнь...»

Книгу об отце София Дубнова-Эрлих издала в Америке в 1950-ом году. С тех пор эта книга не переиздавалась, и в России практически неизвестна. Материалом для нее послужили два тома «Книги Жизни» С.М. Дубнова (судьба третьего тома тогда еще не была известна, его нашли в Австралии позже), а также собственные воспоминания. Свою задачу она определила так: «Биография человека — не простой перечень фактов: самая запутанная, сложная, противоречивая жизнь обладает внутренним единством. Задача биографа — систематически выявлять это единство в наслоениях лет, меняющих облик человека. Жизнь историка С. Дубнова, неразрывно слитая с десятилетиями истории русского еврейства не представляет трудности для исследователя: от убогого хедера, где пылкий детский ум искал пищи в легендах Библии и казуистике Талмуда, ведет прямой, как стрела, путь к той заснеженной площади, где выстрел человеко-зверя положил предел многолетней работе мозга».

Публикация фрагмента из книги Софии Дубновой-Эрлих об отце посвящена петербургскому периоду его жизни. Дубнов неоднократно приезжал в Петербург, но самым длительным периодом были годы с 1906–1922, когда он жил в этом городе постоянно.

*Издательские условия не позволяют дать в полном объеме главы, посвященные этим годам, поэтому они публикуются в сокращении. Купюры не оговариваются.*

*Подготовка текста, примечания и вступление  
Татьяны Ланиной*

Квартира Дубновых на тихой боковой улице была сумрачная, неуютная, с окнами, выходящими на глухую грязноватую стену. Это был тот район старинных домов, узких переулков, мутноватых каналов под горбатыми мостиками, с которыми были связаны для писателя воспоминания молодости.<sup>1</sup> Многое переменилось за двадцать с лишком лет: умер редактор Ландау; недавно прекратил существование и журнал, которому С. Дубнов отдал столько сил, столько жара мысли и чувства;<sup>2</sup> старый коллега Фруг<sup>3</sup> ютился где-то на далекой окраине, и стихи его, посвященные современности, говорили и содержанием своим, и тягучими, медленными ритмами о безнадежности и резигнации. Меньше всего изменился за эти годы сам С. Дубнов: под седеющей гривой волос глаза горели молодым блеском, с прежней горячностью отдавался он литературной и общественном работе, восторгался красотой природы, повторял любимые стихи. Но усложнившаяся действительность все чаще рождала горькое недоумение.

Университетская деятельность, к которой он приступил с большим воодушевлением, оказалась непродолжительной. Вольная Высшая Школа, руководимая профессором Лесгафтом<sup>4</sup> блестящим ученым и мужественным общественником-демократом, была самым передовым петербургским университетом, сумевшим привлечь целый ряд талантливых и радикально настроенных профессоров; среди слушателей преобладала молодежь, примыкавшая к революционному движению. Новый лектор, считаясь с повышенным интересом этой молодежи к социальным проблемам, решил читать курс новейшей истории евреев, начиная с французской революции. Совет факультета, однако рекомендовал ему держаться хронологического порядка и начать программу с библейского периода. Готовясь к лекциям, С. Дубнов просиживал долгие часы в Азиатском музее при Академии Наук, читая с увлечением монографии о недавно открытом кодексе Гамураби,<sup>5</sup> перечитывая труды выдающихся немецких исследователей Библии. Вступительная лекция собрала большую аудиторию. Лектор отметил инициативу Вольной Высшей Школы — первого русского университета, создавшего кафедру еврейской истории на факультете социальных наук. Он развил свою социологическую концепцию еврейской истории и закончил словами о свободной исторической науке в свободной стране. Молодежь горячо приняла нового профессора, но когда он начал читать свой курс, выяснилось, что в студенческой среде очень мало людей, даже поверхностно знакомых с Библией: среди слушателей христиан их оказалось больше, чем среди евреев. Сбылось то, чего опасался историк: в напряженной послереволюционной атмосфере

библейская критика и новейшие открытия в истории древнего Востока интересовали только узкий круг специалистов.

В петербургский период писатель вступил с большими надеждами. Физические недомогания — плод напряженной работы и тяжелой борьбы за существование — были позади. Осуществился, наконец, давнишний план переселения в столицу, правда, в несовершенной форме (разрешение на жительство в Петербурге было временное). Острота материальных забот ослабела — школьный учебник, ежегодно переиздававшийся, стал основой скромного бюджета семьи. Но для душевного равновесия всего этого было недостаточно.

С. Дубнов не чувствовал симптомов надвигающейся старости, настроение резигнации было ему чуждо. Тем острее ощущал он разлад с современностью. В юные годы ему приходилось тратить много сил на преодоление внешних препятствий, но во внутренней жизни не было диссонансов: содержание эпохи — ее идеалистическое народолюбие, в среде молодых маскилов\* нередко перераставшее в еврейское народничество, ее трезвая рационалистическая философия, ее реалистические вкусы — все было понятное, близкое, свое. За четверть века многое переменилось: с выступлением на арену новых сил усложнилась политическая обстановка; большую власть над умами приобрел марксизм, утверждавший примат бытия над сознанием; в то же время обозначилась на интеллигентских верхах тяга к мистике, к иррациональному; в литературе тревога предчувствий взорвала классические каноны. Ученику Конта и Милля было не по себе под ветрами новой эпохи. Интеллектуальное беспокойство усиливало червяком присосавшуюся к сердцу личную боль: новая запутанная, сложная жизнь была жизнью его детей...

С родителями жила теперь только старшая дочь<sup>6</sup> — слушательница университета. Захлестнутая столичным водоворотом, она редко бывала дома. Бродя по тихой, пустой квартире, писатель иногда подходил к ее письменному столу: рядом с маленькой Библией, которую он подарил ей и которую оба они считали «талисманом», лежали только что вышедшие философские и литературные сборники, стихи современных поэтов. Эти книги были ему чужды; особенное недоумение вызывали стихи, казавшиеся искусственными, изломанными; закрывая книгу, он возмущенно бормотал: декадентщина... И вставали в памяти хорошие, уютные вечера под висячей керосиновой лампой, посвященные Лермонтову, Некрасову, Фету...<sup>7</sup>

Среди разнообразных и подчас носивших случайный характер работ С. Дубнов не переставал мечтать о погружении в труд большого охвата. С мыслью о таком труде все настойчивее сочеталось представление об уединенном уголке, в тишине которого голоса прошлого звучат внятнее, чем в сутолоке большого города. Судьба помогла писателю найти такой уголок в недалекой Финляндии, стране лесов и озер: это бы-

---

\*Максилы или максилым — приверженцы просветительского движения Гаскала (середина XVIII — нач. XIX веков). В начале XX века термин «маскилизм» употреблялся лишь по традиции.

ло запущенное имение, принадлежавшее состоятельным петербургским родственникам.<sup>8</sup> Уже в первое лето, проведенное в Линке, новый житель почувствовал прелесть суровой и нежной северной природы; воскрес пантеистический экстаз, охватывавший душу в лесах Полесья. Запись в дневнике от августа 1907 года гласит: «Я сейчас молился в своеобразной синагоге. Рано утром вышел в лес, улыбавшийся солнцем сквозь слезы дождя или росы, и несколько минут... душа молилась в знакомых с детства словах... Святые мученики 1903–1906 годов! Я поминаю вас здесь, в глуши финляндского леса, в слезах напевая: „Эль моле рахамим...“»<sup>9</sup>

На долю писателя, мечтавшего о том, чтобы сосредоточиться над главным трудом, выпало в петербургский период крайнее разнообразие литературно-общественных функций. Нелегко было запереться в четырех стенах кабинета. Культурная жизнь в столице была ключом; политическая реакция не могла загнать в подполье разбуженную энергию страны; завоеванный революцией закон об организации собраний и союзов дал возможность группе еврейских журналистов различных направлений добиться легализации Еврейского литературного общества.<sup>10</sup> Во вступительной речи на многолюдном учредительном собрании этого общества, состоявшемся в октябре 1908 г., С. Дубнов призывал к усилению культурной работы, защищал свою обычную концепцию равноправия трех языков. «Мне пришлось, — вспоминал он впоследствии, — защищать права русского языка в нашей литературе против идишистов и гебраистов, доказывая, что нельзя отнимать культурное орудие у огромных слоев еврейской интеллигенции, говорящей и читающей по-русски. Я допускал, что в смысле национального еврейский и русский язык не равноценны, но они должны быть признаны равноправными, как культурное орудие».

Осенью 1908 г. М. Винаверу<sup>11</sup> удалось получить разрешение на преобразование скромной замкнутой Историко-этнографической комиссии в Общество, обладающее широкими правами. С. Дубнову предложено было вступить в учредительный комитет: образование нового очага науки являлось запоздалым осуществлением того призыва, с которым молодой сотрудник «Восхода» обратился в свое время к широким кругам еврейской интеллигенции. Несмотря на перегруженность работой, писатель не считал себя вправе уклониться от участия в деле, за которое горячо ратовал в молодые годы. На первом заседании С. Дубнов произнес вступительное слово. Под впечатлением этого собрания С. Дубнов пишет в дневнике: «Оно открылось вчера, это Историческое общество, проект которого я писал ранней весной 1891 г. Предстоит громадная работа: собиране и издание материалов, издание трехмесячника и отдельных книг, лекции и рефераты... Если бы это было 17 лет назад, как бы я отдался этому, сколько бы сделал! Мечта тридцатилетнего, осуществляемая в сорок восемь лет — не слишком ли поздно?»

В начале декабря писатель открыл серию докладов в новом Обществе рефератом на тему «О процессе гуманизации и национализации в новейшей истории евреев». Он подкреплял рядом аргументов мысль, что установление гармонии между гуманизмом и национализмом является

важнейшей задачей, завещанной 19-м веком 20-му. Реферат вызвал горячие прения, затянувшиеся на два вечера. С тех пор С. Дубнов часто выступал в качестве инициатора дискуссий на историко-публицистические темы.

1909-ый год начал новую эру в русско-еврейской журналистике: после периода затишья появились почти одновременно два журнала: научный «Еврейская Старина» и литературно-публицистический — «Еврейский Мир»<sup>12</sup> С. Дубнов принимал в обоих ближайшее участие. После того, как закрылся «Восход», с которым были связаны долгие годы его литературной деятельности, он тосковал по публицистической трибуне и мечтал об органе, который идейно был бы более цельным, чем его эклектический предшественник. Такой журнал, — думалось ему, — должен стать провозвестником национально-прогрессивной идеологии, носителем которой является Фолкспартей.<sup>13</sup> И когда в 1909 году группа общественных деятелей получила разрешение на издание ежемесячника и предложила писателю войти в состав редакции, он согласился без колебаний. Редакция была коалиционная; в ее состав входили сионисты, представители Народной и Демократической групп и два делегата от Фолкспартей (С. Дубнов и С. Ан-ский<sup>14</sup>). Равнодействующая между различными течениями совпадала с направлением Фолкспартей, поэтому С. Дубнову приходилось играть в редакционной коллегии руководящую роль и умирять страсти, разыгравшиеся при обсуждении ежемесячных политических обзоров.

В беллетристическом отделе нового журнала печатались С. Абрамович, Перец,<sup>15</sup> Фруг. С. Дубнов поместил в первых книжках обширное введение в новейшую историю под названием «Гуманизация и национализация» и фрагмент из цикла, озаглавленного «Думы о вечном народе», подписанный псевдонимом Историкус. В этом фрагменте он возвращается к излюбленной идее, состоящей в том, что исторически обоснованная вера в бессмертие народа может заменить свободомыслящему человеку веру в личное бессмертие.

Существование «Еврейского мира» давало писателю возможность время от времени возвращаться к волновавшей его проблематике «Писем»,<sup>16</sup> но любимым его детищем был трехмесячник Историко-Этнографического Общества «Еврейская старина», который он редактировал от первой до последней строки.

Определяя во вступительной статье цель нового издания, С. Дубнов заявлял, что инициаторы «Старины» стремятся создать особый тип журнала: оставаясь строго научным, он должен давать импульсы к «историческому мышлению, которое не уводит от жизни, а вводит в ее глубины, ведет через старое еврейство к новому». Журнал посвящен был главным образом истории и этнографии польских и русских евреев — этой наименее разработанной области еврейской исторической науки. Ценным вкладом являлось постоянное сотрудничество польско-еврейских историков Балабана, Шорра и Шиппера; по истории русских евреев много писал Ю. Гессен; М. Вишницер, деятельный член Историко-Этнографического Общества, вел постоянный отдел библиографии, С. Ан-ский разрабатывал проблемы фольклора. Сам редактор помещал статьи и заметки почти



в каждой книжке, а кроме того, в отделе «Документы и сообщения» систематически печатал материалы из своего архива. С радостью следил он, как растет фундамент научных исследований и материалов, на которых должно быть воздвигнуто здание истории восточного еврейства.

В годовом собрании членов Историко-Этнографического Общества (февраль 1910 г.) С. Дубнов прочел доклад «О современном состоянии еврейской историографии». Он изложил социологическую концепцию еврейской истории и обосновал новое деление на периоды. Эти мысли спустя несколько месяцев были развиты во введении к новому изданию «Всеобщей истории евреев».

Особенно хорошо работалось теперь в финляндском затишье. Воодушевление писателя доходило порой до экстаза; в одну из таких минут он пишет: «Так близок мне Бог: Он во мне, в каждом порыве моем к вечности, во всем напряженном духовном устремлении моем... Так должен жить слуга духа... Так жил мой дед Бенцион,<sup>17</sup> так живу и я с того момента, когда дед и внук на двух параллельных улицах Мстиславля, в тиши своих библиотек, трудились каждый по своему над исканием Вечного... Так близка ты мне, родная душа, может быть, витающая теперь надо мною, — нет, живущая во мне в другом „гилгул“ (метампсихоза)».

Пятидесятая годовщина застала писателя в Финляндии в работе над главами древней истории. Бродя по берегу озера, он вдруг вспомнил библейский стих: «В этот год юбилея каждый должен вернуться в свое поместье», — и эти слова показались ему символическими: на пятидесятом году жизни он действительно вернулся в свое «поместье» — на территорию истории. С особенным увлечением перерабатывал он теперь главу «Возникновение христианства», которую в предыдущем издании пришлось сократить из-за цензуры. «Вся эта глава, — говорится в автобиографии — построена на антиномии христианского индивидуализма и иудейского национализма, дошедшей до высоты мировой трагедии в момент восстания Иудеи против римского гиганта».

Закончив большой том, С. Дубнов позволил себе передышку. В многочисленном собрании Литературного общества прочел он доклад «Прошлое и настоящее еврейской журналистики». Невольно вспомнилось докладчику, как одиннадцать лет назад он подводил на собрании в Одессе итог сорокалетнему существованию русско-еврейской печати. За последние годы многое изменилось. В былое время тезы доклада яро оспаривались сторонниками ассимиляции; теперь с возражениями выступили также представители национально настроенной молодежи, гебраисты и идишисты, считавшие русско-еврейскую журналистику анахронизмом. Отповедь этим новым оппонентам дана была в заключительном слове. Нельзя, — утверждал С. Дубнов, — игнорировать то обстоятельство, что для значительной части еврейской интеллигенции русский язык является главным, а иногда даже единственным орудием культуры. Фанатики единоплеменничества должны помнить, что на «чужих» языках писали в разные времена Маймонид, Мендельсон, Грец<sup>18</sup> и многие другие: неужели этих людей следует поставить вне еврейской литературы?

В эти дни мысль, прикованная к проблемам истории, неожиданно обратилась к одному из кумиров юности: трагическая смерть Толстого, взявшего в глубокой старости страннический посох, потрясла всю мыслящую Россию. С. Дубнов вспоминает в дневнике, что в пору отшельнической жизни в Мстиславле он едва не стал настоящим толстовцем: так близок был ему мыслитель из Ясной Поляны, проповедник «опрошения». Юное увлечение ослабело, но навсегда осталось преклонение перед человеком, который от языческого культа телесной красоты и силы перешел к иудео-христианскому морализму. Эту мысль положил С. Дубнов в основу посвященной Толстому лекции на Курсах востоковедения, а потом развил ее в статье, напечатанной в журнале «Гашилоах» («Гашилоах», 1911, XXV).

В начале 1912 года С. Дубнов возобновил работу над XIX веком, твердо решив довести ее до конца. В течение двух лет ему суждено было мысленно переживать историю бурного столетия, этап за этапом. Главы о польском и литовском еврействе систематически печатались в «Еврейской Старине». Время от времени писатель отрывался от своего труда для публицистики или доклада. В ежемесячнике «Ди идише Велт» (1912, N 1), органе реорганизованной Фолкспартей, он поместил статью, озаглавленную «После тридцатилетней войны» и подводящую итоги войне правительства с евреями. В ней проводилась мысль, что годы гнета не убили национального чувства, не привели к ассимиляции. В народе окрепла сила отпора: страдания дали импульс к борьбе за равноправие, за укрепление культурных и экономических позиций, и в то же время к созданию новых центров в Америке и в Палестине. «Думаете ли вы, — спрашивал автор, — что только герои спасают народ? Нет, также и мученики, страдающие за народ, ибо дети и внуки будут героями, ибо скрытая энергия первых превратится в открытую энергию последних». Статья заканчивалась призывом к борьбе с малодушным дезертирством из осажденного лагеря.

Лето 1912 года было последним, которое писатель проводил в Линке. Бродя лесными тропами и постукивая наконечником тяжелой палки по мшистым корням, он временами задавал себе вопрос: не пора ли начать писать часть своих работ по-древнееврейски, на языке ранней юности однако, когда старые друзья Равницкий и Бялик<sup>19</sup> приводили в своих письмах множество доводов в пользу древнееврейского языка, С. Дубнов шутя отвечал им, что не так-то легко развестись с «иноземной» женой после того, как она народила целую кучу детей. Перехода к серьезной аргументации, он повторял, что не язык, а содержание определяет культурно-национальную принадлежность писателя. Руководясь этим принципом, С. Дубнов отказался написать свою краткую биографию для «Словаря русских писателей», составленного С. Венгеровым: он считал себя не русским, а еврейским писателем.

Осенью Дубновы переехали в уютную, светлую квартиру на Петербургской стороне.<sup>20</sup> Зима и весна прошли в работе над «эпохой второй эмансипации» (1848–1881). Гуляя по тихим, заснеженным улицам, писатель обдумывал новые главы. «Меня захватывала, — вспоминает он, —

совершенная новизна темы, картина эпохи, конец которой совпадает с юностью моего поколения». Работа так разрослась, что пришлось закончить том восьмидесятыми годами. Следующий том автор намерен был посвятить периоду от 1881-го до 1905 года. С тревогой думал он о том, что этим близким к современности главам угрожает грубое вмешательство цензуры.

Работая над своей рукописью, С. Дубнов успевал читать множество газет и журналов и внимательно следить за событиями. Его волновал массовый переход еврейской учащейся молодежи в христианство. Ежегодно перед наступлением учебного года многие абитуриенты принимали крещение ради поступления в университет. Национальная группа предложила С.М. Дубнову составить проект обращения в еврейскому обществу с призывом противодействовать массовому уходу от еврейства, вызванному соображениями личной выгоды. Писатель выполнил возложенную на него миссию, но текст воззвания, представленный им Комитету, показался большинству членов слишком резким. Напечатанное и еврейской прессе (Новый Восход, 1913, N 29; Рассвет, 1913, N 29) под названием «Об уходящих», оно вызвало оживленный обмен мнений.

Незадолго до войны приехал в Петербург из Швейцарии Шолом-Алейхем. Встреча со старым другом после десятилетней разлуки взволновала С. Дубнова. «В моей памяти, — пишет он, — ярко запечатлелась картина солнечного майского дня, когда мы сидели на балконе фешенебельного отеля... Внизу колыхалось людское море, а мы вспоминали лето в Боярке 1890 г., в Лютдорфе 1891 г. Тут Шолом-Алейхем мне сказал, что пишет свою автобиографию, где упоминает также о наших встречах в литературе и в жизни. Он мне рассказывал о красоте и покое Лозанны, а я говорил, как был бы счастлив дописать свой исторический труд в этом городе... Не думалось нам тогда, что мы беседуем в последний раз, что мы как будто исповедовались друг перед другом перед вечной разлукой». Через три недели тревожные события заставили Шолом-Алейхема покинуть Россию. Спусти два года пришло известие об его смерти в Нью-Йорке.

Когда летом 1914 года С. и И. Дубновы<sup>21</sup> уехали на отдых в финляндский курорт Нодендаль, на горизонте Европы уже скопьялись грозовые тучи. 2-го августа писатель отмечает: «Германия объявила войну России в ответ на мобилизацию... Финляндия на военном положении... В нашем Нодендале паника сегодня достигла высшей точки... Я принадлежу к спокойным, выжидающим, хотя ум мутится перед ужасом предстоящей резни народов, перед самоистреблением Европы».

В духоте и давке вагона, переполненного встревоженными пассажирами, возвращались Дубновы в столицу с финского побережья. Мимо проносились воинские поезда; молодые рекруты кричали: прощайте! Им в ответ раздавалось: дай Бог счастья! Сосед по вагону, известный этнограф, заметил: «наступают времена больших событий, необходимо делать записи». Писатель и сам про себя решил, что отныне его дневник должен превратиться в политическую хронику и регистрировать не столько настроения и раздумья, сколько факты. Но отказаться от оценки этих фактов он не мог, да вероятно и не пытался...

Первая запись после приезда в Петербург гласит: «Вчерашнее экстренное заседание Государственной Думы. Гром патриотических возгласов в декларациях представителей партий и национальностей. Жалко прозвучала речь еврейского депутата, столь смиренная, что ей аплодировали правые. . . Много постыдного было в еврейской манифестации на улицах Петербурга на прошлой неделе, с коленопреклонением перед памятником Александра III. . . Не могу ни о чем думать, кроме мировой катастрофы, готовящей переворот в истории. Поражение Германии, этого паука милитаризма, опутавшего своей паутиной всю Европу, принесет избавление миру. Совокупная победа России, Франции и Англии не грозит усилением реакции в России, — напротив, атмосфера может очиститься. Но пока, пока, — „красная смерть“, бойня, гибель культуры, опустошение души».

В некоторых кругах еврейской столичной интеллигенции война вызвала взрыв патриотизма. С. Дубнов напоминал, что обязанности неотделимы от прав, что евреи, мобилизуемые наравне с остальными гражданами, должны требовать для себя равноправия и в других областях жизни. Пришла пора, утверждал он, когда необходимо заявить во всеуслышание, что евреи сражаются за будущую свободную Россию. Он развивал эти мысли на заседаниях новой организации, которая состояла из представителей различных еврейских партий и ставила себе целью защиту еврейского населения от произвола военных властей. Организация, назвавшая себя Политическим совещанием, собирала материал, касающийся преследований евреев в прифронтовой полосе. Вести из городов и местечек черты оседлости наряду с рассказами беглецов из западной Европы, создавали гнетущую атмосферу. С тяжелым чувством вписывал он последние строки в объемистую тетрадь дневника, обнимающие четыре года: «Внимая ужасам войны, закрываю эту книгу записей. . . Взволнованный стою перед могилой прошлого и загадкой близкого будущего. Какой-то великий перелом готовится в мировой истории и в истории моего народа. Буду вести дальше летопись одной жизни, сотканной с жизнью нации в прошлом и настоящем».

Вести о поражениях на фронте вызывали в тылу большую тревогу. В этой атмосфере рос антисемитизм, питаемый ядовитыми слухами, но одновременно усиливался отпор ему в кругах передовой интеллигенции. С. Дубнов отмечает в дневнике горячий протест Л. Андреева против равсовых преследований, позорящих Россию. В 1915 году возникла по инициативе М. Горького, Л. Андреева и Ф. Сологуба «Лига борьбы с антисемитизмом». На писателя произвело сильное впечатление первое многолюдное собрание Лиги, открывшееся взволнованной речью М. Горького. Боевые ноты, звучавшие во многих речах, доставили С. Дубнову большое удовлетворение. В печати, скованной железным обручем цензуры, такая смелая критика правительства была невозможна.

Внешняя обстановка с течением времени заметно ухудшалась. В стране остро ощущался недостаток припасов, дороговизна, нехватка рабочих рук. Иногда писателю казалось странным, что несмотря на все эти трудности и на жуткие вести с фронта, жизнь идет своим путем, что «. . .

еще способны заседать в Комитете исторического общества, беседовать об исторических сюжетах, о литературных предприятиях (совещание у М. Горького по поводу еврейского национального сборника), а я редактирую „Старину“».

В ноябре 1915 г. пришло из Лондона письмо от долго молчавшего Ахад-Гаама.<sup>22</sup> Несмотря на обычную сдержанность тона, чувствовалось, как он глубоко потрясен войной. «В центре мировой совести, — писал он, — я убедился, что эта совесть — призрак». Это был крик души человека с высокими моральными требованиями, ошеломленного разгулом грубых инстинктов. Статья С.М. Дубнова «De profundis»\* была откликом на это трагическое письмо. Со свойственным ему оптимизмом писатель утверждал, что после чудовишной резни должна пробудиться мировая совесть: в противном случае человечество потеряло бы смысл жизни. Но именно крепнущее ощущение бессмысленности человеческого существования было тем червем, который точил мозг Ахад-Гаама...

Как ни угнетающе действовала на С. Дубнова зависимость от цензора окончательного отказа ее от публицистики он не мог. Очерк «История еврейского солдата» (Еврейская неделя, NN 11, 14) представляет собою предсмертную исповедь многострадального ратника мировой войны, который в мирное время был жертвой антисемитской политики правительства. В печати появилась только первая глава этой публицистической поэмы; последующие подверглись запрету. Горький, на которого она произвела сильное впечатление, пытался напечатать ее в журнале «Летопись», но военный цензор был неумолим. Очень хотелось писателю издать вне пределов России очерк, в который было вложено столько гнева и соли, но ему не удалось переслать рукопись за границу.

Хотя атмосфера мировой бойни притупила впечатлительность к общественным и литературным потерям, С. Дубнов ощущал смерть каждого из своих сверстников в литературе, как тяжелый личный удар. Сильно поразило его известие о смерти Шолом-Алейхема в Америке. Через несколько дней после смерти Шолом-Алейхема получилось письмо от Фруга, прикованного к смертному одру: в конверт вложены были стихи, говорящие о прощании с жизнью. Мучительная агония затянулась на несколько месяцев. Когда пришло известие о смерти поэта, С. Дубнов посвятил его памяти главу воспоминаний в «Старине» и доклад в Историко-Этнографическом Обществе. Еще щемило сердце от этой потери, когда почта принесла грустное, проникнутое зловещим предчувствием послание от Ахада-Гаама.<sup>22</sup> Некоторые места письма звучали, как духовное завещание. Ахад-Гаам обращался к старому другу с неожиданной просьбой: «в случае моей смерти старайтесь защищать мою память от всех этих вульгарных „геспедим“ (траурных речей), словесных и письменных... Вы бы могли напечатать что, как старый близкий друг, Вы достоверно знаете, „покойный“ был противником всяких шумных проявлений чувств...». С. Дубнов не мог удержаться от слез при чтении этих строк. Он записал в этот день в дневнике «Этот день пере-

---

\*«Из бездны» (лат.)

чи, совместная радость или горе, образуют ткань жизни. Сначала ткань становится все гуще, вплетаются все новые и новые нити, затем смерть начинает выдергивать из ткани по ниточке, то одного унесет, то другого. Чувствуешь постепенное разрушение ткани, рвутся нити в твоей душе. Умирает твой круг, твоё поколение. . . ».

1917-ый год начался в атмосфере смятения и тревоги. Почти на пороге этого года в метельную ночь убит был в одном из петербургских дворцов Распутин, злой гений династии, и многие восприняли эту смерть как предвестье конца монархии. Жизнь с каждым днем становилась труднее. Петербург голодал; по ночам выстраивались перед пекарнями длинные очереди женщин, и глухой ропот то и дело пробегал по рядам, как злой невский ветер. Запись в дневнике, сделанная почти накануне мартовской революции, гласит: «Сегодня в городе громили хлебные лавки, требовали хлеба; заводы бастовали. . . В былые годы в эти часы — „сеуда“ пуримская, беседы, теперь могильная тишина, безлюдье. Все слова сказаны, „morituri“\* тупо молчат. . . Мы в царстве смерти людей, эпох, культур».

Подобно огромному большинству представителей оппозиционной интеллигенции, писатель, в течение ряда десятилетий призывавший революцию, был ошеломлен, очутившись лицом к лицу с взбаламученной стихией. Одна из записей в дневнике: «Что-то странное в этой революции: как в погоде нынешней — весеннее солнце и суровый зимний холод. Есть свет, но нет тепла. Оттого ли, что на фронтах назревают страшные события, оттого ли, что в толще армии и в крестьянстве могут скоро переплестись в кровавый узел революция и контрреволюция, но на душе неспокойно. Все, казалось бы, хорошо: равноправие свалилось, как снег на голову; то, за что мы боролись десятки лет, как будто достигнуто, и гнусное полицейское государство низвергнуто. . . Вчера вечером, в заседании. . . мы друг друга поздравляли. . . постановили послать приветствие Временному правительству и Совету рабочих депутатов, но пафоса не было. . . Кошмар войны давит на революцию».

Необычно прошел в этом году канун Пасхи, который С. Дубнов привык проводить в кругу друзей. «В восьмом часу вечера, — пишет он, — я вошел в свою библиотечную: через окно смотрела мне в глаза полная пасхальная луна; я запел сквозь слезы грустные синагогальные мелодии, вспомнилось былое. . . Вот свершились заветные грезы, но мне ведь скоро 57 лет, а кругом идет крушение миров среди великого катаклизма. . . после потопа начнется переустройство жизни с фундамента, . . а силы убывают, и нужно еще закончить труд жизни,<sup>23</sup> исполнить обет».

Особенную остроту приобрел в эту переломную пору постоянно мучивший писателя вопрос о совмещении общественной и научной работы. Об этом говорит запись в начале августа: «Решаю вопрос: что мне делать с остатком моей жизни: отдать ли его в жертву политической стихии. . . потонуть в новой общественной волне или же „уйти от мира“. . . В первом случае я должен . . . войти в водоворот политической деятельности,

---

\*Ижущие на смерть (лат.) — из обращения римских гладиаторов к императору перед боем.

выступать на собраниях, организовать Фолкспартей, пойти в еврейский съезд, поставить свою кандидатуру в Учредительное собрание и кипеть в этом всероссийском котле ряд лет... Это значит изменить план своей жизни... , оставить все здание недостроенным. Но если решиться на это самопожертвование, то нужна жертва иного рода: порвать со всеми окружающими... и замкнуться среди бури, ткать нить истории от IV века до наших дней... На этом пути сохрани я цельность души».

Принятые в уединении решения, как это уже не раз бывало, при столкновении с действительностью оказались эфемерными. Трудно было запеленуться в кабинете, когда под столицей стояли корниловские войска — первая регулярная армия контрреволюции. После того, как эта угроза была ликвидирована и осадное положение снято, писатель очутился в кругу единомышленников, с нетерпением ожидавших его возвращения. Комитет Фолкспартей, называвший себя теперь Идише Фолкспартей, настаивал на том, что главный идеолог организации должен в переломный момент принять на себя руководство. С. Дубнов пишет в начале октября: «Из глубины веков я опять вышел... на поле сражения... Война везде: на фронтах, война между Балтийским флотом и Временным правительством, бунты и погромы во многих местах России. Настоящая война идет в Демократическом Совещании, где столкнулись раздробленные партии русской демократии. Улицу завоевали большевики...» В этой обстановке лихорадочная работа еврейских общественных организаций временами казалась детской суетней возле кратера вулкана. «Вчера окончательно отказался выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание, — сообщает писатель, — смотрю на эту избирательную пляску и думаю: дети, разве не видите, что дом горит?»

В октябре открылся Временный Совет Российской республики — суррогат парламента, собирающийся вскоре передать свои функции Учредительному собранию. С. Дубнов скептически оценивал деятельность этого учреждения: «шаблонные патриотические речи о борьбе с врагом, когда сами ораторы не верят в возможность этого»...

В темную осеннюю ночь, когда он дописывал главу об эпохе раннего Талмуда, тишину разорвали залпы крейсера «Аврора», обстреливавшего Зимний Дворец...

С. Дубнов принадлежал к категории утопистов: это было предопределено всей его жизненной философией. Он был ошеломлен, когда революция, о которой он мечтал с ранней юности, декламируя пламенные тирады Виктора Гюго, оказалась вблизи несравненно более жуткой, чем виделась через призму истории. Эффектные выступления жирондистов могли заслонить перед потомством жестокую реальность сентябрьских убийств; от действительности, воплотившейся в уличные расправы и голодный хлебный паек, отвернуться было труднее. Крылатая формула поэта «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», подхваченная улицей, представлялась рационалисту, ученику Конта и Милля, апофеозом того стихийного разрушительного начала, в котором он видел величайшую опасность для человечества. Читая об ужасах войны, писатель утешал себя мыслью, что в конце концов восторжествует разум; революционный

период, предшествующий Октябрю, он оценивал как неизбежную борьбу между духом порядка и хаосом. Но когда петербургский гарнизон, восьмью месяцами раньше низложивший самодержавие, низложил Временное правительство, почва поколебалась у него под ногами. Не страх за себя диктовал строки дневника, проникнутые горечью: писателю, жившему своим трудом, не грозила в обстановке социальной революции потеря материальной основы существования. его пугало иное — утрата веры в спасительность революционного переворота.

Как всегда в трудные минуты жизни, устойчивость и силу давала работа. «Писал сегодня, — говорится в дневнике через три дня после октябрьского переворота, — о древнем школьном обучении. Я перестал удивляться этой способности работать на вулкане: ведь едят же, пьют и спят на поле битвы. Когда духовная пища стала такой же ежедневной потребностью, как физическая, то принимаешь ее и на вулкане. . . А для меня историческая работа — и пища, и воздух, без которого задыхаюсь. Никакой заслуги тут нет, а просто акт самосохранения души». И спустя несколько дней: «В Петербурге голод. . . Москва уже залита кровью. Разгромлены Кремль и центр города. Казаки с Калединым завладели югом и идут к Москве. . . Спасая каждый день пару часов для работы; погрузился в литературу Агады и Мидраша, которая согревает душу».

Наступило время выборов в Учредительное Собрание. С.М. Дубнов голосовал за конституционных демократов. Он не всегда одобрял тактику этой партии, но считал ее надклассовой, а ее деятелей — людьми европейской складки. Как-то в беседе с Винавером он сравнил их с жироидистами; теперь эта характеристика могла бы показаться зловещим пророчеством. . .

Разгон Учредительного Собрания в январе 1918 г. был для С. Дубнова тяжелым ударом: всероссийский парламент казался ему единственным выходом из политического тупика. Им овладело ощущение безнадежности. Воодушевлявший недавно проект еврейского съезда — первый шаг к осуществлению идеи культурно-национальной автономии — стал казаться иллюзорным, бессмысленным. Писатель дал волю пессимизму в публичном реферате на тему «Современное положение и еврейский съезд». В качестве главного оппонента выступил на этом собрании помощник комиссара по еврейским делам,<sup>24</sup> заявивший, что в юные годы он считал докладчика своим «духовным отцом», но после десятилетнего политического стажа в тюрьме пришел к убеждению, что место евреев — в рядах наиболее непримиримых борцов за революцию.

События на фронте принимали трагический оборот. Немцы приближались к столице. С болью ощущал писатель развал России, отпадение окраин. «Это вивисекция и моего народа, — писал он, — шестимиллионный еврейский народ разрезан на шесть кусков».

В начале 1918 г. Совет народных комиссаров переехал в Москву, и прежняя столица превратилась в Северную Коммуну управляемую Зиновьевым. Подвоз продуктов с каждым днем становился все более скудным. Хлебный паек распределялся по категориям; С. Дубнов первоначально был причислен к категории людей, которым полагалась восьмушка хле-



ба в день. Голод гнал жителей Северной Коммуны на юг и на запад, в хлебобродные губернии; друзья уговаривали Дубновых покинуть обреченный город, но писатель не хотел об этом слышать: он прикован был к письменному столу. В марте он закончил третий том Всеобщей истории, над которым работал полтора года. «Условия работы небывалые — констатирует он в дневнике: война плюс революция плюс диктатура... в последнее время писал запоем...». Не раз подумывал он о том чтобы приняться за перевод своего крупнейшего труда на древнееврейский язык; но такая работа потребовала бы нескольких лет жизни.

В апреле на собрании Национального совета — органа, исполнявшего функции съезда, несостоявшегося из-за гражданской войны, С. Дубнов произнес горячую речь. Он порицал политическую распыленность еврейства, помешавшую во время сорганизовать съезд, указывал на то, что другие народности, даже отсталые, опередили евреев, создав свои органы самоуправления. Национальный совет оказался мертворожденным учреждением. Вскоре после его возникновения писатель отмечает в дневнике: «Вчера в заседании... Мелко, вяло, малолюдно; страсти разгораются только при партийных пререканиях. У всех руки опустились».

Неожиданным просветом в обстановке безнадежности было возобновление «Еврейской Старины» после продолжительного перерыва. Предстояло издать большой годовой сборник. На письменном столе снова появилась груда рукописей. Когда глаза уставали, С. Дубнов уходил в недалекий городской сад. Ежедневно в пустынных аллеях можно было встретить худощавого седого человека в мешковатом полинялом пиджаке, из кармана которого выглядывал томик Гюго. В горькие, одинокие минуты возникало желание покинуть Россию. Одна из типичных записей: «... Пошел в Ботанический сад. Сел на скамью, смотрел на опавшие листья... Думал: среди голода, холода... террора уже доживу кое-как, лишь бы не порвалась связь с прошлым, цельность души. Но если в мою обитель ворвутся и отнимут плод многолетнего труда — манускрипт „Истории“, заберут мои дневники за 33 года — они отнимут часть моей души, разрушат и смысл жизни, и цельность жизни. Возвращался по липовой аллее на берегу Невы и думал: уйти или остаться?».

Писателя мучило сознание, что некому оставить духовное завещание. «Нет пользы, — говорится в дневнике, — поручать другим достраивать недостроенное здание, план которого я унесу с собой в могилу».

1919-й год свергнул Россию в стихию жестокой гражданской войны. на всем пространстве страны шли непрерывные бои. Юденич стоял у подступов к северной столице. Слабый подвоз припасов и топлива обрекал население столицы на пещерный быт. Вот типичная запись в дневнике: «Писал окоченевшими пальцами о доминиканцах и французской инквизиции XIII века. В 10 часов закусил, просмотрел газету и пошел в дровяной отдел районного Совета за ордером на дрова». Сильно увеличившиеся расходы — цены на вольном рынке росли со дня на день — истощили небольшие сбережения писателя. О. Дубнов принял предложение Комиссариата просвещения редактировать библиографический указатель русско-еврейской литературы. Энергичный помощник Луначар-

ского Гринберг добился ассигновки крупной суммы для поддержки Исторического общества. По его инициативе создан был также Еврейский народный университет, в котором читались лекции на русском и еврейском языках. Когда при Комиссариате просвещения возник ряд исследовательских комиссий, писатель принял участие в редактировании сборника «Материалы для истории антиеврейских погромов», а потом вошел в комиссию по ритуальным процессам.

В часы одиночества писатель наново передумывал проблемы, волновавшие с давних пор, и пытался подвести итоги. «Часто думаю, — писал он летом 1919 г., — о своем отношении к палестинскому вопросу и сионизму в течение десятков лет. Недавно объяснил в сионистской „Хронике“, что считаю долгом националистов уплатить „шекел гагеула“ (взнос для выкупа палестинской земли) при условии участия их в общевеиерском, а не в партийном конгрессе по делу возрождения Палестины. Именно теперь выяснится, что Эрец-Исраэль может быть приютом, как в эпоху древней Иудеи, лишь для части нации, и то после неимоверных трудов в течение десятилетий, диаспора же останется со всей грозностью своих проблем». В приписке на древнееврейском языке автор дневника высказывает желание посетить Палестину по окончании большого труда, но с грустью добавляет, что, по всей вероятности, ему суждено будет закончить дни свои в пустыне и перед смертью услышать: «ты не войдешь в обетованную землю»...

Внешние условия жизни в 1920 г. изменились к лучшему. Возникшая по инициативе М. Горького Комиссия для улучшения быта ученых явилась настоящим спасением для целого ряда научных работников. С. Дубнов был зачислен в категорию лиц, которым полагался «академический паек» — дополнительное количество муки, жиров, сахара. 8-го февраля в дневнике появляется запись: «На этой неделе... мы впервые ели хлеба вдоволь... Заносу в дневник это событие после слишком двухлетнего недоедания».

Он вел теперь дневник систематически, почти день за днем, давая волю горечи, не находившей другого исхода. Иногда попадались в записях и лирические нотки, внушенные случайной встречей или утратой близкого человека. Всякое соприкосновение с прошлым рождало мучительную, шемящую грусть. Рой воспоминаний вызвало известие о смерти многолетнего соратника С. Ан-ского;

По мере того, как многоотомная «История» приближалась к концу, автора все больше тревожила мысль об ее дальнейшей судьбе. Печатать огромный труд в обстановке всеобщей разрухи представлялось невысказанным. В газетах, приходивших из-за границы, появлялись известия об оживлении издательской деятельности в Берлине. Некоторые издательства пытались завязать сношения с С. Дубновым, но он отказывался вести переговоры, считая, что нельзя печатать большой труд в отсутствие автора. Становилось очевидным, что для осуществления главной жизненной задачи надо переселиться в Западную Европу. Шагая по сумрачным улицам опустевшего города, писатель строил планы: закончить свой труд, издать его в Берлине, а потом отправиться на несколько ме-

сяцев в Палестину. Мечты упирались в тупик: получение выездной визы представлялось проблематичным. Вскоре, однако, план эмиграции принял конкретную форму: Еврейский Национальный Совет в Ковне возбудил через литовского посла ходатайство о том, чтобы С. Дубнову дано было разрешение переехать в Литву для чтения лекций в ковенском университете.

В дни кронштадтского восстания автор «Истории» дописывал под звуки грозной канонады последние главы. Политическая обстановка мучительно его угнетала; желание уехать становилось все настоятельнее. Между тем ходатайство литовского посольства оставалось без ответа, и у С. Дубнова возникла мысль послать через Горького письмо Ленину. Оно должно было содержать следующую аргументацию: так как в Советской России теория исторического материализма возведена в государственную догму, то ученым, этой догмы не признающим, должна быть предоставлена возможность уехать в другую страну. Письмо, однако, не было отправлено: друзья советовали писателю вооружиться терпением и ждать официального ответа.

Предстоял сорокалетний юбилей литературной деятельности С. Дубнова. Обычно избегавший чествований, она на этот раз охотно принял предложение встретиться с друзьями, читателями и слушателями, сознавая, что эта встреча может стать последней. На многочисленные приветствия писатель ответил большой речью. «Я говорил, — пишет он, — о моей радости видеть опять в собрании тех, которые некогда так часто сходились для рефератов, прений и поздних ночных заседаний, а в последние годы разведены, разбросаны... Упомянул о дне 15 апреля 1881 г., о моей первой бунтарской статье, где я пытался представить еврейскую историю с точки зрения Элиши Ахера,<sup>25</sup> о том, как я с того момента всматривался в сложный процесс еврейской истории, раньше сквозь чужие очки, а потом собственными глазами... и лишь теперь завершил главный труд, но уже при разрушенном книгопечатании... Говорил о поколении 40-летнего периода, „поколении пустыни“, но с Синаем и великими национально-культурными достижениями, о старейшем интернационале еврейском, который спасет нас после всемирного потопа.

Говорил горячо, но ясно и четко, в напряженной тишине зала, где порой слышались глубокие вздохи... Разошлись к полуночи, взволнованные, но как будто обновленные встречей, беседой о пережитом, гордым вызовом... для всех ясным...»

Юбилей был подведением итогов сорокалетней деятельности. Большую радость доставили писателю приходившие с разных концов приветствия: незнакомые люди писали о том, как они следили за статьями в «Восходе», как учились на трудах С. Дубнова; многие заявляли, что считают себя и поныне его учениками. Те же нотки звучали в речах на многолюдном банкете, состоявшемся в начале мая: ораторы отмечали влияние «Писем о старом и новом еврействе» на их мировоззрение. Один из слушателей, подчеркнувший, что является убежденным коммунистом, заявил, что и он сам, и многие его единомышленники признают идею культурной автономии. С глубоким волнением отвечал юбиляр на эти

речи. «Я говорил, — пишет он, — о трещине еврейского мира, проходящей через сердце нашего поколения, о муках перемещения исторических центров диаспоры. . . Грустью был насыщен воздух, печалью разлуки, распада петербургского центра. У меня душа болела, хотелось отойти в сторону и плакать на могиле былого».

Несмотря на неопределенность положения, писатель деятельно готовился к отъезду. Он занят был приведением в порядок своего обширного архива, когда получилось прощальное письмо от Бялика, уезжавшего в Палестину с группой одесских писателей.

Вопрос о судьбе книг и архива очень волновал их обладателя. Ему тяжело было решиться на частичную ликвидацию библиотеки, которую он с такой любовью собирал в течение многих лет. Тени четырех десятилетий жизни вставали перед писателем, когда он составлял каталог. Нелегко было расстаться и с письмами. Тревожило еще одно обстоятельство: если бы вывозимые за границу рукописи подверглись пересмотру, в руках цензора оказались бы дневники за последние годы. Часть своего архива и библиотеки С. Дубнов постановил передать в распоряжение Еврейского Национального Совета в Литве, как основу будущего книгохранилища, и отправил в литовское посольство; с собой он решил взять только то, что необходимо для научной работы или особенно ценно по личным воспоминаниям.

Расставание с родиной длилось несколько месяцев. В августе 1921 г. С. Дубнов прощался с Историко-Этнографическим Обществом; он сложил с себя обязанности председателя и передал комитету редакционный портфель «Старины». Бездействие, связанное с ожиданием визы, сильно его тяготило. Осенью 1921 г. издательский кооператив «Кадима» выразил готовность издать в форме брошюры несколько последних глав «Истории». Главы, прошедшие через гражданскую и военную цензуру, появились в печати без изменений. Брошюра, носившая название «Евреи в царствование Николая Второго», издана была крайне убого; но автора смущала не столько плохая серая бумага, сколько новая орфография.

В конце февраля ковенский университет официально утвердил С. Дубнова профессором еврейской истории; это известие усилило нетерпение писателя. Спустя несколько недель пришло долгожданное разрешение на отъезд. Теперь эмигранта тревожила только забота о неприкосновенности архива, но и тут обстоятельства сложились благоприятно. Осмотр багажа происходил на дому; командированный властями чиновник, студент историко-филологического факультета, проникся уважением к хозяйину квартиры, увидя десять толстейших папок — оригинал «Истории». Под этими пачками лежал пласт старинных документов, а на самое дно чемодана запрятаны были крамольные дневники. Заинтересовавшись монументальным трудом и его автором, молодой цензор завел беседу на исторические темы, а потом, подозревая таможенного чиновника, распорядился наложить печати на чемодан с рукописями. Писатель облегченно вздохнул.

Оставалось проститься с немногими близкими и с городом, в котором было так много пережито. Трогательно было последнее свидание со слу-

шателями. В течение всей зимы 1922 г. С. Дубнов читал лекции у себя на дому; с разных концов города сходились к нему ученики, с трудом пробираясь через снежные сугробы, скользя по обледенелым ухабам. Кабинет, недавно превращенный в кухню, становился в эти часы аудиторией, в которой читался курс новейшей истории. Прощальная лекция была посвящена перспективам новых центров еврейства, возникших в Польше и прибалтийских государствах.

Предотъездные заметки в дневнике большей частью торопливы и лаконичны; их автор уже чувствует себя в пути. Последняя запись, сделанная 22 апреля, гласит: «Ясный день, кабинет залит солнцем, а былой мягкой грусти разлуки нет в душе. . . Вчера. . . видел памятные места: бывшее помещение „Восхода“ на площади Большого театра, ветхий дом у Троицкой церкви — приют 1884 года. . .<sup>26</sup> Если это — моя последняя запись в Петербурге, я хотел бы сердечно проститься с этим „городом холода, мглы и тоски“, куда я прибыл почти 42 года назад. Тогда было „много дум в голове, много в сердце огня“, теперь и того, и другого тоже много, но иного свойства: думы зари сменились думами заката, огонь юности — догорающим огнем старости с отблеском холодной вечности. Закат часто бывает красивей утренней зари. Суждено ли мне иметь такой закат после бурного дня? Оправлюсь ли после ударов последних лет настолько, чтобы на закате довести до конца труд, начатый на заре?»?

На следующий день, 23-го апреля 1922 г., Семен и Ида Дубновы покинули Россию.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Осенью 1906 г. Дубновы поселились на Малой Подъяческой ул., N 1. В конце 1882 — начале 1888 гг. они жили неподалеку, на Средней Подъяческой, N 16.

2. Ландау Адольф Ефимович (1842–1902) — публицист, издатель. С 1881–1899 гг. редактор-издатель еврейского журнала на русском языке «Восход», с которым было связано начало деятельности Дубнова как историка и общественного деятеля.

3. Фруг Семен Григорьевич (1860–1916) — еврейский поэт. Писал на русском и идише. Дубнова связывала с Фругом многолетняя дружба, в 1883–1884 гг. они были соседями по д. N 3 на Троицкой пл. Не имея права на жительство, они оба получили в 1882 г. временную прописку у писателя М.С. Варшавского в качестве домашних слуг — Фруг «первого домашнего слуги», Дубнов — «второго домашнего слуги» См.: Бейзер М. Еврей в Петербурге. Иерусалим. — Библиотека-Алия. — С. 270.

4. Лесгафт Петр Францевич (1837–1909) — русский педагог, врач, психолог. Вольную высшую школу организовал в 1905 г. С. Дубнов заведовал кафедрой еврейской истории в октябре-декабре 1906 г. В 1907 г. Вольная высшая школа была закрыта.

5. Кодекс Хаммурапи (Гамураби) — юридический свод законов вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). Найден французской археологической экспедицией в 1901 г. в Сузах.

6. Речь идет об авторе этой публикации Софии Семеновне Дубновой-Эрлих (1885–1986).

7. Имеются в виду семейные литературные чтения, о которых С.С. Дубнова-Эрлих подробно пишет в воспоминаниях «Хлеб и Маца» (С.—Петербург — Максима — 1995).

8. Имение в Линке принадлежало Якову Рафаиловичу Эмануилу и Розе Борисовне Эмануил (Дубновой), двоюродной сестре С.М. Дубнова. В свой первый приезд в Петербург в 1880 г. Дубнов жил в их городской квартире и в дальнейшем часто пользовался гостеприимством семьи Эмануилов. У них же жила в годы учебы на Бестужевских курсах С.С. Дубнова-Эрлих.

9. «Боже всемиростивный...» — первые слова традиционной еврейской заупокойной молитвы.

10. Еврейское литературное общество было легализовано в 1908 г. и зарегистрировано на имя Л.В. Нисселовича, С.М. Гинзбурга и С.Л. Ваменецкого. Председатель С.М. Дубнов. Общество вело широкую просветительскую работу, издавало книги, журналы, литературные сборники на иврите, идише и русском языке. Закрыто в 1911 г. по правительственному циркуляру в ряду других культурных объединений «инородцев».

11. Винавер Максим Моисеевич (1862–1926) — адвокат, писатель, политический и общественный деятель, один из основателей партии кадетов. Винавер — одна из центральных фигур в общественной жизни евреев в Петербурге 1900-х годов. Еврейское историко-этнографическое общество было организовано в 1908 г. Председатель М.М. Винавер, товарищ председателя С.М. Дубнов.

12. «Еврейская старина» — научно-исторический журнал Еврейского историко-этнографического общества. С.М. Дубнов был его редактором с 1909–1922 гг.

«Еврейский мир» — еженесячный литературно-публицистический журнал (1910–1911). С 1911 г. еженедельная газета.

13. Еврейская народная партия (Фолкспартей) основана С.М. Дубновым в 1906 г. Партия отстаивала национально-культурную автономию. Прекратила свое существование в 1917 г.

14. Ан-ский Семен Акимович, наст. фам. Раппопорт (1863–1920) — писатель, общественный деятель, собиратель еврейского фольклора. Самое известное произведение Ан-ского — пьеса «Галибук», получившая театральное воплощение в спектакле Е.Б. Вахтангова на сцене московского еврейского театра «Габима» (преьера 21 января 1922 г.).

15. Абрамович С. (по паспорту, наст. имя и фам. Шолом Яков Бройде, псевд. Менделе Мойхер-Сфорим) (1836–1917) — основоположник новой еврейской литературы. С.М. Дубнов познакомился с ним в 1890 г. и был дружен всю жизнь.

Перец Ицхок Лейбуш (1851–1915) — еврейский писатель. Жил в Польше, в Петербурге бывал наездами. По-видимому, журнал привлекал его протестом против социального угнетения евреев.

16. Речь идет о цикле статей С.М. Дубнова «Письма о старом и новом еврействе», опубликованных в журнале «Восход» с 1897–1902 гг. В них отвергался политический сионизм и была выдвинута теория автономизма.

17. Дед С.М. Дубнова, Бенцион второй, читал высший курс Талмуда в большой мстиславской синагоге. «Мое детство, — вспоминал С.М. Дубнов, — прошло под сенью этого могучего духа и оставило во мне глубокие следы, даже после того, как наши пути далеко разошлись» (Дубнов С. Книга Жизни. «Воспоминания и размышления» Т. 1, Рига — 1934 — С. 14).

18. Маймонид Моисей (1135–1204) — еврейский философ. Писал на еврейском и арабском языках.

Мендельсон Моисей (1729–1786) — еврейско-немецкий философ и просветитель. Писал на немецком языке.

Грец Генрих (1817–1891) — историк. Жил в Германии и писал на немецком языке.

19. Равницкий Иошуа-Хона (1859–1944) — еврейский издатель, критик, журналист. Под его влиянием С.М. Дубнов вернулся к ивриту.

Бялик Хаим-Нахман (1873–1934) — еврейский поэт, прозаик, публицист. Писал главным образом на иврите.

20. Дубновы переехали на Большую Монетную, N 21.

21. Речь идет об Иде Ефимовне Дубновой (Фрейдлиной), жене С.М. Дубнова.

22. Ахад-Гаам, псевд., наст. фам. Гинцберг Ашер Гирш (1856–1927) — еврейский писатель, философ, противник политического сионизма и лидер «духовного сионизма». Близкий друг С.М. Дубнова.

23. Речь идет о «Всемирной истории еврейского народа» С.М. Дубнова.

24. По-видимому, речь идет о Гринберге Зорохе (Зорахе) (1889–1949).

25. С.М. Дубнов так описывал это событие в «Книге Жизни»: «В середине апреля 1881 г. из дома, где находилась редакция „Русского еврея“, вышел молодой человек

со свежим номером этого еженедельника в руках. Здесь напечатана была первая глава его первой большой статьи „Несколько моментов из истории развития еврейской мысли“... Начинающему писателю казалось, что он призван возвестить русскому еврейству новое слово, евангелие свободомыслия». /Цит. по кн.: Дубнова-Эрлих София. Жизнь и творчество С.М. Дубнова. — Нью-Йорк — 1950 — С. 45.

Элиши бен Абуи и Ахер — имена еврейских мудрецов периода создания Мишны. Часто их отождествляли, объединяя в одно имя, и приписывали одни и те же изречения еретического характера.

26. «На площади Большого театра...» — на Театральной пл. Редакция журнала «Восход» помещалась в доме N 2.

«Ветхий дом у Троицкой церкви...» — дом на углу Измайловского пр. и площади у Троицкого собора, где в двух меблированных комнатах С.М. Дубнов жил с осени 1883 г.

**ОНИ И МЫ**

Когда нитриты и нитраты  
Явили свой коварный нрав,  
Мы содрогнулись от утраты  
Лесов, листов, плодов и трав.

Неужто в свекле этой милой  
Сидит невидимый злодей  
И воплотилась с дикой силой  
Вражда растений и людей?

И в рыжих бревнышках моркови  
Должны мы видеть вражью рать,  
И огурец лишить любви,  
И кабачок подзревать?

Теперь, теперь, когда редиска  
Страшнее дьявола с хвостом,  
Склонитесь, люди, низко-низко  
Перед картофельным кустом.

Шепчите зелени на ушко  
Все покаянные слова,  
«Прости, — скажите, — нас, петрушка,  
Мы виноваты, ты права».

Тогда б надеждою зажглась я,  
Что этот порченный кавун —  
Залог грядущего согласия  
И века нового канун.



## ТЕПЛО

О, как мы крепко любим паука!  
 Мне хочется сказать ему: «Лехаим!»,  
 Когда его, подмокшего слегка,  
 Мы по утрам из ванной извлекаем.

Коровкам божьим тоже дан приют,  
 Чтоб не достала будущая вьюга:  
 Кому приюта только не дают  
 Те, у кого самих с приютом туго.

И утренние зайчики в окно  
 Запрыгнули и рады, что попали  
 В наш скромный дом, где утвари полно  
 И разной твари больше, чем по паре.

Жить! Только б жить!  
 Квартиру получу,  
 Но ничему уж так не буду рада,  
 Как редкому залетному лучу  
 В окаменевшем сердце Ленинграда.

1989

## ПРИХОТЬ

Рожали нас — не спрашивали нас...

*Л. Агеев*

За что-то нам дана такая власть:  
 Безжалостно сюда мы вызываем  
 Тех, кто не мог ни вскрикнуть, ни упасть  
 И для страданий был недосыгаем.

Безмолвие, незыблемый покой,  
 Столетия порхают, как стрекозки.  
 Но вздрагивает кто-нибудь порой,  
 Далекой жизни слыша отголоски.

Незнание забвения милей.  
 Как разминуться с хищною судьбою?  
 А я; в угоду прихоти своей,  
 Дитя игрушкой сделала живую.

Собаку с кошкой — с улицы взяла,  
Своей вины не вижу перед ними.  
Но как я сына не уберегла  
И обрекла носить людское имя!

И как его посмела вызвать я,  
Окутав мозгом, телом, сердцем, кожей,  
Из безопасного небытия  
На этот свет кровавый белый божий!

1989

### ЗА И ПРОТИВ

А там зарежут террористы,  
А здесь не примут в институт,  
А здесь узоры серебристы  
На зимних окнах расцветут.

А там — экзотика, верблюды,  
Разнообразие вкусных блюд.  
А здесь, а здесь — не слать посуды,  
А здесь на улицах блюют.

А вдруг свобода только мнится?  
А там религия в чести.  
А здесь повсюду коммунисты  
И все дороги каменисты,  
И все исчерпаны пути.

Вражда в таинственных арабах,  
Чужих письмен чудная нить...  
Теряюсь я в попытках слабых  
И избежать, и сохранить.

Найти такую бы планету:  
Родной гранит, родной туман,  
Но ни Советской власти нету,  
Ни агрессивных мусульман.

Там беспросветною угрозой  
Не нарушается уют,  
И под развесистой березой  
Пасется ласковый верблюд.

1989

\* \* \*

Не могу я уехать из этой страны.  
Не могу, не могу, не могу.  
И смотрю сквозь туман, и строений видны  
Очертанья на том берегу.

Вот уж мост наведен и налажен паром,  
И приморские ветры свистят:  
«Если кто не желает убраться добром,  
Тот получит коленом под зад!»

Как спокойно ушел несгибаемый Лот!  
Так, наверно, и мы не должны  
Сомневаться и в море забрасывать лот,  
И разгадывать шепот волны.

Если долго смотреть — не в пример остальным,  
Как морская вздымается грудь,  
То застынешь навеки столпом соляным —  
Ни туда, ни сюда не шагнуть.

1990

### МУДРЕЦ И СУЕТА

Ушла бы я, как некий инок,  
За дальний горный перевал,  
Чтоб надвигающийся рынок  
Меня никак не задевал.

Я повернулась бы спиною  
Ко всем превратностям земли.  
За монастырскою стеною  
Они достать бы не могли.

И тишина, природа, четки  
Забыть помогут кавардак,  
Где скачут взмыленные тетки,  
Зажав талончики в кулак.

Но где ж теперь найдешь такое —  
Тот монастырь, пещеру, скит,  
Где бы оставили в покое  
И радиация, и СПИД?

Где отыскать такую точку?  
Среди каких укрыться стен? —  
Хотя б какую-нибудь бочку,  
В которой жить как Диоген?

Чтобы в один прекрасный вечер,  
Прибыв ко мне на край земли,  
И Горбачев, и Буш, и Тэтчер  
К замшелой бочке подошли.

«Что хочешь ты, Эзрохи Зоя?  
Любую выбери страну!»  
А я в ответ: «Хочу покоя.  
Не заслоняйте мне Луну.»

1991

---

---

Евгений Кушнер

## ПРОШЛОЕ БУДЕТ ЗА НАМИ!

Звезды не падают, — звезды блуждают...

*Шолом-Алейхем*

Его преследовала мысль о времени

*Курт Воннегут*

### 1

Прохладным субботним вечером, когда город уже начал переводить тяжелое дыхание после суматошной недели, а липкие листья придорожных тополей покрылись мутным загаром — смесью копоти, пыли и выхлопных газов, Борис Дуплов удобно расположился в верхнем зале летнего кафе на углу Н-ой и С-ой улиц. Он сидел, вытянув под столом ноги, покуривая папиросу, в ожидании друзей, постоянно собирающихся в этом месте. Окна были чуть приоткрыты, и успевший немного остыть, пахнувший пирожными летний воздух (неподалеку находилась кондитерская фабрика) прикоснулся к щекам ватным веером и отклонял в сторону дым папиросы, как-то странно при этом его вытягивая, превращая в расплывчатую синюю нить. Полупустая чашка кофе, неназойливый джаз, доносящийся из-за стойки, приглушенные разговоры соседей, стакан «Вермута», — было в этом что-то невыразимо приятное... вернее, адекватное той сладковатой истоме, которая охватывала Дуплова к концу дня (он работал грузчиком на складе и за отгулы иногда выходил по субботам). И не то, чтоб усталость была столь сильна (из восьми он работал два, ну максимум, три часа), а просто захотелось хорошенько оттянуться, запрокинув голову.

Борис Дуплов был одним из завсегдатаев кафе. Знал официантов, бармена — лысеющего мужчину с крупным, размазанным по лицу носом, так и не сумевшего понять абсолютную несовместимость выцветших джинсов и черной бабочки, — многих посетителей.

Борис Дуплов был смуглым брюнетом лет тридцати. Некий переходный возраст. Конечно, он бы уже понять, что респектабельная, основательная семейная жизнь тоже имеет свои преимущества; хотя холостяцкий хлыст

все еще лупит по загорелым плечам, подбивая на новые победы и поражения. Провал на вступительных экзаменах в универ, и — армия. Ну, а после нее учиться было уж как-то лень, вот и подался в грузчики. И платят нельзя сказать, чтобы мало. Во всяком случае, если Борис и поддаст (что случается, правда, не так часто), то непременно коньяк, шампанское или, на худой конец, венгерский вермут. В общем, жить можно. И даже неплохо жить. С детства он привык, что все говорили ему: «Ну, Боря, ты — молодец. У тебя все впереди...»

— Это точно, все впереди, — соглашался он. А теперь? Вот уж четвертый десяток на носу, и что ж, до сих пор все впереди? Сомнительно. Он даже не обзавелся женой, хотя, понятно, мог это сделать не раз. Не имеет настоящей работы (ну, что это — грузчик?!..), в висках уже проглядывают первые седые предвестники (недавно усек, когда гляделся в зеркало после бани), короче, жизнь, будто вода, просачивается сквозь пальцы, а он не успевает пусть хоть на миг задержать, рассмотреть ее, но тем не менее, верит: все еще впереди.

Да, детство... Мать всегда подозревала, что отец не любит ее. И женился только из жалости (она прихрамывала на левую ногу). Ей казалось, он изменяет с какой-то молоденькой не то ткачихой, не то врачихой... А виной всему послужила злосчастная коробка конфет, обнаруженная под кроватью. Долгие месяцы за завтраком и обедом не произносилось ни слова. И Борис понимал. Тогда уже все понимал. Последний разговор — на даче. Он лежал в другой комнате, с головой укрывшись одеялом — не хотел ничего слушать. Но все равно слышал. И запомнил до единого слова. Астма тисками сдавила горло, был приступ (слава Богу, теперь он почти излечился). Комары жужжали тихо. Единственный раз, когда они жужжали тихо. Да. И еще он запомнил — боль. Эту непередаваемую всепоглощающую душевную боль. Может, отзвук ее на всю жизнь сохранился в ушах... А отец, между тем, безжалостно отчеканивал роковые слова. Все оказалось правдой. И странно — мать так и не смогла пережить. Заболела вскоре. А через год и отец. И умерли почти в один день. Отец чуть пораньше... Вот так они и сидели. Мать всегда справа. Отец ел яичницу или суп, затем, ни слова не говоря, вставал и уходил. Тогда они оставались вдвоем, и смотрели в окно. Долго-долго смотрели в окно. Примерно так же, как эта беленькая, напротив...

Борис допил кофе, вермут и закурил новую папиросу. Где же Артановские? Опаздывают, как обычно. Сегодня он не пошел бы сюда, если б не телефонный звонок вчера вечером. Сергей позвонил и попросил прийти. Что-то важное, сказал, сообщит. Борис, конечно, все понимает. Захотелось выпить, а не с кем, все на лето разъехались. Вот и решили высвистать его... под интригующим предлогом. Ха-ха, знает он это «важное». Бывало такое. И не раз. Кончалось, как правило, безудержным смехом, а после — таким же безудержным выпивоном. У них, можно сказать, даже игра такая. В якобы непонимание с его стороны. Все это мило, трогательно, но на хрена, спрашивается, так опаздывать? На целый час. Лежал бы он спокойно на диване, да телик смотрел или читал какое-нибудь фэнтези.

Сергей Артановский был старый и лучший друг Бориса. Еще со школы. Более двадцати лет, проведенных бок о бок, сделали свое дело. Когда находились вдвоем, ненужными становились даже слова. Хватало взгляда, а мысли — домысливались сами собой. И в компании — каждый знал наперед, что скажет или сделает другой, поэтому остальные подчас чувствовали себя неловко. Борис знал каждую мельчайшую черточку в характере и поведении друга. Мог предсказать, через сколько минут у того изменится настроение, в какой ситуации он выдаст чугунную философскую сентенцию, а в какой неприкрытую нелепость. Например, когда Артановский слегка щурил левый глаз, Борис знал, что настроен тот иронично и агрессивно, и собеседнику лучше не ввязываться в спор, заикался — значит, был взволнован, а если тербил нос, — хотел на чем-то сосредоточиться. Однажды Борис сильно выручил Артановского. . . впрочем, сейчас не хотелось ничего вспоминать.

Вошли трое новых посетителей. Раньше Дуплов не видал их и потому принял рассматривать. Двое испитых усачей и женщина с лицом, напоминающим фильмы тридцатых годов. Близки цветомузыки отражались на их выцветших физиономиях, в глазах светилось предвкушение конца мучительного похмелья. Плебейская застенчивость, на какой-то стадии граничащая с нагловатостью, с головой выдавала их при каждом жесте. Все трое решительно не представляли, куда девать руки (женщине повезло: у нее оказалась сумка, в которую она и вцепилась изо всех сил и долго не выпускала, даже когда уселась за стол), затем в течение нескольких минут горячо и вдохновенно обсуждали меню, наконец, остановили выбор на двух графинах водки и трех салатах. Последние, едва успев появиться, тут же оказались съеденными, и в дальнейшем пришлось закусывать тонкими кусочками хлеба, посыпанными солью. Неуклюже сидящие ярко-синие пиджаки и цветастое платье говорили об их явно совхозном происхождении. Трактористы с дояркой. Или что-нибудь такое (других сельских профессий Дуплов — городское дитя — не знал). Приехали культурно провести выходные. Бедняги. Сейчас подвыпьют, и будут обсчитаны на десятку как минимум. Ну-ка, кто их там обслуживает? А-а, Шура. Этот и на пятнаху нагреет запросто. Никто потом ничего не докажет. Шура — увесистый парень с какой-то неразглядимой татуировкой на руках. Три года работает. Говорят, лихо фарцует где-то на стороне. То ли джинсами, то ли еще чем-то.

Борис Дуплов делил посетителей на три категории: первая — те, кто приходит сюда заниматься «делами», вторая — те, кто ничего об этом не знает, и третья — кто знает, но не занимается. Как, например, он. И Артановский. Третья категория, пожалуй, самая независимая, потому как вторая при определенных обстоятельствах нередко переходит в первую. Временами здесь складывались прелюбопытнейшие ситуации, но Борис выступал в роли нейтрального наблюдателя или, в крайнем случае, консультанта. А вот Артановский. . . С ним посложней. Была лет пять назад неприятная история, из которой, если б не Борис — не вылезти ему никогда. Правда, здесь еще помогла женитьба. Своим, как говорится, отвлекающим действием. Кстати, по поводу жены Артанов-

ского, Кати. Ее Борис полюбил с самого первого дня знакомства. Даже не столько полюбил, сколько установил некий бессловесный диалог. Эдакое незафиксированное взаимопонимание (зачастую направленное против Сергея). И хотя поначалу Катя немного ревновала мужа к Борису, со временем все ушло, а по некоторым, украдкой брошенным взглядам, Дуплов заключил, что столь теплое к нему отношение — не просто дружеская симпатия. Впрочем, догадки, догадки... Вообще, Сергей и Катя были восхитительной парой. Это всем бросалось в глаза. Борис помнил, как два года назад у них родился сын (которого, разумеется, назвали в его честь), это дело отмечалось здесь же, в кафе, и ближе к концу вечера он зачем-то отошел к окошку, обернулся, — бокалы с шампанским, музыка, Катя с Сергеем сидят, обнявшись, счастливые-счастливые... И он подумал тогда... Да нет же! Ничего он тогда не подумал! Это теперь всякий бред лезет в голову. Он просто отошел и выбросил в окно окурок. Вот и все. Ничего он тогда не подумал.

Катя Артановская относилась к тому разряду людей, которых, что называется, не любить нельзя. Бориса это несколько настораживало. Было в ней что-то притягивающее..., может быть, временами какое-то уж слишком понимающее выражение лица. Иногда в самом интересном месте разговора она вдруг опускала глаза, и в такие минуты Борису казалось, она скрывает что-то самое главное, что-то такое, о чем даже не догадывается ее муж. И еще Дуплов заметил загадочную вещь. Да. Катя появилась здесь почти случайно, приехала из провинции поступать в политех, устроилась у подруги, ну, а потом встретила Сергея, вышла замуж и все такое. И вот однажды Борис обнаружил непонятную штуку: когда кто-то в компании спросил ее о прошлом, она растерянно прикусила нижнюю губу, а в глазах неожиданно появилось что-то жестокое, так не вяжущееся с ее оборотистой улыбкой. Сергей как-то признался, что, по сути, ему ничего о ней не известно, но ей дал слово никогда ни о чем не расспрашивать. Более того, даже намекал Борису, чтоб тот помог. Осторожными вопросами, что ли... Но — увы. Катя сразу почувствовала по тону, чего он хочет (когда через несколько вечеров оказались вдвоем в кафе), и замкнулась. Они просидели молча почти до закрытия. Каждый словно ждал от другого каких-то признаний. И одна полуопределенная догадка засела у него в голове. Но и потом, когда Дуплов смутно припомнил свое возвращение из армии: уже на подступах к городу поезд сделал неожиданную остановку, было солнце, налипшие на стекло осенние мухи, и теплое пиво из горлышка, и по радио Пугачиха, Борис глянул в окно и увидел в общем ничего не значащую сцену — совсем молоденькая девушка в объятиях подвыпившего мужика... поезд постоял пару минут, замычал и медленно пополз, и та парочка уплывала все дальше, наконец исчезла навсегда, — даже потом, примерно через неделю после того вечера в кафе, когда Дуплов припомнил свое возвращение из армии, догадка его так и осталась догадкой.

С детства Борис Дуплов заметил за собой чрезвычайно полезное свойство — стремление проанализировать любую, пусть самую замысловатую ситуацию. Вот и после того вечера, когда Артановские отмечали



рождение сына, Борис вспоминал каждую подробность: жест, мысль, улыбку. . . И опять то же самое. Он стоит у окна, выпускает дым в форточку и глядит, во все глаза глядит на Сергея и Катю, которая говорит, что побудет только полчаса, после чего побежит кормить ребенка. . . Борис знает: счастье со всех сторон окружило и омывает уже два с половиной года эту семью, оно проникает в них, как проникает в человека воздух или вода. . . и вот он стоит и смотрит на них, и у него такое странное ощущение, что-то совсем иное. . . словом, взгляд его, как рентгеновский луч, просвечивающий настоящее и будущее, и Борис видит, что все это вскоре изменится. Вероятно, он слишком пристально смотрит, потому что Катя замечает, лицо ее становится серьезным. . . Уже второй час подряд надрывается Демис Русос. Сигаретный дым, как утренний туман, застрявший в кустах, неколебимо висит над столиками. И Борис вдруг понимает, что угадал.

За окном давно стемнело. Мутно-желтое свечение уличных фонарей проникало сюда в виде тоненьких рассыпающихся шпилек. Музыка звучала совсем тихо.

Странное настроение было у Бориса Дуплова. Вроде все, как обычно. Он сидит, поджидает Сергея и Катю, слушает джаз, никуда не торопится. Полный порядок. Тем не менее, что-то не так. Это «что-то» мучает его уже целый вечер, и он никак не может понять, что же именно. Даже не вечер, а скорее, два. Точно. Появилось оно (злосчастное «что-то») вчера вечером. Сейчас Борис, кажется, понял. . . Да. Сомнений не остается. С того момента, как он вчера повесил трубку, переговорив с Сергеем, вернее, договорившись о встрече, до нынешнего прошли ровно сутки. И все эти сутки Борис непрерывно думал об Артановском и его жене. Непрерывно и с неприязнью. Чего уж там, надо смотреть правде в глаза. Не только с неприязнью, но и с ужасом. Увы. Впервые за всю их многолетнюю дружбу Борис Дуплов боялся встречи с Артановским. Это факт. Каким бы печальным и нелепым он ни казался. А почему? Откуда появился этот идиотский страх? Борис стал перебирать все более или менее подходящие причины и, наконец, остановился на одной, наиболее вероятной.

— Витенька, еще двести вермуту, — сказал он проходившему мимо официанту.

За последние два месяца, с тех пор, как Сергей вернулся из поездки по Карелии, в его поведении произошли удивительные перемены. Борис-то сразу заметил и даже Катю предупредил, которая на его замечание так ничего и не сказала. Сергей стал рассеянный, часто отвечал невпопад и подолгу просиживал, не шевелясь, уставившись бледно-серыми глазами в одну точку. Борис чувствовал: в голове Артановского засела какая-то неотступная идея, беспощадным сверлом буравящая мозг. Что-то произошло там, на Севере. Или, может, еще до поездки. Или после. На вопросы он не отвечал, отшучивался, а когда Дуплов пристально смотрел на него, — опускал глаза. И еще. За эти два месяца Борис впервые не мог читать его мысли. Пожалуй, это было самое удручающее обстоятельство, поскольку с ним были связаны и другие. Борис, например, не

понимал, как вести себя в обществе друга, любое, даже незначительное словечко звенело фальшивыми нотами, поэтому он с трудом находил тему для разговора, но если они и болтали на первый взгляд, вроде бы, легко, все равно, — что-то главное оставалось в стороне. Сергей явно старался сохранить какую-то тайну, отчего в их отношениях возникла тягучая режущая неловкость.

Официант-Витенька принес вермут. Борис поднял стакан и уже соби-рался пригубить, когда в дверях появились Артановские.

## 2

Этого еще не хватало. Неужели он успел накачаться? Если так, — все напрасно. Лучше уж сразу повернуться и уйти. . .

Катя с мужем медленно пробирались к столику, за которым сидел Борис Дуплов. И ведь самое обидное, она предупреждала. Торопила. Говорила, что он либо уйдет, либо надрызгается, что, кстати, еще хуже. Потому как, если б он просто ушел, то наверняка домой (больше Дуплову деваться некуда, это она знала), и можно было позвонить и зайти. Или где-нибудь встретиться. А теперь — поздно.

Впрочем, Катя ошибалась. Борис вовсе не был пьян, хотя и опрокинул третий стакан. Немножко зацепило и только. Легкий кратковременный кайф моментально выветрится, стоит лишь оказаться на улице.

Но у Кати были достаточно веские причины опасаться Борисова опьянения. Как правило, после очередной дозы Дуплов делал таинственные глаза, многозначительно ухмылялся и, собрав в зрачках всю проника-тельность, на какую только был способен, начинал загадочно, и вместе с тем, ехидно подмигивать. На ее вопрос, что это значит, он плел какие-то витиеватые, туманные отговорки. Намекал, дескать, что-то такое «зна-ет», помнит какую-то давнюю сцену. . . какой-то поезд, мух и пригород-ную станцию. . . Катю бесили эти его пьяные выходки особенно потому, что она чувствовала: Борис имеет колоссальное влияние на ее мужа. И не сомневалась: стоит ему (Борису) захотеть — и браку их крышка. Да, Сергей любил друга больше, чем ее. Это она усвоила с самого начала. Усвоила и смирилась. Но со временем ей стало казаться, что здесь не только простая любовь и дружба, а нечто иное. Словом, заметила, что муж почему-то побаивается Бориса. Вернее, не то, что побаивается, а считает себя чем-то ему обязанным и потому — больше всего на свете боится его задеть.

Вот почему Катя ненавидела пьяного Бориса. И в самом деле, ну что за глупости!?! Мало ли кто чего помнит? Она же не допытывается, что у них там вышло пять лет назад, когда Артановский чуть не угодил в тюрьму. Ей раз и навсегда сказали, — тебе, Катенька, это знать ни к чему (между прочим, Дуплов сказал), она и не лезет. А все почему? Потому что она — умный человек. Не суется не в свое дело. Какого же черта он ее донимает?! Нет, пора, пора поговорить с ним. А иначе — того и гляди, вообще Сережу в могилу сведет. Своими дурацкими намеками. Артановша и так почти того. . . Последнее время — сам не свой, лепечет какую-то чушь, то — будто про некую мифическую ночь, то чего-то он

там такое открыл, до чего-то докопался. . . Бред какой-то. Да еще Борька масло в огонь подливает. Тоже мне друг. А тут вдобавок эта северная история. . .

— Все неспроста, неспроста, — думала Катя. Она отлично помнила, как Борис Дуплов поглядывал на нее искоса, когда они вышли из кино-театра года три назад. И сюжет фильма-то был подходящий. Они шли строем по песчаной дороге, неподалеку от их дачи, взбалтывая ногами пыль. Вечер был теплый, нежный и южный, и пахло терпкими цветами, может, табачными листьями. . . ах, да, они же еще покурить присели в лесопарке. И когда она выпускала кольцо дыма, подняв голову кверху, то угловым зрением чувствовала на себе его взгляд. Бедный Сергей. Он все видел. Но якобы не замечал. Да у него, если вдуматься, и выхода другого не было. Ну что бы он сказал? Оставь ее в покое? Или: попридержи свои пошлые намеки? Это было бы правильно, но ужасно глупо. И Борис бы, конечно, не простил. Хотя в глубине души Катя и желала между ними двумя полного разрыва. Жить бы стало спокойней.

Они подошли к столику и сели. Боря специально держал два места. Вермут, который тут же принес Витенька, оказался теплый и будто нарочно переслащенный. Катя вообще не любила алкоголь, а уж тем более вермут. Но сегодня, кроме водки и этой светло-розовой дряни, ничего не было. Дуплов рассказывал о недавних происшествиях на складе. Теперь-то она разглядела, — он не был пьян. И потому не мог не понимать, что никому до этого чертова склада никакого дела нет. Правда, он частенько так действовал. В смысле, рассказывал то, что слушателям было заведомо неинтересно. Надо ж поддерживать марку дупии компании. Боже, как она знает все эти его разговорные приемчики, отработанные жесты, поставленные интонации! Самое забавное, он ведь и сам отдает себе отчет в ненастоящести своего наигранного воодушевления. Уж кто-кто, а он-то прекрасно фальшивку чувствует. Это она тоже знает. Как говорится, проверено временем. Когда стряхивает пепел, специально чуть задерживает руку над пепельницей, — эдак элегантно, указательным пальцем; ну, что ж, у него это и вправду изящно выходит, что верно, то верно, но, елки-палки, как при этом собой любитесь, как любуетесь! А как иногда глаза закрывает! О-о! Прикрывает веки, для пушей значительности выдерживает паузу секунды в четыре, потом переходит на глубинный, проникновенный шепот. И в этом, кстати, довольно тонкий расчет; действует безотказно. Собеседники, в результате, замолкают и слушают только Дуплова. А тому больше ничего и не надо, даже если в данный момент и сказать-то нечего. . . Нет, это все же не совсем так. Во-первых, ему всегда найдется, что сказать, а во-вторых. . . Борису кое-что еще надо. И она даже знает, что. . .

Есть ряд иных приемов, которыми Дуплов пользуется при ведении беседы, а точнее, при своих монологах. Она изучила их все уже давно. Они у не вот здесь. Ну, например. Когда кому-то все-таки удастся доказать его неправоту или, скажем, когда спорящий вот-вот близок к этому, Борис вдруг плавно-плавно (так, что никто из непосвященных и не заметит) переводит разговор на другую тему. Причем, понятно, не на любую

попавшуюся, а только на ту, которая обязательно заинтересует всех сидящих за столом. И таким образом, не просто отведет от себя удар, а и вновь окажется в центре внимания.

Да, она не спорит. Личность он, конечно, особенная. Но ей всегда претили самодовольные типы, купающиеся в звуках собственного голоса. Вот и сейчас, — Борис Дуплов говорит, а она видит, как он сам разглядывает себя со стороны, то есть со всех сторон, разглядывает — и наслаждается. В данном случае, умением поддерживать гаснущий разговор, а заодно и отношения. Он-то считает, это свойство (умение смотреть на себя сбоку) есть проявление необычайной тонкости души. Так-то оно, может, и так, но теперь... ее и это в нем раздражает. Теперь ее все раздражает. И не только это. И не только в нем.

А пришла она сегодня исключительно потому, что надеялась, благодаря их диалогу, понять, что же все-таки произошло с Сергеем... В этой проклятой Карелии... Думала, прояснится. Эх, куда там. В итоге, Борис, как обычно, владеет инициативой, а на самом деле — попросту лепит всякую чушь, да изредка на них хитро посматривает. Эдакие ироничные молнии посылает. Вот и все. А ее от этих взглядов уже тошнит не первый год. Она их, как говорил один ее старый знакомый, терпеть не выносит. Сергей, надувшись, молчит. Видно, что раздражен до предела.

Дуплов и вправду болтал без умолку. После рассказов о складе перешел на всякие криминально-мистические байки (тут Артановский слегка оживился), потом заговорил о космосе, о Горбачеве, о футболе, о фотографии и о многом другом, перемежая все это острыми анекдотами и всевозможными присказками. Временами Кате хотелось вскочить и как можно сильнее надавать ему по физию. И даже без всякой формальной причины. Просто встать и надавать. Усилием воли она перебарывала это желание, потому что понимала: тогда у них с Сергеем все кончено. А это нельзя. Это никак невозможно.

Года полтора назад — она помнила — опять же на даче сережинных родителей, они сидели втроем у костра. Был конец лета. Желто-красные листья и почерневшие ветки похрустывали в печальном огне, как сахар в крепких зубах, и даль подернулась туманом, и воздух звенел в ушах, должно быть, потому, что не мог вынести собственной насыщенности. Сперва они молчали, потом Сергей заговорил на какую-то тему, для остальных, может быть, и скучную, но для него — очень важную... Только он открыл рот, не успев еще толком ничего сказать, Боб хватя гитару, и давай наяривать. Демонстративно. Причем, так артистично, с душой, что называется. Кажется, из «Машины» или «Аквариума»... Ребяташки дачные повыбежали, окружили костер, а Дуплов от присутствия посторонних еще больше заводится. Орет на всю округу, голосина-то, черт, зычный, что правда, то правда. Детвора стала подпевать, короче, веселье — полным ходом. Сергей слушал-слушал, не выдержал, встал и ушел. А этот все поет. И теперь уж понятно, что только для нее, потому как ухода Артановши и вовсе не замечает или, во всяком случае, виду не подает. Она сидит, смотрит, как он пышной черной шевелюрой трясет, а у самой голова раскалывается. И не знает, что делать. Вроде, остаться —

Серēju обидеть, а с другой стороны... и уйти не в силах. В результате — осталась. Долго потом простить себе не могла. Когда ложились спать, Серēja еще спросил: «Нравится?». . . таким тихим-тихим глосом. А тут же смысл, как бы, двойной. Она и говорит: «Что нравится-то?» Но он уж больше ничего не сказал, повернулся к стенке, да и затих. Даже не дышал, как ей тогда померещилось. Она долго лежала, глядя на верхушки сосен в окне. Не спалось. В соседней комнате храпел Дуплов, и от этого не спалось еще больше. Сосны были синие. Их силуэты вырисовывались на фоне светлеющего неба и покачивались... укоризненно.

В ту ночь она впервые поняла, почему Боб так настойчиво, так безжалостно цепляется к ней. Она вспомнила его лицо. Эти тонкие губы, окруженные черной бородой, как полумесяц беззвездным небом, этот долгий вызывающий взгляд, которого она не выдерживала и который с лица беззастенчиво переходил на грудь, эти улыбочки, недосказанности и намеки. Да, теперь она все поняла. А точнее — вспомнила весь пунктир их знакомства. Вспомнила и поразила себе. Как могла она раньше не замечать? Конечно, многое было скрыто под маской иронии, но ее интуиция..., наконец, опыт... В некоторых случаях Боб вел себя совершенно однозначно. Как однажды под Сухуми, когда они втроем переходили ручей...

Теперь, лежа рядом с Сергеем, с этим огромным светловолосым ребенком, она рассматривала электрическую проводку на потолке и... думала о Борисе Дуплове. Она думала о том, что никогда, никогда не позволит ему перейти той границы, той заветной черты, которая до сих пор, к счастью (ли?..), еще разделяет их. А еще Катя думала о том, что она не в силах не думать о Борисе Дуплове, что такова уж, по-видимому, ее печальная участь мужней жены, и что думать о нем она будет всегда (этого ей никто не может запретить..., даже она сама), и что думает она о Борисе давно, похоже, с самого первого дня их встречи, но только сейчас откровенно сознается в этом самой себе.

Катя глядела на верхушки сосен и чувствовала какое-то сладкое удовлетворение от сознания своей верности. Никогда она не будет принадлежать Борису Дуплову, как бы он ни выкаблучивался. Она — жена Сергея Артановского, и верхушки сосен тому подтверждение.

### 3

Тук тук тук время подкрадывается по вечерам и замирает на подоконнике Оно тоже имеет массу Оно плотное хотя и податливое его даже можно расщеплять или разрезать садьым ножом А потом рассовать по картонным коробкам и засушить Он засунет в нагрудный карман штормовки этот малиновый запах этот пудинг цветов и сосновых иголок и зимой сможет наслаждаться им и временная плоскость мокрым полотенцем ляжет ему на лоб и этим перевернет все воспоминания если таковые вообще существуют но скорее всего их нет потому что тогда бы время не имело границ а оно имеет границы и еще какие Пожалуй даже более неприкосновенные чем у любого тоталитарного государства Совсем не то время полусознательное которое он ощущает во сне Оно действительно

безгранично и неосяземо Оно забирается через ноздри и легким мистическим ветерком гуляет по мозговым полушариям а наутро исчезает он не в силах зацепить его овладеть всеми гранями да это в сущности и ни к чему Ночное время это память предков и не беда что ему не найти конца Возможно его и нет Или есть но в каком-то ином еще более далеком измерении Это время определенно существовало еще до его рождения и теперь генетически наполняет его во сне А реальное время берет отсчет с 13 октября 1955 Нет раньше За девять месяцев до того ибо он помнит как находился в эмбриональном состоянии и как потреблял переработанный морковный сок и разные витамины и в общем было неплохо но только ужасно тесно Впрочем и всю последующую жизнь ему довольно тесно Что кстати лишь подтверждает его догадки о преемственности времени

Тут в Карелии все стало окончательно ясно Северный ветер как чифир промывает голову и сердце отстукивает в такт секундам и трепет пронизывает кончики пальцев и еще мозг Стоит только прислушаться Раньше он не ценил одиночества а теперь понял Человеку необходимо подолгу бывать одному Теперь он научился узнавать время чувствовать его и пропитываться им насквозь Он уверен время скоро кончится и потому надо глотать глотать пока оно кислотатым голубичным компотом застрѣвает в зубах или оседает на слизистой оболочке души

Запах рыбы и гранитные скалы он положит в верхний ящик письменного стола и закроет на ключ Это станет доказательством его северного времени Оно будет освежающим терпким и по сути самым ценным поскольку именно здесь он открыл время как самоценность или как индивидуальную величину равную периметру его жизни Он и раньше подумывал о субъективном характере времени но то были подсознательные догадки не подкрепленные всеобщим прозрением

Средний ящик Он получит самый расплывчатый Он как бабочка в лучах солнца перелетающая от цветка к цветку станет то ускользать то снова отчетливо проявляться Он распадется на бесчисленные сгустки подобно галактикам переходящим друг в друга в испорченном телескопе Почерневший от дождя забор одинокая серо-зеленая осина на берегу как раз напротив их дома Отец чертыхающийся тоненьким голосом надующий велосипедную камеру Оранжевый цыганенок в телеге и эти бесконечные проселочные дороги муравьи слепни и свист в ушах велосипед и холодная вода в старом колодце И запах удобрений в сарае и сено под крышей и пыль и мятный привкус еловых веточек Все это окажется во втором ящике Нет тогда время еще не приходило к нему Оно подкрадывалось осторожно и чуть покалывало его редкими минутами Например однажды у пруда оно осенило его невесть откуда взявшимся ярким свечением Мгновение только одно мгновение он наблюдал время в его изначально трагическом резонансе с действительностью Затем все исчезло И он снова сделался обычным мальчиком размышляющим о грибах футболе и светловолосой соседке Но то был предвестник Теперь он знает То был предвестник его открытия Не случайно он чувствовал все эти годы будто время колеблется между ним и вселенной и все-таки перешивает он потому что он сам в себе и заключает вселенную а стало

быть и время есть его собственность его маленькое генетическое достояние сад сходящихся тропок который прекратит светиться и благоухать китайскими розами если исчезнет его хозяин Да но в те годы он еще не являлся хозяином времени Он воспринимал его так же простодушно как скажем перистые облака или покрытую тиной воду в пруду Время было для него как рубашка которую он снимал когда укладывался спать потому что не знал тогда что именно это полуреальное сомнамбулическое время и есть единственно постоянное и объективное хотя и приходит во сне А то которое наяву не связано с предками и зависит только от его нынешнего состояния и ни от чего больше а потому является вымышленным им же самим

Да В этом втором ящике покоятся времена отдаленные полузабытые Но они все же есть И когда он открывает его этот ящик и выдвигает настолько чтобы можно было просунуть голову поворачивает к его содержимому ухо и тут

Все вокруг замолкает и он слушает голоса давно умерших родственников приезжавших к ним когда-то на дачу которые возвращаются с далекой лесной прогулки с полными корзинами мочовиков Он слышит их голоса без всяких отдельных слов интонаций а еще он слышит карканье ворон и стук дятла в сосновом бору и запах смолы и протопленной печки

Это летом Зимой же время закрепляется сужается и к весне становится гладким как студень в холодильнике И только к маю наливается соком разбухает и трещит по швам наскоро простроченным морозом разваливается и греется на утреннем солнце мягкими свинцовыми слитками Да время полужидкий раскаленный свинец Оно обжигает человеческую плоть и так же как свинец стремится занять как можно более компактную форму Этот второй ящик он бесконечно растянутый и вместе с тем уплотненный Смотри с какой стороны поглядеть И время в нем все равно что вода в реке переливается ослепительными блестками Секунды как брызги разлетаются во все стороны когда волна натывается на каменистый берег В этом ящике его детство и юность Такие далекие и близкие И теперь он не знает давно это было или не очень Наверное все же давно

А потом появилась она Это уже будет третий предпоследний ящик А еще поездка в Сухуми апельсиновый сок в повисшем над морем кафе И по ночам похотливо улыбающиеся мутные звезды Тогда он понял что Лео Рафалеско был прав Что звезды действительно не падают Звезды блуждают Как впрочем и люди И что нет в мире истины которую не смогла бы опровергнуть одна крохотная блуждающая звезда печально отражающаяся в Катиных глазах и в черной морской воде Время в этом ящике самое последнее но несмотря на это расплывчатое и неточное Он почти не помнит его Должно быть потому что оно не совсем ему и принадлежит Увы это скорее Катино время И хотя завладела она им постепенно все-таки сумела отодвинуть Сергея на второй план Что он помнит о ней Лишь мягкие груди будто укрепленные совками песочные кучки Стоит нажать и они поползут под рукой И резиновые соски нерожавшей женщины и сладковатый привкус во рту от ее помады Когда он целовал Катю

ему казалось что ее белые-белые зубы словно клавиши рояля издают звенящие аккорды В этом третьем ящике он уже всюду раздумывал о времени Вот почему когда родился Боря для него это было не просто появление ребенка Для него это был новый генетический переход в совершенно неведомую ипостась Отныне его личное время раздвоилось вернее изогнулось под прямым углом и ровно наполовину утратило смысл По сути жить-то уже стало наполовину незачем Вот почему он с опаской поглядывал на ребенка и поначалу не решался даже подходить Катя заметила его холодность к Бореньке Как она не понимала его Ладно бы просто не понимала а тут еще подключился Борька Дуплов со своими безотказными советами и неизменными выкладками который только поджидал удобного случая И вот последний представился Сергей-то и раньше замечал его взгляды исполненные похотливой нежности обращенные к Кате Ну что ж теперь их альянс получал вполне обоснованное моральное оправдание Ну и пусть Пусть Боже насколько ему было все все равно Вот только бедная Катя Невыразимо страдающая от рвотных рефлексов собственной совести Сколько раз сбиралась все ему рассказать Он это видел Хотела но не решалась И хорошо что не решалась потому что тогда бы он в упор расстрелял ее смертоносными пулями своего безразличия или чего доброго полез бы с неуместными утешениями Обоюдное-то началось на даче Тогда у костра Боб вопил под гитару не отрываясь глядел на нее лошадиными глазами Борода подобно маятнику неотвратно колебалась вверх вниз вверх вниз Утрированная «Машина» вызывающим эхом облетала приготовившиеся к ночи холмы и лесные опушки И только совы безразличным гугуканьем отвечали на повторявшийся риторический вопрос кого ты хотел удивить А он-то он-то хотел рассказать то что понял про время Им рассказать Это была первая и к счастью единственная попытка Да теперь он понимает что время рассказать невозможно Оно само должно раскрываться Как весенняя вода непреодолимой силой раскалывающая лед Правда Борису этого не понять Да и Кате тоже Они очевидно вскоре поженятся Вскоре после

Хотя какая разница Ему во всяком случае Как тогда во время их треугольной поездки в Сухуми Сергею было уже все равно Они жили на узенькой улочке спускавшейся с горы и напоминавшей ручей Снимали комнату Втроем Соседи смотрели иногда как-то странно Слишком многозначительно Комната была тесная загроможденная всяким хламом Раскладушка Дуплова стояла почти впритык к их кровати А ему было все равно Это последнее и есть самое главное Оно и только оно Той ночью уставившись взглядом в окошко он долго и сосредоточенно рассматривал паутину между верхней рамой и потолком Эта гнусная паутина и траурный марш Шопена застрявший в голове так невыносимо созвучный всем сладострастным вздохам на свете Вот и все что осталось от Сухуми Ах нет было еще кое-что Однажды в том придурочном обезьяннем питомнике первый раз ему пришла мысль то есть не мысль а просто он впервые пожалел о том что Борис уберет его тогда от тюрьмы Он глядел на безобразно ухмыляющуюся макаку и думал что в камере он бы во-первых гораздо быстрее осознал суть времени во-вторых не участвовал во всей



этой глупейшей комедии и наконец в-третьих он бы не потерпел дупловских намеков относительно Катиного прошлого Ему кстати безразлично что там с ней было в пригородном городке Странно что Боб не понимал или не хотел понимать

А как они вброд переходили ручей Абхазские мальчики в черных рубашках играли неподалеку в футбол Кричали А ему слышалось береги ее береги Ветка акации задела ее синее платье слегка порвала и что тогда сделал Борис Дуплов прямо у него на глазах Последовала та ночь Затем в плацкартном вагоне она тихонько сказала Видишь какие стали у нас отношения Вероятно ждала что он скажет Но он ничего не-сказал Смотрел на удаляющееся море Соседка с толстым мужем в светло-зеленой майке уплетала котлеты Воздух был теплый и потный Узорчатый подстаканник стук колес детский плач откуда-то сбоку и эта наигранная дупловская астма

Месяцев через пять после Сухуми он без всякой задней мысли спросил Катю помнит ли она ту ночь вернее спит ли она и до сих пор с Борисом Дупловым И странное дело Катя выпучила глаза чуть не повалилась в обморок пробормотала что-то типа лечиться надо если совсем выжил из ума и не разговаривала с ним больше недели А он не выжил из ума Он не выжил Он всего лишь фокусирует время пытаясь обезоружить магическую сущность мгновения Поэтому не так уж важно была та ночь или нет Ведь понятно что даже если она ему только приснилась это принципиально то же самое как если б она и в самом деле была

Вот он и добрался до четвертого ящика Ключ к нему самый сложный В нем не встретится никаких поездов никаких дупловых На первый взгляд нет более невзрачных предметов чем те что покоятся в четвертом ящике Красные обои его квадратной комнаты портрет деда в серебряной рамке и окно упирающееся в листву Эта комната единственное место где беспрепятственно катается ядро из его переплетенных чувств и мыслей По вечерам он закрывается в своей комнате садится за стол выпускает его на прогулку и любит себя любит своим прозрением облаченным в столь забавную круглую форму На вид оно почти как настоящее Блестит а издали даже напоминает чугун Когда оно катится по паркету слышится скрип и он волнуется как бы не заругались соседи на шестом этаже Хотя они люди деликатные и никогда не делали замечаний Ядро выпрыгнуло из него после поездки в Карелию где он разгадал тайну времени Здесь в комнате его открытие округлилось окрепло и вылилось в этот бородинского вида снаряд Чем больше он рассматривает свое духовное детище тем больше убеждается в его реальности Вот и сад за окном того же мнения После Катиного перемещения в соседнюю комнату он стал часто по ночам открывать окошко Он стоит и дышит ночью у которой такие чудные горькие запахи И кленовые листья тронутые легким ветерком совещаются сплетничают про его открытие Кроме них никто на свете не знает о нем Он думает о том что секунды тяжелее запонки и мир с ним заодно Воробьи ошарашены застигнуты врасплох его неоспоримой версией Не решаются чирикнуть Он высовывается в окно по пояс и загадывает что если не успеет докурить сигарету то будет

вынужден совершить что наметил А дождь уже наяривает вовсю Капля прямым попаданием гасит огонек наполовину недокуренной надежды В сердце что-то обрывается Так он и знал так и знал Иначе ведь и быть не могло Обладая могучей тайной времени он попросту не имеет права не исполнить задуманного При этом он не чувствует ничего кроме ослепительной радости

Время его жизни наглухо закрыто в шкатулке которая запечатана И печат в смерти Вне его существования вне этой шкатулки нет никакого времени А потому вся жизнь заключена только в нем самом Весь остальной так называемый белый свет есть мираж вакуум черная дыра Мир материализовался лишь благодаря чистой случайности встречи его родителей 30 лет назад Интересно что было бы если б мать Сергея родила его например от отца Бориса Дуплова Или наоборот Должно быть тогда получился бы Архидупловский

В последнее время Сергей смотрел на Бориса с опаской Чувствовал тот замышляет что-то очень хитрое Выдавало выражение глаз и ерзающая борода Когда Боря врал борода шевелилась и казалось она состоит из множества черных гусениц Тем не менее Артановский решил встретиться с ним вечером в кафе чтобы убедить его в необходимости разубедить Катю в необходимости лечения его Сергея в психушке Возможно беседа и получилась бы но Катя почувствовав неладное увязалась за ним Сергей курил сигарету за сигаретой видел как Дуплов наслаждался собственным красноречием Звуки его голоса постепенно превращались в комариный зуд Густая зеленая музыка подпрыгивала за стойкой бара а скрип кресел-качалок на террасе сливался с писком неоновых ламп Потом Сергей сказал что пойдет в туалет Сам отправился домой

И опять он стоял у окна в своей комнате и сад целовал его сладкой горечью Он думал о том что познать время это еще не все Надо его зафиксировать иначе говоря сделаться его хозяином Жизнь рассыпается на мгновения как песочный пирог на мелкие крошки Он соберет их воедино и магия времени откроется ему Для этого понадобится совсем немного Всего одно волевое усилие один стремительный прыжок Он пишет что-то на клочке бумаги кладет на стол и вновь подходит к окну Прежде чем высунуться он ясно слышит как в прихожей хлопает дверь раздаются шаги Он узнает и женские и мужские

Впрочем нет Время не имеет ни пола ни возраста А ведь это именно оно бродит по квартире и вот-вот заглянет к нему Добрый знак С легким сердцем он обманет вселенную и увлечет за собой Ибо нет теперь ни прошлого ни будущего Все время заключено в его сознании потому умрет вместе с ним

Вот слышно как дверь в комнату тихонько открывается Сергей почти до пояса вылезает в окно Легкие шаги приближаются Тук тук тук Это время Оно подкрадывается незаметно но нынче уже не замирает на подоконнике Отнюдь Оно действенно и энергично Сейчас поднимет за ноги и одним рывком поможет обезвредить сопротивляющееся бытие Так и есть Ноги осторожно поднимаются Вслед за этим голова резко опускает-

ся вниз мощный толчок и тело крутится в пространстве Листва бритвой рассекает лицо а руки хотят но уже не в силах ухватиться за сучья

И нечеловеческий вопль вырывается из груди Ночь переворачивается звездами вниз а чугунная земля гравитационной кувалдой навсегда прерывает дыхание Кровь брызнувшая из ушей застревает в древесной коре а мозги перемешавшись с росинками исчезают в кустах шиповника

Что остается Лишь этот черный сад вечно ужасный Который каплет и вслушивается все он ли один на свете Да еще дух сырой прогорклости вдруг пробежавший по платью той женщины что на седьмом этаже Она смотрит вниз невидящими глазами и при этом как-то нелепо мнет ветку в окне как кружевце или есть свидетель свериться с оригиналом и так набирать

#### 4

— Да я за этой троицей давно наблюдаю. Они думают, раз официант, — значит, ни ума, ни фантазии. А я скажу, официанты все замечают. Такая профессия. Сперва Боб, а потом и эти двое. Дуплов еще, помню, говорит, — принеси, Витенька, вермуту. Ну, я и принес. А когда на стол ставил, на Серегу посмотрел. Ну и морда у него была! В глазах, точно сама смерть... Кстати, не первый раз за ним такое наблюдаю. Особенно в последний месяц. Я и раньше чувствовал, — не к добру все их отношения... Какие отношения? Да ясное дело, — в троечку поигравали.

Странный мужик был этот Артановский. Не могу сказать, что уж так его знал, но в кафе иногда встречались. И по сути, я — один из последних, кто его видел. Он же в тот вечер и выкинулся. А? С седьмого. Да нет, трезвый; экспертиза показала. И записку, понятно, оставил. Своей рукой, все, как полагается, да вот...

У меня ведь в райсуде муж двоюродной сестры. Как раз он дело и разбирал. Говорит, не простое самоубийство. Темное, говорит, дело. Как будто бы Артановскому это самое... помогли, короче, откинуться. Но кто — неизвестно.

А знаешь, почему к такому выводу пришли? Оказывается, чтобы выпрыгнуть, надо непременно на подоконник встать. А следов-то, на подоконнике — и нема. Он, наверное, воздухом дышал, а его за ноги хватъ — и тью-тю. С запиской, правда, непонятно. Рука-то натурально его.

Вроде, Борьку подозревают. Но доказательств нет. А он, сабака, хитрый. Не скрывает, что в ту ночь в квартире Артановских был. Понимает, — такое обстоятельство рано или поздно все равно докажут: отпечатки пальцев, все такое... Говорит, Катю до дому проводил (они и вправду до закрытия досидели, сам видел; он ей еще что-то объяснял, даже руками махал), а потом, якобы, на чашку чая заглянул. И, будто, не успел куртку повесить, слышит — крик. Они сразу в комнату Сереги, а того уж и след простыл. Ну, и записка на столе. Поди, опровергни. Вот такие пироги. Не-е, Борьку голыми руками не возьмешь. Знаю я этого прохвоста. Из любой заварухи вылезет. И, я думаю, если факт убийства будет доказан, он всю вину на Катю свалит, мол, она и есть преступ-

ница. Ему это — раз плюнуть. Не пойму только, зачем Серега-то в окно вылезал? Чего не сиделось? Эх, жизнь...

А может, я и напрасно на кого-то бочку качу. Может, чистое самоубийство и есть. Пес их разберет, этих интеллигентов. Делать не фиг, вот и бесятся. Фраера.

А в записке знаешь, что было? Ха-ха, это вообще умора. Представь:

«Никого не вините

Прошлого не отдам»

и подпись — Король Времени.

---

---

## Михаил Яснов

\* \* \*

То ли ранняя тьма, то ли снова зима —  
тьнь все громче беседует с тенью,  
и, как призраки старости, бродят дома,  
приходящие в запустенье.

В них еще по-старинке гнездится тепло,  
обветшалые двери листья,  
но подъезды все чаще встают на крыло  
я сбиваются в черные стаи.

Их, как гальку, катает по небу волной  
облаков и минутной свободы.  
А пустые провалы бредут под луной,  
опираясь на дымоходы.

И покуда вполнеба гремит воронье,  
бродит старость все тише, бесплотней,  
и, пока я с опаской гляжу на нее,  
исчезает в моей подворотне.

\* \* \*

Под мостом Мирабо — я не видел, быть может, —  
тихо Сена течет, но меня не тревожит.  
На мосту Авиньонском — быть может, и это —  
и поют, и танцуют всю ночь до рассвета.  
Я не знаю, не прожил я эти мгновенья,  
не дают мне покоя другие виденья:  
то утопленник навзничь, то убитый враспяжку —  
под мостом через Мойку, на мосту через Пряжку.

\* \* \*

И вот они выплывают из прошлого —  
сайгоновские завсегдагаи:  
вздохмаченные, небритые, вечно поддатые,  
канувшие в Лету, но, вынырнувшие из Гудзона,  
приглаженные, стриженные, вроде газона,  
однако по-прежнему непреклонно пьющие  
и на всю нашу жизнь со своих небоскребов плюющие.  
Правда, при ближайшем рассмотрении  
небоскребы превращаются в довольно приземистые строения,  
в подвалы, в каморки, в квартирки,  
правда, с едой в холодильнике и мягкой бумагой для подтирки.  
А былые собрания и выклянчивания мелочи  
превратились в мелочь собрания и выклянчивания былого,  
из которого умеючи  
можно извлечь два-три свежих слова.  
Но все остальное — по-прежнему там,  
в шестидесятых-семидесятых,  
и память ведет этих стриженных, гладких, поддатых,  
возвращая к насиженным с детства местам,  
где стакан бормотухи заедали пирожками с повидлом  
те, кто были быдлом,  
а стали «мидлом».

\* \* \*

Жил-был еврей рассеянный  
во всей красе я силе.  
Жил-был, как все, — рассеянный  
почти по всей России.

Средь улиц и завалинок  
жил при своем достатке:  
на пятки вместо валенок  
натягивал перчатки.

Бродил своей походкою  
от Вятки до Анапы  
порой со сковородкою  
надетой вместо шляпы.

В вагончике отцепленном  
так сладко просыпаться!..  
Теперь в золе и пепле нам  
приходится копать.

Все выскоблено дочиста  
и выгорело начисто —  
осталось только творчество  
по имени чудачество.

Чудачество! От мира ведь  
куда ему деваться?  
В чудетство эмигрировать  
и загримироваться.

Кати в своем вагончике,  
нелепый, бесполезный,  
по лезвию, на кончике,  
над этой страшной бездной.

Глядишь, и карта выпадет,  
я вытянется фант. . .  
Ну, что еще нам выпадет,  
еврейский музыкант?

\* \* \*

*Веронике Долиной*

Невеселые лица у русских в Париже.  
Им чужое — родней, но родное — ближе.  
Их о чем-то важном еще не спросили.  
А главное — знают, как жить в России.  
Наше время куда веселей, чем прежде.  
Им давно комфортно в чужой одежде.  
А то, что на лицах следы кавычек, —  
дело мускулов, то есть, дурных привычек.

---

---

Нина Катерли

### КТО Я?

Четырнадцатилетней школьницей я писала в своем дневнике: «Мне не привелось быть участницей Великой Отечественной войны, но и в мирное время предстоит немало борьбы. Как хочется поскорее стать взрослой, чтобы приносить хоть какую-то пользу. И вот сейчас, сегодня, 5 января 1949 года, я клянусь своей жизнью и своим комсомольским билетом, что сделаю для Родины все, что могу, и никогда не изменю ей».

Я писала это, убежденная, что родилась в самой прекрасной в мире стране, прекрасной потому, что в ней победил социализм, что только здесь живут счастливые, свободные люди, что Сталин — гений человечества, отец трудящихся и лучший друг детей.

Я писала это и потому, что была уверена: так н а д о писать, так н а д о думать. Не оттого, что иначе — накажут, а оттого, что только так и должен думать по-настоящему хороший, честный и умный человек. Ведь так говорили все вокруг — мои родители (по крайней мере, со мной), школьные учителя, радио, герои кинофильмов. Так писали газеты.

Я знала, что родная сестра моего отца — в лагере, а муж ее расстрелян — их дети, мои двоюродные брат и две сестры, часто бывали в нашем доме. Что ж... Дядя и тетя наверняка порядочные люди, они не могут быть врагами народа! Но случаются ошибки, это неизбежно, пока вокруг нашей Родины клочочет капиталистическое окружение, пока через границу забрасывают гнусных шпионов, а внутри страны действуют диверсанты, готовые на все, чтобы погубить молодую социалистическую республику. Это они тайком разбирают рельсы, чтобы поезд с мирными людьми пошел под откос, они отравляют воду в колодцах, взрывают электростанции, сыпят толченное стекло в масло, заражают ящуром скот. Да, бывают ошибки, «лес рубят — щепки летят», приходится иногда сажать невинных, чтобы не упустить врагов.

«Сталин наша слава боевая, Сталин нашей юности полет!» — пела я с замиранием сердца, шагая в колонне демонстрантов мимо праздничных трибун, где плечом к плечу стояли коренастые партаппаратчики в одинаковых пальто и шляпах. Пела — и мурашки бежали по спине, и восторг



сжимал горло, тот фанатичный верноподданнический восторг на все готового живого винтика (пули?), без которого немислимо тоталитарное государство.

Я была счастлива: мне ни о чем не надо было думать — что хорошо и что плохо, знала за меня Власть, я гордилась этой самой справедливой в мире Властью... и панически боялась ее. Боялась не угодить, совершить позорную ошибку, нанести стране вред, а тогда... А тогда к нашему дому ночью подъедет «черный ворон», и меня увезут в тюрьму. А потом отправят в лагерь, где я окажусь среди таких же, как я, преступников, врагов народа.

Боясь за меня, мои родители научили меня бояться саму. Я знала: ни о чем вокруг нельзя отзываться плохо. Мамину подругу писательницу Екатерину Боронину арестовали потому, что она написала антисоветский рассказ. Я помню этот день: я вернулась из школы и застала мать бледной, расстроенной, не одетой. Она молча курила, сидя на диване в своей комнате.

— Что случилось? Кто-то заболел? — я была напугана, мать всегда выглядела бодрой и подтянутой.

— Катюку арестовали, — негромко сказала мать. — Сколько раз я ее предупреждала! Она всегда была такая... мрачная, вечно все ругала!

Помню: меня поразило, что мама говорит про Екатерину Алексеевну «была»...

Позже выяснилось, что дело было не только в мрачности. Боронина написала и прочитала в Союзе писателей рассказ про мальчика-детдомовца, несчастного, плохо одетого, голодного... А в Советском Союзе не может быть несчастных детей.

Узнав об этом, я поняла, что Боронину арестовали правильно. Мы с мамой сожгли в печке книжки, которые она подарила нам с дарственными надписями. Не знаю, что чувствовала при этом моя мать, мне же казалось, что я выполняю тяжелый, но — долг.

Потом, много лет спустя, я узнала, что моя мать помогала тогда больному мужу Борониной. А через четыре года, отпущенная из лагеря по болезни — умирать, Екатерина Алексеевна приехала к нам. Мужа не было в живых, квартиру заняли. Но все это было уже после смерти Сталина.

Прививку против неосторожной болтовни я получила еще в раннем детстве. Было мне тогда года три-четыре (на дворе стоял 37-й год). Вся страна пела песню с таким припевом: «И смотрит с улыбкою Сталин, советский простой человек». А у меня был любимый котенок Кузя, и однажды, завернув его в шерстяной платок и прижав к груди, я вошла в кухню нашей коммунальной квартиры, где моя мать в окружении соседок варила что-то на примусе.

«И смотрит с улыбкою Кузя, советский простой человек!» — громко пропела я, баюкая котенка.

Все замерли.

— Молчи! — сердито закричала мать. — Как тебе не стыдно?! Это же песня про товарища Сталина! Знаешь, как он обидится, если узнает, что ты поешь ее о каком-то коте?!

Мне стало стыдно, и я громко заплакала. Я не хотела обижать товарища Сталина, я любила его. Чуть позже, едва научившись писать я сочиняла ему послания: «Дарагой товарищ Сталин мне плоха жить куда мне деца?» Это была жалоба на родителей, они изъяли ее у меня и сохранили.

Став старше, я каждый вечер перебирала в уме все, что говорила днем. А потом бежала к матери: «Мама, я сказала в школе, что на улицах грязно, никто не убирает снег. Это не клевета на советскую власть? Меня не посадят? Точно? Ты обещаешь?»

Чаще всего мать меня успокаивала, добавляя, что вообще-то надо быть осторожнее, взвешивать каждое слово. Но однажды. . .

Это было уже на первом курсе Технологического института. Шел последний год жизни Сталина. Только что арестовали «врачей-убийц». По всей стране шло разоблачение пособников-евреев. Я поднималась по лестнице института, раздумывая, как, должно быть, счастлива героиня — Лидия Тимашук, храбрая женщина, схватившая за руки убийц. Издали я услышала громкие, возбужденные голоса. У дверей аудитории спорила наша группа.

— Их всех вышлют! Вот увидите! Евреев вышлют в двадцать четыре часа!

— И правильно, они же вредители!

— И из нашей группы всех вышлют, а что же делать, всех так всех!

Я замедлила шаги.

— Вот только Нинку и Любу Мурину не надо высылать, — заступилась за меня моя лучшая подруга, — все же у них матери русские, и по паспорту они — русские. . .

Я ворвалась в толпу и закричала:

— Да как вы смеете?! Да я. . . Я сейчас же пойду в комитет комсомола! Вы клеветеете на Советский Союз! На партию! Что мы — при Гитлере живем?! Только нацисты преследовали людей за национальность, у нас такого быть не может! Эти врачи — преступники, при чем здесь все еврей?!

Не помню, что я еще кричала, помню только, что все испугались, замолкли, отводили глаза. Ни в какой комитет комсомола я, конечно, не пошла — как ни обожала советскую власть, знала, что доносить стыдно. Зато вечером, очень гордая, похвасталась матери, как дала отпор клеветникам-антисоветчикам. Вот тут моя мать встревожилась по-настоящему, даже побледнела. И долго отчитывала меня за глупость: «Тебя же могут посадить за разжигание национальной розни! Пойми: на такие темы вообще нельзя говорить!» «Да, но они говорили еще хуже, — оправдывалась я. — Они сказали — представляешь? — что у нас могут выслать человека только за то, что он еврей, как в фашистской Германии». «Тихо, — приказала мать и оглянулась на дверь, ведущую в коридор нашей коммуналки. — Чтобы я больше ни слова об этом не слышала! И всё».

Не знаю, что было известно моим родителям о готовящейся депортации евреев — слухи такие ходили, и моя мать, занимающая доволь-

но высокий пост в тогдашнем Союзе писателей, обычно была в курсе всех политических событий. Верила ли она этим слухам? Что думала о судьбе моего отца, еврея, военного журналиста, уволенного в связи с «Ленинградским делом» из Военно-педагогического института, где он готовился защитить диссертацию? Вышедшего по болезни в «запас» в звании подполковника? В дни, когда разыгрывалось «дело врачей», отец был без работы. Понимала ли мать, что ждет его, если Сталин отдаст приказ «наказатъ» евреев так же, как до того «наказали» множество народов: крымских татар, ингушей, калмыков, чеченцев, кабардинцев, балкар, греков, месхетинцев, карачаевцев, черкесов, немцев... Что ждало в этом случае меня? Мать умерла вскоре после разоблачения культа личности, я не успела поговорить с ней об этом.

Но тот разговор на несколько месяцев выбил меня из колеи. Я была смертельно испугана. По улицам я ходила, озираясь, — не крадется ли кто по пятам, выслеживая, не едет ли машина; по ночам ложилась на раскладушку в комнате матери и не могла заснуть, прислушивалась, вздрагивала от каждого звука на улице. Вот у нашей парадной затормозил автомобиль, хлопнула входная дверь. Это за мной! Я вскакивала и бросалась к окну. Нет! Такси. Просто такси. Кое-как я засыпала, но перед этим снова и снова прокручивала в памяти весь прошедший день: с кем виделась, что говорила, о чем, с какой интонацией. Не улыбнулась ли невпопад на комсомольском собрании. Родители видели это и кое-как пытались меня успокаивать, не слишком — чтобы я снова не впала в легкомысленную и смертельно опасную болтливость.

Странно, но тогда мне ни разу не пришло в голову, что все это чудовищно: бояться каждого собственного слова, знать, что за обычную бытовую правду — о ценах в магазине, о печальной судьбе мальчика-сироты, об инвалидах войны, «обрубках», когорых прячут от глаз людей, «чтобы не портить настроение народу», знать, что за эту правду можно лишиться свободы, а то и жизни. Я ни разу не сказала себе, что государство, где люди живут в страхе, где летят живые «щепки», когда с кровью «рубят лес» — не может считаться не только свободным, но вообще не может *быть*; что я живу в огромном концлагере, управляет которым садист. Чувствуя себя подавленной и виноватой, я продолжала испытывать экстаз при слове «Сталин», и когда в марте 1953-го вождь, наконец, умер, горько рыдала перед его портретом, увидев рамку черной лентой. Точнее, все-таки не рыдала, а пыталась зарыдать. Слез почему-то не было, было горделивой чувство причастности к Великой Общей Бедѣ. Были мысли о том, что если бы можно было сейчас отдать за НЕГО жизнь — отдала бы. Но слез — не было. Чувства утраты — не было. И когда в актовом зале нашего института на траурном митинге я слышала чьи-то рыдания, я завидовала. И стыдила себя за то, что не могу плакать.

\* \* \*

Я страдала комплексом неполноценности, не нравилась себе самой и боялась, что произвожу дурное впечатление на окружающих. От этого,

будучи застенчивой, часто вела себя развязно. Странно, казалось бы, — откуда взялся такому комплексу? Я не была уродиной, родители меня любили (хотя хвалили редко), семья наше принадлежала к советскому истеблишменту, жили мы по тем временам вполне обеспеченно. Да, карьера отца была испорчена «Ленинградским делом», да, его родные были репрессированы, но стиль жизни нашего дома, его уровень, его дух всегда определялся общественным положением матери, ее заработками, ее окружением. Мать была известная писательница, второй секретарь писательской организации Ленинграда. На службу она ездила на служебной машине, мы имели дачу в престижном поселке Комарово, в семье постоянно жила прислуга, в гостях бывали разные знаменитости.\* Мать часто брала меня с собой — то в союз писателей на литературные вечера, то в ресторан, куда шла обедать с коллегами, то на премьеру или на просмотр в Дом кино.

В этом мире «взрослых» я чувствовала себя уютно и защищено, отдавая себе отчет в том, что принадлежу к некоему высшему обществу. Я и дружила в основном с сыновьями и дочками писателей, это был мой круг. За его пределами — в школе, институте, а позже на работе, я была чужой. Я ощущала внутренний дискомфорт, общаясь с людьми из этого чужого мира, с моими подругами, родители которых были простыми рабочими — пусть даже инженерами, врачами, учителями. Я не хотела бы постоянно жить в том мире, где говорят на другом языке, где мать моей подруги ходит дома босиком, где совсем другие интересы, ценности, где ведут себя и одеваются иначе, чем у нас. При этом мне казалось, что всем должно быть лестно дружить со мной, и мои подруги должны смотреть на меня снизу вверх. А они относились ко мне слегка снисходительно, больше того, не торопились радостно признать за свою. Для них было, судя по всему, не важно, что я прочла, какие спектакли видела, с кем из писателей и артистов знакома, как часто хожу в Филармонию и что думаю о Хэмингуэе. Гораздо важнее было другое: я не умею одеваться так, как они, не могу сама сшить себе юбку, сделать модную прическу, вымыть пол, сварить обед. А где я могла всему этому научиться, если в семье всегда жили домработницы, одна из которых (в прошлом — моя нянька) до двадцати лет мыла мне голову и мазала бутерброды? Если юбку я заказывала в писательском ателье, а платья мне выбирала мать по своему вкусу, которому я вполне доверяла?

Могла ли я думать и говорить, как они, если жила в семье, куда мать принесла все, к чему привыкла в дореволюционном доме своих родителей? Она воспитывалась в небогатой дворянской семье, дед был провинциальным врачом, бабушка растила троих детей, из которых моя мать была старшей. Мать успела окончить гимназию, знала французский, играла на рояле, танцевала мазурку в первой паре на гимназических балах. В нашу жизнь моя высокопоставленная мать внесла не хамское сов-

---

\*В 1953 году мы переехали из коммунальной квартиры в отдельную. В дом на Марсовом поле, где жила литературная элита: Вера Панова, Юрий Герман, Леонид Рахманов.

барство, в ту, дореволюционную интеллигентность. И романтизм, весьма эклектический: кулич, испеченный к Пасхе домработницей Феней, уживался с партийным билетом матери и бюстом Ленина на книжной полке. Чтение вслух стихов Северянина и Бальмонта — с постоянным цитированием того же Ленина, Сталина и почему-то Калинина. Меня учили с пренебрежением относиться к «тряпкам», объясняли, что жеманиться и кокетничать — мешанство, дурной тон, что к Фене надо проявлять подчеркнутое уважение, потому что «простой народ лучше нас». С особым восторгом рекомендовалось относиться к «пролетариату», т. е. к тем, кто работает на заводе — токарям, слесарям и т. д. После гимназии моя мать поступила на фабрику, в цех, где приобрела размашистую походку, резкий голос, привычку курить и носить красную косынку. И туберкулез. «Красная пролетарка» — и человек, вынужденный в анкете, в графе «происхождение», писать порочащее «из дворян», одаренный литератор с врожденным чувством правды — и коммунистка, отстаивающая партийную «правду», — вот кем была моя мать, честная, смелая, красивая и обаятельная женщина. Все это несомненно повлияло на то, какой выросла я. Я всегда внутренне раздваивалась и постоянно заставляла себя быть не такой, какой была на самом деле; а такой, какой должна быть советская школьница, студентка, инженер. И когда это не получалось, презирала себя за слабость.

Не получив в наследство от матери яркой внешности, я вбила себе в голову, что останусь старой девой. И вышла замуж за первого, кто мне это предложил. Мне тогда только что исполнилось восемнадцать, мы с первым мужем совершенно не подходили друг другу и вскоре расстались. Однако я успела родить ребенка.

Мой сын появился на свет 5 марта 1954 года. Пока в родильной палате Военно-медицинской академии, я чувствовала себя одинокой и несчастной, потому что впервые оказалась не дома, среди чужих, без матери. Кругом безобразно кричали роженицы, вокруг них суетились врачи. Я молчала, изо всех сил впиваясь зубами в руку. Кричать — постыдно! Ведь не кричали же партизаны, когда фашисты загоняли им иголки под ногти! Я все могу выдержать, я не сдамся! И никто не подходил ко мне.

Наконец на меня обратила внимание пожилая акушерка. И ахнула: «Что же ты молчишь, не зовешь доктора? Ведь ты же сейчас родишь!»

Когда все кончилось и молодой врач (такой же дурак, как и я) пожал мне руку, поблагодарив за «стойкость и мужество», когда акушерка поднесла ко мне плавающего ребенка, я хрипло сказала: «Какое несчастье! Он родился пятого марта, в годовщину смерти товарища Сталина. Как же мы будем праздновать день рожденья?»

Акушерка усмехнулась и, склонившись ко мне, прошептала прямо в ухо: «Твой сын родился в самый счастливый для народа день».

Сегодня моя глупость кажется невероятной, но ничего не поделаешь: так было.

Разоблачение «культа» я приняла легко, ни на секунду не усомнившись, что все злодеяния Сталина — правда. Ощущения, следовавшие за этим, можно сравнить с ощущениями человека, с рождения привыкше-

го сидеть в темноте — в тесном ящике, где шея согнута, ноги скрючены, подбородок прижат к коленям. Человек выбрался из ящика, расправил затекшее тело, широко открыл глаза, вздохнул — и только тут впервые понял, насколько ужасным было его положение и какое это счастье — свобода. Думаю, такое чувствовали многие «шестидесятники», мои ровесники.

И все же с мифом о лучшей в мире стране и самой справедливой власти я рассталась не сразу. Для того, чтобы понять, где я живу, потребовалось вторжение в Венгрию, потом — в Чехословакию, аресты инакомыслящих. Дело довершил «самиздат», а за ним и «тамиздат». Одну из первых самиздатских книг, которую я прочла, «От диктатуры пролетариата к диктатуре бюрократии», написали выпускники нашего Технологического института В. Ронкин и С. Хахаев. Это была марксистская книга, говорилось в ней о том, что в государстве, так хорошо задуманном Лениным, диктатуру пролетариата, единственно верную, вытеснила диктатура бюрократии, то есть партаппарата. Книга призывала к восстановлению ленинских норм, но этого было достаточно, чтобы авторов и их друзей, выпускавших журнал «Колокол» и листовки, приговорили к разным срокам строгого режима и отправили в лагерь. Я помню суд над ними, куда не пустили никого из посторонних, помню, что тогда я впервые за всю жизнь была безоговорочно на стороне «антисоветчиков», а не осудившей их власти. Шел шестьдесят пятый год.

Дальше все пошло как при обвале в горах — камень столкнул лавину. В очень короткое время от моих верноподданнических чувств не осталось ничего. Все, что было до того прожито, увидено и понято — теперь стремительно переосмысливалось, вставали в памяти тщательно вытесненные воспоминания детства — жизнь представляла такой, какой была на самом деле. Со дна памяти всплыла далекая зимняя ночь, война, эвакуация. Мы с мамой живем у моего деда, ее отца, в Шарье, маленьком провинциальном городке в Костромской области. С нами тетя Нуся — мамина сестра, ее сын Коля. И другая моя двоюродная сестра, Ирина, дочь сестры отца. Это ее отец расстрелян, а мать в заключении как член семьи изменника Родины — «ЧСИР». Но говорить про это запрещено. И вот — та ночь. И стук в окно. Какой-то железнодорожник принес записку. Мать с тетей Нусей будят Ирину, поспешно собирают какие-то продукты и уходят втроем.

Откуда-то мы потом узнали, что ходили они на вокзал, где на дальних путях стоял поезд с заключенными. Много позже стали известны подробности: тетя Рая, мать Ирины, бросила из окна в снег записку — «доктору Катерли». Деда в Шарье знали все, он работал там много лет, построил больницу и был в этой больнице главным врачом, в каждой семье кто-нибудь у него да лечился. Железнодорожник поднял записку и не побоялся передать ее. Мать рассказывала мне, как они бежали вдоль темного состава, как тащили за руки сонную Ирину, как их пытались остановить конвойные. Они бежали вдоль вагонов, выкрикивая «Рая! Рая! Рая!» И вдруг она отозвалась. И они остановились напротив зарешеченного окна, выдвинув вперед четырнадцатилетнюю Ирину. Ме-

ла вьюга, было темно. «Я не вижу ее, не вижу лица!» — плакала, припав к решетке, тетя Рая. И тогда один из конвойных вдруг подошел к Ирине и молча поднял фонарь над ее головой...

Это было в сорок первом году. Я вспомнила ту ночь в шестьдесят пятом.

Потом были Солженицын и Оруэлл, Авторханов и Конквист. И «Процесс заключения» Лидии Чуковской, и «Иванькиада» Войновича. «Архипелаг ГУЛАГ» я прочла в секретном, Первом отделе «почтового ящика» — оборонного института, где тогда работала, сидела в запертой (от шпионов) комнате и делала вид, что изучаю секретные документы. Это было самое надежное место для чтения антисоветчины. Оно охранялось КГБ. Тогда я уже знала — с кем я. И против кого — знала тоже. Эйфория хрущевской оттепели кончилась, было ясно, что тоталитаризм никуда не ушел вместе со Сталиным, Сталин умер, но дело его живет, и парталпарат, крепко зажав в руке свой «карающий меч» — КГБ, по-прежнему жестоко расправляется с любым инакомыслием. Я понимала это, но — странно — уже не боялась. Страх исчез, как только я осознала, что люди, которых преследует режим, — не преступники, а герои. Преступники — те, кто арестовывает, допрашивает, судит неправедным судом, кто мучает в лагерях. Их я ненавидела и презирала, а бояться того, кого презираешь, нельзя. Так меня научили в школе. Ведь герои молчали, когда нацисты загоняли им иголки под ногти... Теперь я гордо читала запрещенные книги, посылала письма друзьям в Мордовский лагерь, старалась помочь их семьям, ходила на политические процессы и подписывала протесты. Все, что было во мне искорежено, поставлено системой с ног на голову, — принимало естественное положение. Кроме одного: я по-прежнему следовала идеологическим принципам, просто изменилась идеология. Должно было пройти какое-то время, прежде чем главными для меня стали не идеологические, а нормальные, человеческие ценности.

Я жила простой, обыденной жизнью. После развода вышла замуж за своего однокурсника, у нас родилась дочь. Я работала инженером-химиком в лаборатории научно-исследовательского института и начинала писать прозу, о чем не подозревал никто, кроме мужа и близких друзей — я считала, что вообще-то дети литераторов не должны заниматься литературным трудом. Все они, как правило, бездарны (природа отдыхает на детях гениев), но почему-то воображают себя талантами — так мне с детства твердили родители, не желавшие, чтобы я пошла по их стопам. Это была в те времена слишком опасная и, добавлю, часто грязная дорога. Я работала инженером и тайком от отца (матери уже не было в живых) сочиняла рассказы.

С чего это началось? Для чего это было нужно?

На этот вопрос я могу ответить твердо: поначалу только для самовыражения. И, в какой-то степени, для самоутверждения: пусть я плохой инженер, зато умею сочинять. Неважно, что публиковать меня не будут, это естественно — ведь я пишу только правду, пишу для себя, а не для н и х.

Мне было уже за тридцать, и я, от природы инфантильная, начинала взрослеть душой. До того я жила в основном эмоциями, теперь принялась размышлять, открывая для себя общеизвестные истины, которые раньше воспринимала только как нудные нравоучения старших, взятые ими из книг. Я вдруг поняла, что хороший человек счастливее плохого, что лгать нельзя потому, что это невыносимо тяжело, что совесть — не просто слово, а реальная вещь, и она есть у каждого, и т. д. и т. п. Мне хотелось говорить о своих открытиях, но произнесенные вслух, они звучали банально. И тогда я начала писать притчи, где любая мысль может быть преподнесена так, что не выглядит скучным морализированием. Начиная каждый рассказ, я ставила перед собой какой-нибудь вопрос, на который сама еще не знала ответа. И к концу находила его. Это не было трудом, я могла сидеть за письменным столом ночи напролет, чтобы утром встать ни свет ни заря и через весь город ехать на работу в институт.

Работу химика я старалась выполнять добросовестно, считая, что быть плохим работником стыдно. Но, Боже, как это было тоскливо и неинтересно! Технические способности отсутствовали у меня абсолютно, я знала, что ошиблась в выборе профессии, что я никомушний инженер. Оставалось делать все, чтобы этого не заметили другие, тем более, что начальство меня почему-то хвалило. Самыми счастливыми днями для меня тогда были дни, когда я, заболев, могла остаться дома.

Долгое время все это усугублялось еще и тем, что на работе меня окружали люди, с которыми я не могла найти ни одной точки соприкосновения, мне даже разговаривать с ними было трудно. Наш институт был секретным, «почтовым ящиком», куда принимали по анкете, предпочитая выходцев из рабочих или крестьянских семей. Таких, где никто никогда не был репрессирован, не попадал в плен, не жил в оккупации. Особое внимание уделялось «пятому пункту» анкеты — национальности. При таком отборе трудно создать коллектив блестящих интеллектуалов, я почувствовала это, едва переступив порог лаборатории. Меня в этот институт приняли по протекции: подчиненный мужа позвонил своему приятелю, тот — своему знакомому. И отдел кадров закрыл глаза на то, что мой отец — еврей, тем более что в паспорте я была записана по матери, русской.

Каждое утро, явившись на работу, я «надевала маску», переставая быть самой собой. Я не притворялась, не говорила того, чего не думала, не кивала, если была не согласна. Просто, как в детстве и юности, строго контролировала каждое свое слово, понимая, что чрезмерная искренность может вызвать неприязнь, а то и ссору, отторжение. Одновременно я училась быть терпимой, обходить «острые углы», всматривалась в тех, кто был рядом, стараясь понять их. Раньше я мало сталкивалась с такими людьми, смотрела на них свысока.

И мне было интересно. А высокомерие таяло день отс дня. Да, тех, кто окружал меня, нельзя было назвать интеллигенцией, это были, по определению Солженицына, скорее «образованцы», интеллигенты в первом поколении. Но как стремились многие из них стать настоящими интеллигентами! Как старательно изучали книжные новинки, рекомендованные



официальной печатью, как тщательно собирали домашние библиотеки, как доверчиво относились к официальной пропаганде! Никаких диссидентских разговоров в нашей лаборатории я не слышала никогда, а потому ни с кем не делилась своими политическими взглядами. Но было в моих сослуживцах и то, что вызывало у меня уважение, а порой и зависть: приспособленность к житейским тяготам, трудолюбие, упорство, с каким они строили свою жизнь. Те азы культуры, которые я, не шевельнув пальцем, впитала, что называется с молоком матери, они постигали трудом, а потому их знания были прочнее и глубже. Но... художественные вкусы их все равно казались мне примитивными, речь — полуграмотной, манеры — неуклюжими, искусственными. А политические убеждения — ортодоксальными. Проработав в институте почти семнадцать лет, я так и не приобрела там близких друзей, хотя отношения постепенно стали теплыми. Мы разговаривали о том, что было интересно всем — о детях, о бытовых трудностях, о мужьях (работали у нас в основном женщины), о свекровях и возлюбленных. Мы, как умели, помогали друг другу. Никто из моих высокоинтеллектуальных друзей и литературных коллег никогда не бросался мне на помощь с такой готовностью, с какой это делали мои сослуживцы. Талантов среди нас не было, работали мы все довольно плохо и сами это понимали. Действовал советский принцип: «Вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем». Тем не менее мой портрет постоянно висел на Доске почета, но я-то знала этому цену.

Чтобы хоть за что-то себя уважать, я решила защитить диссертацию. А для начала взялась за философию, готовясь к кандидатскому экзамену. Мне это было легко — любая гуманитарная наука всегда казалась интереснее постылой техники. Гегель и Кант заставили меня задуматься о том, что материалистическая убежденность, будто мир изначально познаваем, а человек — высший разум во Вселенной, что этот постулат — чушь. Не буду описывать эволюцию моего сознания, радостно устремившегося прочь от советского материализма, скажу только, что очень скоро мои философские изыскания привели к вере в Бога.

Между тем, с того же 1975 года я начала регулярно публиковать свои рассказы. Поначалу это было трудно — аполитичность того, что я писала, нацеленность на «вечные темы» и подчеркнутое равнодушие к Великим Свершениям пугали и отталкивали редакторов журналов. И все же меня, озираясь, публиковали — такой уж откровенной антисоветчины, того, что принято было называть очернительством, в моих рассказах не и повестях было, вроде, тоже. Писать было легко — я рассказывала о том, чем живу, что чувствую, чего боюсь и что осуждаю. А жила я уже в мире так называемых общечеловеческих ценностей. Мои политические взгляды к этому времени сформировались окончательно, но заниматься политикой я не хотела. Помочь тем, кто в беде — дело святое, а бороться — нет! Не в этом я видела свое назначение. Я — литератор, мое дело — писать, считала я. Кроме того, я женщина, мое дело — жить так, чтобы тем, кто рядом, было тепло и светло. Даже если вокруг холод и мрак, даже если кругом ложь. В моей семье не будет лжи, не будет страха, как не будет их и в том, что я пишу.

В то время знакомые и друзья часто спрашивали меня, зачем я так откровенно высказываю при детях свое отношение к режиму.

— Вы же делаете из них антисоветчиков! Им будет трудно жить. И опасно, — как-то укорила меня одна родственница. Но я-то знала твердо — нет ничего труднее и опаснее, чем ложь, а ложь между близкими людьми опаснее во сто крат.

В 1976 году я по совету мужа ушла из института, чтобы заниматься только литературой. Родственники были в ужасе: «На что вы будете жить? Еще неизвестно, сумеешь ли ты как следует зарабатывать своими публикациями, а сейчас у тебя в руках верный кусок хлеба!» Я заколебалась, но муж был тверд. «У тебя есть талант», — твердил он.

Я не была уверена, что у меня действительно есть талант, но знала другое: сочинять рассказы — удовольствие, а работа инженером — мука. И я с восторгом согласилась.

В 1981 году моя повесть «Треугольник Барсукова» была напечатана в альманахе «Глагол» издательства «Ардис», США. Я тогда только что выпустила первую книгу «Окно» и собиралась вступать в Союз писателей. Это давало социальный статус — «настоящим писателем» считался только член Союза. При рассмотрении «приемного дела» комиссия учитывала не только качество написанного, но и лояльность к режиму. Помню, я сказала как-то Вениамину Александровичу Каверину, рекомендовавшему меня в Союз писателей: «Зачем мне вступать туда, откуда скоро выйдут все порядочные люди?» Каверин был человеком в самой высокой степени порядочным и смелым, но он улыбнулся и ответил: «Для того, чтобы выйти откуда-то, надо сначала туда войти». Каверин написал мне рекомендацию, я отнесла ее в Союз писателей и стала ждать — процесс приема обычно тянулся долгие месяцы.

Я готовилась стать членом Союза писателей, а пока принимала поздравления тех, кто прочитал мою первую книжку. Постепенно я все меньше общалась со своими прежними друзьями, «непечатными» литераторами, я была занята, у меня теперь появились другие заботы: то обсуждение моих рассказов все в том же Союзе писателей, то встреча с кем-то из писательского начальства, то внезапное и лестное приглашение в гости, в дом, куда меня раньше не звали. Меня признали за н а с т о я щ е г о писателя, мною интересовались, и это было приятно. Но было и что-то настораживающее: среди моих знакомых появились люди, которых я за писателей не считала, — бездарности, функционеры от литературы. Зачем я им была нужна? Почему именно от них чаще всего слышала приглашения поскорее вступить в Союз?

«Они тебя покупают! — возмущались пронизательные друзья. — У тебя есть дар, у тебя репутация честного человека, ты выпустила хорошую книгу, вот теперь тебя примут в Союз, и на Западе скажут: это неправда, что у них там не может пробиться ни один талант. Ты работаешь на н и х, на Систему». «Не купят, — думала я, — вот напечатают в Америке повесть, и все встанет на свои места».

Из «Ардиса» не было никаких известий, и я уже решила, что публикация не состоится. Может, это и к лучшему, напечатаю здесь еще

что-нибудь, вступлю, глядишь, в Союз, и тогда стану менее уязвимой и беззащитной.

Это случилось душевной летней ночью. Помню, я долго не могла заснуть из-за жары. Сперва читала, потом просто лежала, глядя в потолок. И уже собралась потушить свет, когда муж, слушавший «Голос Америки», буднично сказал мне, что через пять минут будет передан обзор очередного номера альманаха «Глагол», где напечатана моя повесть.

Сквозь шум «глушилок» слушала я отрывки из своей повести, слушала лестный комментарий Алексея Лосева. И понимала: завтра для меня начнется совсем другая жизнь. Дружба с официальными лицами кончена. С надеждами на членство в Союзе писателей придется проститься. Я понимала это и... испытывала облегчение. Как когда-то, в шестидесятые годы, прощаясь с любовью к Сталину. Оказалось, что за короткий период своих успехов в качестве молодого советского писателя я уже успела опять деформироваться внутренне, а вот теперь могу распрямиться снова. «Бог послал мне эту публикацию именно сейчас, — рассуждала я, — теперь уж никто из н и ж, из тех, кто набивался в друзья, сам не захочет дружбы со мной. Все».

Наутро последовали панические звонки из Союза писателей — мне советовали немедленно пойти в КГБ, покаяться и заверить, что повесть напечатана в «Глаголе» против моего желания. Потом позвонил автор очередной хвалебной рецензии, принятой к публикации в журнале «Звезда» — рецензию спешно отклонили, так как в редакцию журнала сразу же после передачи «Голоса Америки» явились три писателя с блокнотами, где передача эта была тщательно законспектирована, явились предупредить — положительные рецензии на книжку антисоветчицы скомпрометируют журнал. Кто были эти три бдительных товарища, мне не сказали, да я и не интересовалась.

Были еще звонки — от друзей, с поздравлениями. И снова из Союза: сходила ли я уже в «Большой дом»? Когда пойду? Понимаю ли, что в Союз писателей меня теперь, скорее всего, принять не удастся? Я понимала, но в КГБ, само собой, не пошла. Через некоторое время меня официально пригласили к руководству Ленинградской писательской организации. Мне было предложено написать в «Литературную газету» письмо — протест против издания «Треугольника Барсукова» в Америке. Я отказалась, и вопрос с моим приемом был снят с повестки дня.

Настроение у меня было прекрасное, хотя дела шли не блестяще — в Ленинграде меня перестали печатать начисто. Но это не пугало, я с большим вдохновением и чувством внутренней свободы писала новые вещи. Одна из них, повесть «Червец», пошла в «самиздат».

И вот жарким (снова жарким!) июньским днем 1982 года у меня в квартире зазвонил телефон. Я услышала голос, очень похожий на голос одного из моих друзей: «Здравствуйте. Говорят из Комитета Государственной безопасности. Нам необходимо с вами встретиться. Срочно».

Я помнила, что в таких случаях полагается требовать официальную повестку, но... уж больно знакомый голос. Это розыгрыш! — решила я и игриво ответила: «Привет! А где мы встретимся?» — «Приходите

в кафе „Гном“ на Литейном», — сказали на том конце провода. «Еще чего! Там жарко и никогда нет мест, — заупрямилась я, уже уверенная, что говорю со своим приятелем. — А если уж вам так захотелось меня видеть, то лучше в Летнем саду. У пруда. Только как я вас узнаю (подмигнула я сама себе), я ведь никогда не видела живого гебешника?» Возникла пауза. Потом мой приятель медленно произнес: «Не волнуйтесь, я вас сам узнаю. Сам. Буду в Летнем саду через полчаса». Пока я шла от дома до Летнего сада, моя убежденность в том, что все это шутка, несколько поколебалась. Уж больно глупый был розыгрыш. А с другой стороны, для чего это я именно сейчас понадобилась комитетчикам? Так или иначе, я шла на свидание, испытывая острое любопытство. Если это, и верно, гебешник, то какой он, что ему нужно? Я очень внимательно прислушалась к собственным ощущениям: не боюсь ли? Нет, вроде не боюсь. Волнуюсь, но не боюсь. Ведь посадить меня они не могут, за публикации на Западе уже не сажают, а больше не за что. Ну, пригрозит, что никогда не примут в Союз, что вовсе не будут печатать... И — что? Сколько талантливых, порядочных людей не печатается и — ничего. Кроме любопытства, я чувствовала еще и некоторую гордость — мною заинтересовались «органы», это было чем-то вроде свидетельства моей значительности. Медалью «За отвагу». Однако чтобы владеть медалью по заслугам, следовало при встрече вести себя достойно — не струсить, не наболтать лишнего... Впрочем, скорее всего, это все же розыгрыш, и сейчас я увижу приятеля, который ехидно скажет: «Ага, прибежала!»

Но это был не приятель. В Летнем саду ко мне подошел молодой человек с аккуратными усиками. Одет он был в элегантный белый костюм, а я, хотя и знала прекрасно, что он и ходят в штатском, все-таки ожидала увидеть офицерский китель, погоны с синими просветами. Он приблизился ко мне с улыбкой, точно мы знакомы лет сто.

«Опознал. По фотокарточке», — мелькнуло у меня в голове. Мгновенно вспомнив все, что я читала о правилах поведения, рекомендуемых в подобных ситуациях, я строго попросила молодого человека предъявить документы. Он тут же, точно наготове держал, протянул мне какое-то удостоверение, и я прочла: «Коршунов Павел Николаевич». «А должность? — настаивала я. — И звание». «Начальник отделения. Капитан», — ответил он без запинки.

Потом мы бродили по аллеям, и я вела себя так, чтобы не стыдно было рассказывать знакомым. Запоминала его вопросы и свои ответы. И все время мысленно представляла себе, как, сидя за рюмкой водки где-нибудь в гостях, на кухне, в лицах изображаю наш разговор. А протекал он точно так, как это было описано в десятках самиздатских и тамиздатских книг. Сперва речь шла о том, — как это так случилось, что рукопись моей повести «Треугольник Барсукова» оказалась на Западе. «Это у вас надо спросить, как туда попадают наши рукописи», — бойко сказала я и внутренне передернулась от развязности собственного тона. Это был тон «напоказ», не для себя и не для собеседника, а для тех моих будущих слушателей, которым я уже сегодня вечером буду хвастаться своей

невероятной храбростью. И дерзостью. А ведь дерзят, когда боятся... Коршунов промолчал. Видно было, что не поверил, но допытываться не считает нужным, его, похоже, интересует что-то другое. Этим другим оказалась моя новая повесть «Червец», та, что передавали из рук в руки знакомые и знакомые знакомых. «Как попала ваша рукопись Инге Л.?» — спросил он. Я слышала: Ингу допросили по этому поводу, но что именно отвечала она на допросе? Я знала только, что Инга не отрицала: повесть «Червец» она прочла. Как попала к ней рукопись, мне также было известно: ей дали ее почитать мои легкомысленные друзья, не спросив у меня разрешения. Что ответить? «Заложить» друзей, подставивших меня под удар? Немыслимо. Вообще отказаться от разговора? Нахамить? Дескать, презираю тебя, сатрап, не скажу ни слова, хоть пытай. Глупо, не тот повод. И я сказала, что сама дала Инге рукопись: «Дала. А что? Разве я не имею права давать свои рукописи кому угодно? Я, что же, должна закончить повесть — и сразу к вам, на проверку? Вы юрист, вот и объясните мне, имеет автор право показывать людям свои рукописи или нет?»

«Это зависит от того, есть ли там... „клубничка“, — ответил чеккист. «Клубничка?! Но... я не пишу ничего т а к о г о... Вы что?!» «Антисоветчина», — пояснил он. «И антисоветчины не пишу. Хотя вы, конечно, можете счесть антисоветчиной что угодно... А вообще — что такое антисоветчина?» «А вот это решает суд», — опять улыбнулся Коршунов.

«Не верь, не проси и не бойся», — напомнила я себе и посуровела. Все шло по плану. Он меня пугает. Сейчас начнет льстить.

И, действительно, следующие несколько минут мне рассказывали, какую, оказывается, великую ценность имеет государство в моем лице: «Вас знают и уважают даже за границей. Вами интересовался сам Бетакки. Кстати, вы с ним не знакомы?» «Нет», — сказала я чистую правду. Пока Павел Николаевич сетовал на трусость руководства нашей писательской организации: «Они ни за что вас не примут, если узнают, что мы вами интересуемся», я обдумывала, что будет дальше. А дальше меня, видимо, попытаются вербовать...

Так оно и вышло. Объяснив, что главная задача госбезопасности сегодня не карать, а предотвращать преступления, Павел Николаевич пожаловался: порядочные люди из ложно понятых... категорий с ними дела иметь не хотят, а непорядочные могут принести только вред. Между тем, многие попадают в беду просто потому, что не ведают, что творят. А остановить их некому. И если бы в КГБ знали об их намерениях заранее, можно было бы принять меры, поговорить, объяснить — и человека потом не пришлось бы сажать за решетку, такая помощь Комитету — доброе дело, и если бы...

Я остановилась у ближайшего дерева, мимо которого мы проходили, постучала по стволу и многозначительно взглянула на своего собеседника. «Ну что вы! — обиделся он. — Да разве я стал бы предлагать в а м — такое?! Я ведь вижу, с кем имею дело. Вы Нина Семеновна, — борец... Нет, нет я — в хоршем смысле».

Закончилась наша прогулка его просьбой — никому не рассказывать о нашем разговоре. По простой причине: «Вас не примут в Союз писателей, побоятся». Но я твердо сказала, что не могу иметь секретов от организации, куда собираюсь вступать, завтра же пойду туда и обо всем доложу. И мужу, я от него ничего не скрываю. А также всем друзьям. А как же! Они должны знать. А вдруг они не захотят со мной общаться после того, как я прогуливалась с сотрудником КГБ. Я смотрела на него взглядом прямодушной идиотки, и, вздохнув, Павел Николаевич поинтересовался, что я почувствовала, когда поняла, к т о собирается со мной беседовать. «Любопытство, — честно призналась я и, увидев на его лице разочарование, спросила: — А вы бы хотели, чтобы я испугалась? Зачем вам нужно, чтобы вас боялись?» «Ну... А как же тогда работать, если не будут бояться?..»

Домой я шла очень гордая. Теперь и я не хуже других, можно сказать — побывала на допросе... хоть это, конечно, был и не совсем допрос. Коршунов назвал нашу беседу «профилактикой». Но все же я прошла некоторые испытания — и не испугалась, молодец.

Потом я не раз еще встречалась с работниками этого ведомства, была и на настоящем допросе — все как положено, с повесткой и протоколом, с решетками на окнах в кабинете следователя. А с Коршуновым я виделась еще несколько раз, уже зная, что настоящая фамилия его не Коршунов, а Кошелев, и не Павел он Николаевич, а наоборот Константинович. В Союз писателей, правда, меня после встречи с ним в самом деле не приняли, но, думаю, причина, как он и предсказал, была не только в нем, но и в трусости литературных руководителей.

Когда я теперь говорю, что тогда, в начале восьмидесятых, не боялась КГБ, мне не верят: как это так, они — мощная организация, высокие профессионалы, в пыль тебя могли растереть, если бы захотели, да с ними и разговаривать-то опасно — видят насквозь, все про тебя знают заранее, а после разговора могут каждую фразу проанализировать, тако-о-о-е раскопать... Это же целая машина. Бездушная, жестокая, компетентная. А ты воображаешь, что можешь их «переиграть»? Наивно и глупо! А что страха не было, это все твои выдумки. Тоже еще — героиня нашлась!

Я не возражаю, смешно возражать. А только не было, ну не было у меня тогда ощущения, что имею дело с чем-то inferнальным, с каким-то суперразумом. Передо мной были не слишком интеллигентные и не слишком умные люди, обыкновенные «совки» со всеми их милыми качествами, в том числе — разгильдяйством, стремлением сделать дела на копейку, а отчитаться начальникам — на рубль. Конечно, если бы захотели, они могли бы испортить мне жизнь, такими возможностями они располагали безусловно, но я-то чувствовала, что не нужна им, не сделала ничего такого, за что сегодня принято, стоит сажать... А кроме тюрьмы, я ничего не боялась, и в этом было мое преимущество, я видела — те, кто меня допрашивают, мысли не могут допустить: как это кто-то может не бояться, что перестанут печатать, не примут в заветный Союз писателей, да мало ли гадостей можно наделать (и делалось!) человеку, и не сажая в тюрьму? Только мне на все их гадости было наплевать, вот в

чем дело. «Захотят — посадят и сегодня», — говорили друзья. «Не станут связываться, — возражала я, — зачем я им? Женщина, двое детей, какая-никакая писательница, кое-кто меня уже знает. . . Не пойдут они на скандал, не то время. Конечно бывают исключения, но в порядке исключения можно ведь и под машину попасть, шансов даже больше. Так что же — сидеть и трястись при мысли об авткатастрофах?»

Скажу сразу: я боюсь ночевать одна в пустой квартире, боюсь ходить поздно вечером по улице, боюсь, если кто-то из домашних без предупреждения задерживается на работе. Чем старше становлюсь, тем больше боюсь потерь, старости, конца. Верующий человек не должен, как будто, бояться смерти, ведь существует загробная жизнь. Но. . . а если все-таки. . . если все-таки. . . если т а м — черная пустота? И перспектива оказаться в тюрьме, меня, естественно, пугает и всегда пугала. Другое дело, что я не испытывала мистического страха перед КГБ, того страха, которым по сей день заражена довольно значительная часть нашей интеллигенции. При Сталине — испытывала, но то был не столько страх перед всемогущими «органами», сколько боязнь возможности стать по недомыслию врагом обожаемой власти, то есть — оказаться *плохой*. Изменилась ситуация, изменилось отношение к власти, пропал и страх.

. . . Меня не печатали. Не то, чтобы с отвращением отвергали мои рукописи, просто откладывали и откладывали публикации, объясняя это разными объективными причинами. Я все понимала и была спокойна — таковы были «условия игры». В конце концов в 1983 году В.А. Каверин написал свирепое письмо в Секретариат, расценив как личное оскорбление то, что меня не принимают в Союз писателей. И меня туда приняли!

Вскоре появилась в журнале «Нева» моя повесть «Полина», и ее тут же в докладе на партийном пленуме осудил тогдашний секретарь обкома КПСС Соловьев, заявив, что народ не зря не принимает таких сочинений, как эта повесть и рассказы ленинградского прозаика Дмитрия Притулы. Все это было смешно, нас с Притулой дразнили: новые Ахматова и Зощенко. Но и Соловьев был — не Жданов, и последствия — не «культовские», да и мы с Притулой, естественно, не претендовали на столь лестное сравнение.

Да, время было далеко не то, что раньше. Меня начали печатать, издательство «Советский писатель» готовило к публикации мою вторую книгу. И вот тут я, к стыду своему, в первый раз пошла на компромисс с самой собой. Главный редактор возражал против включения в сборник нескольких рассказов, мотивируя это их недостаточным высоким литературным качеством. Не знаю до сих пор, что было истинной причиной — то, что они действительно ему не нравились, или подспудным, чисто редакторским, советским чутьем: «не то» — рассказы были мрачные. Мне очень хотелось издать эту книгу — ради вошедшей туда повести «Полина», обруганной кандидатом в члены Политбюро. И я согласилась изъять эти рассказы, а у рассказа «ЫРвщ» (одного из лучших, я считаю, моих рассказов) — безнадежно испортить концовку. Смысл рассказа, как я поняла потом, прочтя его в уже выпущенной книге, был практически уничтожен. Но и это еще не все. После изъятий в книге осталось место,

нужно было чем-то заполнить договорный объем, и я взялась поспешно сочинять новую повесть. Называется она «Цветные открытки», и перечитывать ее мне теперь неловко.

Нет, там не содержится никаких спекуляций, вранья или попыток подладиться под требования литературного начальства, просто это — довольно серенькая проза.

Повесть вышла. Большого успеха она не имела — и совершенно справедливо. Зато «Полину» все еще обсуждали, одни хвалили, другие яростно ругали. Я получала письма от разгневанных читательниц, которые обвиняли меня в том, что моя героиня, советская женщина — инженер! — безнравственна, меняет любовников, любит выпить, а я ее за это не осуждаю, напротив, явно сочувствую. Появилась и грозная рецензия в военной газете «Красная звезда»: в одном абзаце я упомянула, что бывший муж Полины, офицер, был «серым, как валенок». Сказано это было не в авторском тексте, а от лица другой героини, кстати, отрицательной. Тем не менее газета обвиняла меня в клевете на Советскую Армию, которая спасла мир от фашизма и сейчас денно и нощно защищает меня от врагов.

Помню, как-то я\*выступала перед читателями на одном заводе. В зале были преимущественно женщины, и дело чуть не дошло до драки: часть зала заступалась за мою Полину, говоря, что я написала правду: «Все мы такие». Оппонентки, буквально заходясь от негодования, кричали, что все ложь вообще — лучше умереть, чем пить водку, спать с одним, а жить вместе — с другим, который, к тому же, — «тьфу, какая гадость!» — импотент. Писать о таком — неприлично! Мне давали понять, что я сама, небось, вроде моей Полины. Все это было, в общем, смешно. И поучительно: ведь и согласные со мной, и разгневанные дамы были мои читатели, мои соотечественницы, мои героини.

Книга, куда вошли «Полина», несколько рассказов и неудачная повесть «Цветные открытки», вышла уже при перестройке, в 1986 г. Но готовилась она, как у нас всегда бывает, долго. Буквально перед самым ее выходом меня попросили изъять новый рассказ («Солнце за стеклом»), где главный герой, старый рабочий, впервые в жизни пришел в ресторан, напился там и ночью умер от инфаркта. Рассказ был как рассказ, по-моему, неплохой. Но... начиналась горбачевско-лигачевская кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом, и главный редактор счел, что печатать рассказ о пьяном рабочем — немисливо. Напрасно мы с моим редактором убеждали его: рассказ — *против* пьянства, ведь герой же от этого умер! — главный был непреклонен. Боремся с этим явлением — значит, его не должно быть. Нигде. В книге — в том числе. Все мои протесты были безрезультатными. Заменить этот рассказ на другой — «Старушка, не спеша...» — не удалось тоже. Там содержался иной криминал, пострашнее — старушка была еврейкой. Или, на языке тогдашних номенклатурщиков, — «лицом еврейской национальности», а это еще хуже, чем пьяница. О евреях писать не рекомендовалось — так же, как об алкоголиках, наркоманах и проститутках. Правда, существовал особый вид пропагандистской литературы, где этой национальности



уделялось чрезвычайно большое внимание. Но то была специальная — «антиссионистская» — литература, выпускаемая партийными издательствами. К началу 1985 года таких книг, легально проповедовавших антисемитизм, было выпущено огромное количество — кто-то посчитал, что вышло их примерно девять миллионов экземпляров, намного больше, чем евреев в Советском Союзе. Но мой рассказ про старушку к этому жанру не принадлежал. . .

Борьба с пьянством этим не ограничилась. Вскоре от меня потребовали, чтобы из «Полины» были изъяты все сцены, где моя героиня пьет спиртное. Кое-где я заменила водку на водопроводную воду, какие-то эпизоды пришлось убрать вовсе. Это портило повесть, и следовало бы проявить стойкость и пойти на конфликт с издательством. . . Но тогда книга бы не вышла. А это нанесло бы ущерб и мне, и издательству тоже. А главное, мне ведь не приказывали, меня просили, просили по-человечески: сегодня э т о нельзя, запрещено. Поймите нас! Мы бы и сами рады оставить все как есть, мы вам сочувствуем, но. . . нас же с работы уволят! Не губите! Вы же знаете, г д е мы живем. . .

И я, что называется, вошла в положение. Ведь в издательстве работали люди, которых я давно и хорошо знала, они прекрасно ко мне относились; в отличие от меня, они — на службе. . . и т. д. и т. п.

Способность «входить в положение» — отличительная черта «совка». Мы готовы понять (чтобы простить) кого угодно, особенно государственного служащего любого уровня — от хамки-продащицы до Генерального секретаря ЦК КПСС. Эта особенность нашего характера сохранилась до сих пор. Да, продащица грубит, но она — одна, а нас — много, она устала, мало зарабатывает. . . Ворует? Что же. . . На зарплату — не прожить. И вообще — стоит ли связываться? Потратишь время и нервы, а толку не добьешься, продащица может взять и уйти, оставив тебя на растерзание разъяренной очереди, которая уже «вошла в положение». Хамит чиновник в какой-нибудь конторе — мы опять стремимся его оправдать, тем более, что он объясняет: разрываемся тут от ответственности, персонала нет, платят гроши. . . Вы же к нам работать не пойдете?! И мы соглашаемся: не пойдём. А раз так, и жаловаться не стоит. . .

Забегая вперед, скажу, что книга (она так и называлась «Цветные открытки») также успеха не имела. Из-за одноименной повести. Но мне это было безразлично. Я к ней охладела. Законченные вещи мне всегда надоедали, я не могла заставить себя прочесть выпущенную книгу. Это, скорее всего, один из моих недостатков, относящихся не только к литературе, но и к людям. «Для женщины прошлого нет» — написал Иван Бунин.

\* \* \*

Я всю жизнь увлекалась: собственными сочинениями, пока они в работе, разными людьми — пока я их не «приручила», и они не становились близкими друзьями. Я буквально влюблялась в людей — независимо от их пола и возраста — и проявляла невероятную активность, чтобы добиться взаимности. При этом я, что называется, вдохновенно «лезла в

душу», так как именно в ней мне хотелось разобраться, разгадать все тайны. Думаю, многих это тяготило. Один объект моей внезапной привязанности так и сказал: «Ты меня рассматриваешь, как инфузорию на предметном стекле микроскопа. Это довольно неприятно». Он был совершенно прав.

Стараясь завоевать любовь и доверие, я в такие периоды буквально разрывалась от желания облагодетельствовать свою жертву. Любое желание тут же исполнялось, у меня появлялись исключительная энергия и изобретательность. И вот — человек завоеван, он уже смотрит на меня с восторгом и надеждой — у него появился Друг, каких не бывало в жизни. И он верит, что это навсегда. Он готов, не просто готов — хочет раскрывать передо мной душу, обсуждать каждый свой шаг, каждую мысль, это стало потребностью... И вот тут... мне становится неинтересно, выясняется, что у меня — масса дел: близкие, старые друзья брошены, домашние нуждаются в любви и внимании — какой стыд, что я, увлеченная очередным «исследованием», столько времени их всем обделяла! Я радостно возвращалась в свой обычный мир, а человек, прирученный мной и внезапно оставленный, испытывал недоумение, горечь, а потом и злость.

Таких историй было множество. Причина тут, я думаю, не только в исследовательском интересе к чужим характерам, но и в пионерском стремлении к подвигу. Подвиги среди родных и друзей невозможны. Какой же это подвиг — дежурить у постели собственной бабушки? Это не подвиг, это обязанность. Вот если бабушка — чужая, а ты ночей не спишь, бескорыстно убиваешься в попечениях и заботах, из-под земли достаешь редкие лекарства — тут другое дело! Тут есть чем гордиться, есть за что себя уважать и получать восторженные комплименты.

Об этом своем недостатке, который долгое время считала достоинством, я, однажды прозрев, написала очередной рассказ-притчу. И прекратила эксперименты на живых людях. Жить стало скучнее, зато совесть — чище.

Но тяга к авантюрам оставалась. «Свинья грязи найдет» — эту половицу сказал мне однажды врач-психоаналитик, пытаясь доказать, что я, с одной стороны, все же хороший человек, а с другой — что не успокоюсь, буду искать занятие, будоражащее нервы и дающее возможность рисковать — одним словом, новую «игру».

Я «нашла грязь» в политической деятельности, которой всегда сторичилась — диссидентские дела не в счет, у меня они характера деятельности никогда не носили, просто я старалась делать то, что считала нужным и должным. И только. Деятельность началась позже, с началом перестройки, и тут мне придется выйти за временные рамки этого повествования, чтобы рассказать одну забавную историю.

В политические игры после 1985 года бросились очертя голову многие мои сверстники — «шестидесятники». Не удивительно — эта сфера всегда отсутствовала в нашей жизни. В шестидесятые только забрезжило что-то и тут же было отнято. Возможности открыто влиять на жизнь в стране мы не имели. А если и пытались, то это была не по-

литическая, а антисоветская, т. е. уголовно наказуемая деятельность. Мы всегда в той или иной степени были подпольными людьми, даже самые из нас благополучные — если, конечно, сохранили порядочность. С началом перестройки появилась восхитительная возможность громко говорить правду. Сперва — не всю и не обо всем, но чем дальше, тем больше. У многих закружилась голова, началось что-то вроде «кессонной болезни». Мы говорили — и нас слушали! Я постоянно выступала на митингах, бесчисленных собраниях демократов, в печати, по радио и телевидению. Дух захватывало, когда произносила гневные слова о КГБ, требовала отменить шестую статью конституции (о правящей роли КПСС), клеймила другую, семидесятую статью Уголовного кодекса, по которой сажали инакомыслящих.

Кончилось это тем, что меня избрали в новый, демократический Секретариат Союза писателей, а потом еще и выдвинули в народные депутаты СССР.

Это уже было слишком: становиться профессиональным политиком я не собиралась. И, по глубокому убеждению, была просто не способна. Но склонность к авантюрам взяла свое: я согласилась, понимая, что риск небольшой, «выйти в финал» мне не дадут — ту предвыборную кампанию еще вовсю контролировала КПСС.

Кончилась эта игра очень скоро: на окружном предвыборном собрании, где моя кандидатура обсуждалась вместе с несколькими другими. Еще накануне я решила все-таки отказаться, но тут мне позвонили из парткома того института, который меня выдвинул: дескать, демократы, конечно, за вас, но мы, партком, очень просим вас свою кандидатуру снять. Вместе с вами баллотируется одна доярка — Герой Социалистического Труда, ее поддерживает райком партии. И если она не наберет на собрании нужного количества голосов, у нас, парткома, будут крупные неприятности. Так что, пожалуйста, пойдите нам навстречу, вас выдвинут где-нибудь еще, а нас, если не выполним Руководящих Указаний, — могут разогнать.

Я не вошла в положение членов партийного комитета. Собрание состоялось. Доярка со злым лицом и наманикюренными ухоженными руками (это была номенклатурная доярка-бригадир) бойко изложила свою (то есть райкомовскую) программу, прочтя ее по бумажке. Я, импровизируя, рассказала о своей, кристально демократической. Из первого ряда на меня пристально, с большой неприязнью смотрел первый секретарь райкома. Потом выступали другие кандидаты, потом мы все отвечали на вопросы. Я, помнится, сказала, что являюсь сторонницей профессиональной армии, и доярка гневно мне возразила: «Нам не нужны наемники! Каждый гражданин Союза обязан выполнять свой долг перед Родиной!» Тут секретарь райкома громко зааплодировал, но его не поддержали.

Кандидатов было много, голоса разделились, и при голосовании никто из выдвинутых не набрал нужного числа. В том числе и мы с дояркой, что и требовалось.

Возмущенную доярку увез на своей «Волге» районный секретарь, я, довольная, пошла на автобус.

В тот вечер я дала слово своим домашним: в политику больше ни ногой. Хватит. Пусть суетятся те, кому нужна власть. Это смешно — как им, демократам, хочется уж если не быть властью, то хотя бы руководить ею, давать советы — одним словом, участвовать. Казалось, истосковавшиеся по политике зрелые люди хотят судорожно восполнить, компенсировать что-то недополученное в молодости. Отдать невостребованное. В шестидесятые годы у нас, тридцатилетних, намечалось нечто вроде романа с властью. Мы готовы были принадлежать ей, новой, честной, избавившей нас от лжи о Сталине, от «культы». Но власть, обманув, отвергла наше поколение. Не взяла. Оттолкнула и заставила себя возненавидеть. Но ненависть тоже была специфической: мы не отвернулись, мы пытались объяснить, пристыдить, убедить. Мы писали гневные письма, обращения, слали телеграммы протеста — все ей, ей, Власти, то есть — Партии. Она с раздражением отворачивалась.

И вот власть сменилась. Точнее, сменила курс, запоздало признав нашу правоту. И мы опять пришли в восторг, опять готовы были полюбить, поверить и слиться в объятиях. Но теперь уже мы не желали отдаваться, мы хотели взять, овладеть. Мы, постаревшие, умудренные, выстрадали это право: власть сама робко заговорила о том, что мы, рискуя, твердили много лет подряд. Власть улыбалась нам. Кокетничала. Обещала быть нравственной и чистой. Кое-кого приблизила. Но отдаваться не спешила. А в какой-то момент — снова отвергла, холодно и брезгливо поставила на место. Напомнила, что и теперь цель оправдывает средства. И опять пошли обиды и разочарования, мы снова оказались в оппозиции к несостоявшейся возлюбленной.

Горбачев ушел, и все повторилось. Августовский путч стал вершиной романа. Интеллигенция — впервые в советской истории! — пришла в правительство. Настоящая интеллигенция, не аппаратная. И мы снова... Тем горше было разочарование, тем болезненнее еще один удар, которым завершился в декабре 1992-го VII съезд народных депутатов. А потом — октябрьские события, кровь. И одни ушли с «баррикад», а другие их осудили.

Итак, с чем я пришла к началу перестройки? Кто я сегодня? Что получила я в наследство от родителей? Что приобрела позже? Разделить это трудно, потому что понятие о главных (не политических, человеческих) ценностях, заложенное в меня с детства, с годами не изменилось — моя собственная семья, отношения с миром — во многом продолжение того, что усвоила я в родительском доме. Во многом, но не во всем: не то время.

Выбирая очередную жизненную «роль», я каждый раз начинала сначала и так увлекалась, так «входила в образ», что забывала обо всем на свете. В том числе, увы, зачастую о самых любимых людях. Спасибо, что они сумели простить мне это.

Игры, как правило, кончаются. С одними людьми такое происходит раньше, с другими позже. Говорят, с возрастом человек делается хуже. Думаю, это не так, просто он становится самим собой, без прикрас и завитушек. Мишура осыпается, остается жесткая суть. Так деревья теряют

осенью листву, и тогда отчетливо проступает строгий рисунок каждой ветки, каждый ее излом.

Кончились «игры» и для меня, и каждая роль оставила свой отпечаток. Нет больше ролей, есть п р о с т о ж и з н ь. С ее обычными радостями и бедами. Эта жизнь ничуть не менее интересна, она дает больше свободы, позволяет спокойно и непредвзято смотреть вокруг. И сегодня самое увлекательное в ней — работа, чем бы ни приходилось заниматься. А самое необходимое и важное — близкие люди, семья, где на особом месте — муж, первый друг, первый читатель, редактор, советчик и единомышленник. И еще, конечно, друзья. И даже собака, равноправный член семейства. И порядок в собственной душе: здесь все должно быть просто и ясно. С каждым годом все проще и яснее.

Но где гарантия, что и это — не очередная «роль»?

---

---

## Наталья Абельская

\* \* \*

*Мальчишкам бывшего в «Г» — Андрею Храмову, Диме Осипову, Диме Медведеву и другим...*

Руки твои нежнее молочной пены,  
Губы темны, как вишневая кожа.  
Я могла бы всю жизнь целовать ступени,  
По которым идешь, на меня похожий,  
Не опуская вниз смуглого взгляда.  
Не желая знать, вечность за плечом или случай...  
Господи, — говорю, — если так надо,  
Пусть будет хуже мне, а ему — лучше.  
Дай ему из вертоградов Твоих кизиловых ягод,  
Не обожги молоком, подуй на воду.  
Здесь и жизни всей осталось от силы на год,  
Возьми его за руку, уведи к другому народу!

\* \* \*

Полнолуние. Злая полынь.  
Это лето, засохшее между  
Январей, как в гербарии лист.  
Плоский запах и сплющенный свист —  
Край пространства оборван небрежно  
Ближе к ночи, на слове т е п л ы н ь.

Там, где слезы, собравшись в грозу,  
Разорвав напряженья гортани,  
Стали трещиной в пыльном стакане,  
И сиренью, и тенью внизу...

\* \* \*

Призывает сентябрь в середине своей к разлуке  
С непришедшим летом, с невидимым глазу садом,  
Где в руках у яблонь плоды превратились в звуки,  
Где овца, и лев, и орел, и лягушка рядом.

Там стада бредут себе к голубому морю  
По зеленым лугам — и так до границы зренья,  
Беспечальной смертью единственной жизни вторя,  
Оправдав навеки всякое повторенье.

Ну, а здесь иное творится — в осенней раме  
Возникает город, подсвеченный черствым светом,  
Тени бывших улиц застыли между домами,  
И зеленый сентябрь шуршит, притворяясь летом.

На четвертый этаж подымается зверь багряный —  
Это сердце готово из клетки бежать к другому,  
Накануне толчка прижаться к рубахе рваной  
Всей судьбой заплочной, всей кровью своей с разгону!

Каждый мускул любви болит, наливаясь ядом.  
А на дне серебряной чаши молчат, не споря,  
И овца, и лев, и орел, и лягушка рядом,  
И стада бредут себе к голубому морю.

\* \* \*

*Глебу Семенову*

Лепечет ум невнятные слова,  
Душа плетет в потемках кружева —  
Младенец и старуха двуедины.  
Беспомощность такого существа  
Естественна. Скользит неуследимо  
Косноязычье — призрак мастерства.

Дрожа, наощупь, руки создают  
Материю стиха, основу мира.  
Где тонко, рвется. Небо видно в дыры —  
То самое, где ангелы поют.

### ТРИ ПРОЗЫ ПОЭТА

Художественная проза Осипа Мандельштама сейчас заслонена помертвым расцветом его поэтической славы и воспринимается, по большей части, как автоисторический комментарий к стихам, как беглые «заметки на полях». Иначе говоря — как полезный, но необязательный довод к поэзии. На юбилейных торжествах, проходивших в январе 1991 года, о прозе Мандельштама вообще не вспоминали.

Общее нынешнее отношение к его прозаическому наследию выразил академик С.С. Аверинцев в обстоятельном предисловии к собранию сочинений Мандельштама. Аверинцев обращается к прозе лишь как к биографическому материалу, иллюстрирующему путь поэта. По его мнению, прозаические тексты — всего лишь заполнение вынужденных пауз в стихописании: «Годы, когда не было стихов, заняты работой над прозой,» — пишет он.

Но справедлива ли такая оценка? Для современников Мандельштама его прозаические опыты были крайне важны, проза не воспринималась как периферия его художественной деятельности. Да и самому поэту работа над прозой не просто помогала преодолеть затяжной творческий кризис 1923–1930 гг., но способствовала радикальной эстетической и интеллектуальной переориентации, самоопределению в ситуации «смены вех». Она имела социально-профетический смысл, который обнаружился гораздо позже и стал очевиден только в последние годы. В этой статье я останавливаюсь только на трех прозаических текстах Мандельштама — потому, что их message и сегодня продолжает оставаться нерасшифрованным, а сами они сохраняют актуальность, несмотря на то, что были написаны семь десятилетий назад. Речь пойдет о «Шуме времени», «Египетской марке» и «Четвертой прозе».

#### 1

Выход «Шума времени» в 1925 году оценивался современниками и в России и в эмиграции как событие первостепенного культурного значения. Это была одна из немногих изданных в СССР книг, которая вызва-



ла поразительное и впоследствии уже невозможное единодушие и внутрисоветской и эмигрантской критики, причем большинству рецензентов Мандельштам-прозаик казался выше Мандельштама-поэта.

Для подавляющего большинства советских и зарубежных критиков «Шум времени» — высочайшее достижение русской прозы XX века. Эту книгу сравнивают с прославленными мемуарами А.И. Герцена «Былое и думы». что в 20-е годы было более, чем просто литературный комплимент. поскольку фигура Герцена воспринималась двояко: официально он считался идеологическим «дедушкой» большевизма, в то же время оставаясь для старой либеральной интеллигенции «русским европейцем». Восторженный прием «Шума времени» в среде либерально ориентированных современников ярче всего проявился в рецензии кн. Д. Святополк-Мирского, который в 1926 году писал: «Не будет преувеличением сказать, что „Шум Времени“ одна из трех-четырех самых значительных книг последнего времени. а по соединению значительности содержания с художественной интенсивностью едва ли не ей принадлежит первенство...»

Здесь нужно иметь в виду одно важное обстоятельство: 1923–25 годы — это время расцвета, потока русской мемуарной литературы, совпавшее с некоторой исторической передышкой, паузой. Кончилась Гражданская война и прошел первый интеллектуальный шок, вызванный революцией. Возникает потребность осмыслить происшедшее, вспомнить об истоках национальной трагедии. Практически все крупные русские писатели — старшие современники или ровесники Мандельштама (Б. Пастернак, М. Пришвин, И. Бунин, Б. Зайцев, И. Шмелев и др.) — в середине 20-х гг. обращаются к воспоминаниям о своей детской поре, совпавшей со временем Первой русской революции. Это — литературный фон, на котором книга Мандельштама ярко и странно выделялась, внешне сохраняя черты, присущие доминировавшему мемуарному жанру, но по сути дела претендуя не на роль непосредственного «свидетельства очевидца», а философски-аналитического и одновременно поэтического исследования исторического процесса.

Вряд ли сейчас кто-нибудь рискнет назвать «Шум времени» самой значительной русской книгой 20-х годов, но не исключено, что в недалеком будущем нам предстоит обратиться к прозаическому наследию Мандельштама и, возможно, еще раз переоценить его. Похоже, эта книга снова начинает быть современной, и тем больше, чем ближе мы к концу века.

Анна Ахматова, обладавшая, помимо прочих замечательных качеств, весьма тонким и точным историологическим чутьем, предсказывала «Шуму времени» славу «грядущей книги». Когда я шестнадцатилетним подростком пришел к ней впервые, разговора не получилось только потому, что тогда я еще не читал «Шума времени». «Приходите после того, как прочтете...» И действительно, после «Шума времени» многое стало понятно, причем не столько даже в прошлом, сколько в настоящем.

Поэты моего поколения были воспитаны на Маяковском и Блоке. Мы узнали о них в школе. И тот и другой попали в советскую школьную

программу через Смольный, куда оба явились в октябре 1917 «слушать музыку Революции». Революция тогда, в конце 50-х гг., казалась нам главным событием XX века, а «Шум времени» давал абсолютно иную картину, не верить которой было нельзя. Эта книга поражает меня до сих пор своей очевидностью и чувством достоверности — о чем бы не говорилось там. И генерал-бас Маяковского, и «кумачовый тенор» Блока, как-то сразу отступили на второй план, оказались где-то на обочине подлинной истории нашей страны — она ведь до сих пор еще, как оказывается, не написана.

«Шум времени» для меня — не что иное, как пролегомены к новой нашей истории, лирическое введение к ней, где кристальная ясность зрения и сомасштабная личности трезвость изображения сообщают прошлому именно то человеческое измерение, которого так недоставало ему. Пришла пора и нам узнать себя, свое время в картине «*belle époque*», «конца века», созданной Осипом Мандельштамом. Те же темы, те же вопросы — хотя и артикулированные иначе — всплывают в наших нынешних разговорах. Конец века, конец Империи, конец тысячелетия — и звериная зима культуры. «Все чаще и чаще слышал я выражение „конец века“, повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто оправдав Дрейфуса\* и расквітавшись с чертовым островом,\*\* этот странный век потерял свой смысл...»

Двадцатый век, убивший Мандельштама, теряет свой смысл на наших глазах, вина жидомасонский кагал во всех бедах многострадального отечества и, расквітавшись с мировым коммунизмом, ностальгически вздыхает о распаде большевистской Империи. И снова слова Мандельштама звучат поперек общему процессу, «против шерсти века сего», теперь уже двадцатого.

Теоретическая идиллия славянофилов, сельско-усадебный строй жизни, ныне превращается в род воинствующей идеологии, столь же агрессивной, сколь и убогой. Недоверие к «городской» культуре как к чему-то чужеродному, привитому Петром, чересчур «сложному» и западному — естественный результат варварской индустриализации, и общий идео-

---

\*Оправдание Дрейфуса является для Мандельштама нравственным итогом XIX века не только потому, что этот акт как бы положил конец полуофициальному многовековому европейскому антисемитизму, но и — что для поэта гораздо важнее — обнаружил бесосновность, сомнительность слепой веры в написанное слово, в документ. Парадоксально, что эта вера восходит к иудаистской традиции, полагавшей евреев «людьми Книги» и сакрализовавшей сам процесс писания и чтения. В деле Дрейфуса эта традиция обернулась против евреев. Дрейфус, капитан французского генштаба, как известно, был ложно осужден за шпионаж в пользу Германии на основании поддельного «бордера», письменного свидетельства, которое показалось для судей важнее, чем устные свидетельства живых людей. В конце концов подделка была разоблачена, что вполне соответствует общему разоблачительному пафосу, который на протяжении всего прошлого века заставлял ученых подвергать критическому анализу и сомневаться в аутентичности даже самых авторитетных документов и текстов прошлого.

\*\*Имеется в виду не только конкретный Чертов остров близ Французской Гвианы, где отбывал каторгу осужденный Дрейфус, но и то, что XIX век покончил с изоляцией евреев, с идеей гетто, этих «чертовых этнических островов» среди городов Европы.

логический импульс последнего времени — повернуть историю вспять, «сделать как было раньше» (до Петра I, до революции, до коллективизации, до войны, до смерти Сталина, до апреля 1985 года, до августа 91).

На этом фоне проза О. Мандельштама прозвучит явным диссонансом. Он человек Города, человек Рима, человек столицы, а не провинции. И в то же время он чужой в столице, он еврей посреди пышного дворянского Петербурга. Смесь «иудейского хаоса» со строем римских когорт — смесь взрывчатая, чреватая реальной, а не бумажной смертью. Отсюда еще одна реальность «Шума времени», — реальность изначальной детской обиды, готовой разрешиться новым раскольниковским разночинным бунтом. Постоянное детское унижение — на фоне царственных очертаний «столицы полумира» — содержит в себе некую внутреннюю эгоцентрическую претензию на аристократизм — претензию, которую реальность не в силах удовлетворить. Стало быть, эта реальность должна быть взорвана, радикально преобразована, либо подчинена чему-то более глобальному, вечному, значительному. Или Бомба, или Слово — вот альтернативы духовного созревания, схваченные в «Шуме времени».

К нашему счастью, Мандельштам избрал не бомбометание, а литературу. Это было обретение своего настоящего и единственного дома, обнаружение фундаментальной родовой связи с русской и общемировой историей. Русская классическая литература прошлого века раскрыла перед еврейским юношей свои двери. В ее доме было жарко натоплено и уютно — после нестерпимого холода площадей и набережных. Бескожее, бесконечно ранимое существо поэта здесь как бы облекается словесной кожей — способной защитить от мороза и подтвердить смутное подростковое ощущение собственной избранности, значимости своего существования. Гость на пиру русской словесности, Мандельштам занимает подбавляющее ему и только ему место.

«Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. . . » «Шуба» становится для Мандельштама чем-то вроде геральдического одеяния словесности. Она — кожа литературы, все та же пресловутая шинелька Акакия Акакиевича, все та же — но с течением времени даслужившаяся до астматически-генеральской тяжести. Шуба может притвориться визиткой хлопотуна Парнока из «Египетской марки», ее умыкают, как сабинянку, среди бела дня, возвращая читателя из революционного, майского Питера 1917 года на вечную писательскую прародину — к незабвенному гоголевскому сюжету.

Явившись в «Шуме времени», шуба еще раз мелькнет в стихах и статьях Мандельштама, пока не распушится окончательно в «Четвертой прозе», не застит собою неба — и та, реальная, которая была подарена поэту с профессорского плеча зимой 1918 года в Киеве (великовата, правда, но до последнего ареста будет его спутницей в скитаниях и житейских перипетиях), и другая, метафизическая ш у б а, — пушная шкура культуры.

Лирический герой «Шума времени» спрятан под этой шкурой, сросся с нею. И поэтому книга Мандельштама — не совсем воспоминания, не тра-

диционные мемуары, не автобиографические очерки. У героя нет биографии в том розовом толстовском или «люверсовском» смысле, в каком она выращивалась писателями, принадлежащими к сельско-усадебной или московской традиции. «Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями...» С этой точки зрения «Шум времени» полемичен не только по отношению к предшественникам — он спорит с автобиографической буколичкой пастернаковского «Детства Люверс». В отличие от Пастернака, задыхающегося под преизобильным потоком детских чувственных впечатлений, герой прозы Мандельштама жив только литературой, в литературе и через литературу: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, — и биография готова.»

«Книжный шкаф» оказывается таким же одушевленным персонажем «Шума времени», как Юлий Матвеевич, Сергей Иванович или актриса Комиссаржевская. «Книжный шкаф» разделяет два мира — внутренний, по сути дела, невыразимый (все попытки выразить его смехотворны, как знаменитый монолог Гаева в «Вишневом саде»), и внешний, чужой, гвардейски-величественный в своей отчужденности. Автор отстраняет от себя, подобно стакану с кипяченой питерской водой, блеклое городское детство, он с равной иронией и отчужденностью щебечет о своем ребяческом империализме (знакомая нам, людям послевоенного поколения, страсть к парадам, салютам, военной музыке на улицах и площадях), и о своем еврействе (инстинктивный ужас перед талмудическим сумраком дедовского дома).

Подобно «книжному шкапу», герой «Шума времени» отягощен всеми напластованиями последнего столетия русской культуры. Он проживает одновременно и скорбную гражданственность 80-х гг., и филармоническую пошлость, 90-х, и лихорадочную идеологизацию жизни на рубеже веков, и собачью свару эсеров с эсдеками в 900-е годы, — и все это под нарастающий «из-под глыб» гул: студенческие сходки у Казанского собора, казаки, профессиональные революционеры, 1905 год... Но исторический вектор упирается не в революцию — он утыкается в литературу.

Фигура В.В. Гиппиуса, этакого матерого зверя от русской литературы (отрезка российской истории между масоном-просветителем XVIII века Новиковым и символистами) венчает «Шум времени», и от этого книга приобретает значение своего рода диспозиционной карты, где указана расстановка противостоящих сил накануне генерального сражения, в предчувствии войны Сталина с литературой, государства со Словом, варварства с культурой.

Поведение Мандельштама в этой войне парадоксально и словно бы задано личностным модусом «Шума времени»: рыцарски-героические выпады (история с чекистом Блюмкиным, хлопоты о «невероятном деле спасения» пяти банковских служащих, дон-кихотовская пощечина «красному графу» А.Н. Толстому, суицидные стихи о «кавказском горце») чередуются с немотивированными припадками панического «иудейского страха», швырявшего поэта из Петербурга в Крым, из Крыма в Москву

из Москвы в Киев... Однако и рыцарственность, и взрывы беспричинной, суетливой паники — явления одного корня. С одной стороны, обуславливаемый чувством грандиозной катастрофичности происходящего, а с другой — страхом перед возможностью малейшего мелочного скандала по ничтожному поводу, он живет в постоянном дисбалансе между слишком большим и несомасштабно малым. «Героическая» поза при таком дисбалансе абсурдна и почти комична. Единственное, что может восстановить равновесие и вернуть сомасштабность переживаниям — это четко сбалансированная, архитектурно-стройная художественная форма, в которую облечено повествование, являющееся ничем иным, как идеальной и доведенной до совершенства моделью разбалансированной несовершенной жизни.

Проясненная композиционная структура «Шума времени» по своей архитектонике повторяет классический итальянский сонет: четырнадцать главок как бы соответствуют четырнадцати строкам сонета. Тема книги развивается, неукоснительно следуя музыкально-смысловым канонам сонета.

Сонет, возникший на средневековой Сицилии как поэтическая запись схоластического диспута, в истории русской литературы XIX–XX вв. играет особую формообразующую роль. Именно с формой сонета был связан переход Пушкина к прозе. Композиция «Повестей Белкина», в частности — «Станционного смотрителя» воспроизводит четырехчастную сонетную структуру развития сюжета. Сознательно или бессознательно Мандельштам, обращаясь к прозе, следует тем же путем, что и Пушкин.

В первом четверостишии (а точнее — «ч е т в е р о г л а в ь и») «Шума времени» предлагается тезис, во втором катрене (четыре следующих главы) — антитезис, контраверса. В первом терцете (три главки) — позитивный, во втором — негативный синтез темы. Диалектически-философская теза книги — главы, повествующие о восторженно-безрефлексивном, детском освоении окружающего мира. Антитеза (следующие четыре главы) погружает нас в атмосферу отчуждения: герой отчленяет себя и от еврейства (гл. «Финляндия», «Иудейский хаос») и от эстетически убогой культуры русского либерализма (гл. «Тенишевское училище»).

Первый «терцет», построен на столкновении двух полярных человеческих типов — революционера-разночинца и «еврейского генерала», — столкновении, разрешающемся в негативном синтезе главы «Эрфуртская программа», где революционное и библейское начала сливаются воедино.

Тема «еврейство и русская революция» патетически подхватывается в первой главке финального, второго «терцета» книги. Рассказ о семье петербургского врача Синани пронизан симпатией к человеческому-слишком-человеческому, к «скудным партийным полемикам», где «не торговали смыслом жизни (*перифраз некрасовского „не торговал я лирой...“ В.К.*), но духовность была с ними... и было больше жизни, больше музыки, чем во всех писаниях Леонида Андреева.» Зато в следующей главе — «Комиссаржевская» — та же тема революции получа-

ет трагико-ироническое развитие: там смешаны сочувствие и насмешка, понимание и неприятие великопостных, аскетических игрищ русской интеллигенции.

И, наконец, — музыкальный синтез всех основных мотивов книги, глава «В не по чину барственной шубе» — гимн «литературной злости», апофеоз словесного веча («народного парламента»), восходящего, по Мандельштаму, к древнерусским ганзейским свободам, когда «...новгородцы и псковичи вот так же сердились на своих иконах» и «злбно голосовали бороденками на Страшном суде...»

Классическая, сонетная выстроенность «Шума времени», до сих пор, к сожалению, не отмеченная исследователями, делает эту книгу не просто «памятником своей эпохи», но шедевром словесного искусства, способным и спустя десятилетия противостоять не только давлению «звериной государственности», но и агрессии низового, утробного хаоса, диктату массовой культуры, свидетелями и потенциальными жертвами которого мы ощущаем себя в новой России.

## 2

«Египетскую марку» отделяет от «первой прозы» четыре года 1923–1927. То были годы нэпа, некоторой исторической паузы и временного замирения государства с обществом. Нэп был насквозь пародиен, в новых условиях непреднамеренно пародировался предреволюционный культурно-экономический бум, и жанр литературной пародии становится в это время, как и накануне революции, едва ли не ведущим. Центральный персонаж «Египетской марки» — «маленький человек» Парнок (мы даже не знаем его имени, фамилия звучит как кличка, а школьное прозвище — «Египетская марка», — вынесенное в заглавие книги, указывает не столько на одушевленное существо, сколько на неодушевленный, хотя и экзотический, предмет). Человек-вещь Парнок — пародия на «героя». и в каком-то смысле автопародия, недаром Мандельштам восклицает, прерывая рассказ о злоключениях «человечка в лакированных штиблетах, с овечьими копытцами»: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него...»

Но, при всей пародийности, Парнок (его прообразом считается реально существовавший Парнах, брат поэтессы Софьи Парнок — той самой, кстати, поэтессы, защищая честь и женское достоинство которой Мандельштам спустя 7 лет поднимет руку на всесильного «красного графа»). Парнок у Мандельштама вовсе не «антигерой» и не «тип» в зощенковском понимании этого слова. Ближайшие родственники и современники Парнока — Кавалеров из романа Ю. Олеши «Зависть» и, как ни парадоксально, Васисуалий Лоханкин из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, т. е. персонажи двух самых читаемых и любимых советских книг 20–50 гг.

Собственно говоря, мандельштамовскому Парноку — если он переживет разруху и Гражданскую войну — еще предстоит превратиться в коммунального идеалиста-недотепу. Он готов к этому, хотя Петроград в мае семнадцатого отнюдь не Ленинград 27 года. Экзотические

мечтания Парнока (так же, как Кавалерова и Лоханкина) над «полушариями Ильича» (т. е. над учебными географическими картами и глобусом), его истеричные и запутанные отношения с «милым Египтом вещей» не могут заслонить собой от нас героических усилий «маленького человечка», бегающего по аптекам, чтобы дозвониться до милиции и спасти от самосуда толпы воришку, укравшего серебряные часы (карманная метафора *ш у м а в р е м е н и*). Именно жалкий и неприкаянный Парнок, как никто иной, трепетно, всей своей кожей ощущает ценность каждой чужой человеческой жизни. Именно нелепый «человечишко», «ветошка», по Достоевскому, фигура привычная для русской литературы, как бы насекомым фасеточным зрением охватывает происходящее вокруг — и видит все, как праздник жизни, музыки, живописи.

Барбизонское воскресенье в революционном Питере — это огромный нотный стан, где уличная толча города — всего-навсего музыка, муравьиный балет, фортепьянный пожар. . . «Нотная страница — это революция в старинном немецком городе.» Только чужой на празднике жизни может так ярко и окультуренно чувствовать выплеснувшийся на улицы хаос.

Предметно-изобразительный, живописно-музыкальный фон «Египетской марки» бесконечно разнообразен и изыскан. Стилистически эта книга отличается от «Шума времени», как барокко от раннего ренессанса. Здесь нет столь важной для «Шума времени» классической симметрии, нет гармонического баланса частей, но зато появляется другое — калейдоскопичность картин, кинематографическая смена сценок. На читателя обрушивается захлебывающаяся в перечислениях, нервная и сбивчивая речь.

Если «Шум времени» обращен более к сознанию, чем к эмоциональному миру читателя, то «Египетская марка» завораживает богатством оттенков чувствования, истерически-обостренной предметностью, «вещественностью» повествования. После скудных академпайков Кубу («Комиссии по улучшению быта ученых», распределявшей продукты среди интеллигенции, пошедшей на службу к большевикам в 1918–1921 гг.) и голодного врангелевского Крыма — изобилие эппановских лавок, благосостояние зыбкое, готовое в любой момент оборваться, отшвырнуть человека в пещеры военного коммунизма. Отсюда лихорадочность тона: «Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. . .» В отличие от ненастоящей, настоящая правда мимолетна и текуча. Она просыпается, как песок между пальцев, ее невозможно уловить с помощью традиционных форм — слишком широки и просторны для нее ячейки классицистической жанрово-родовой сети.

Тягучие и размеренные гекзаметры Мандельштама революционной поры, которые как бы противостояли окружающему хаосу и торжествующему беспорядку, нарочито замедленное эпическое течение «Тристей» сменяется рваными, вольными ритмами. Поэт словно предчувствует нависшую над страной железную руку нового принудительного порядка и

ранжира — и отшатывается от этой возможности. Он обращается к опыту модернистской прозы. Теперь ему близка стилистика джойсовского «Улисса», его тянет к литературе «потока сознания». И он переосмысляет и приспособливает к местным условиям опыт западного авангарда — опыт, который еще недавно, на рубеже 10–20 гг., отвергался им категорически.

Он, вслед за Джойсом, сталкивает разные эпохи (сквозная, хотя и побочная тема книги — смерть Бозио, певицы середины прошлого века), он то и дело меняет ракурс и план изображения — повествование идет то от третьего, то от первого лица, иногда переход невозможно уловить.

Что особенно важно — Мандельштам виртуозно пользуется приемами, напоминающими киноmontаж. Поражает сильный кинематографический акцент «Египетской марки». Видимо здесь не обошлось без влияния Виктора Шкловского. В середине двадцатых годов на какое-то время Мандельштам сближается со Шкловским, который тогда был одним из ведущих теоретиков и пропагандистов киноязыка. Шкловский призывал писателей учиться у кинематографа. Он придавал огромное значение искусству раскадровки, без учета которого невозможно было, по его мнению, строить новую прозу. Именно Шкловский подталкивает Осипа Мандельштама к работе над киносценариями. Один из них — сценарий так и не снятого документального фильма о пожарных — известен нам по рассказу Мандельштама, опубликованному в 1988 году в душанбинском журнале «Памир». Сцена пожара в «Египетской марке» свидетельствует о почти дословном перенесении сценарной раскадровки в прозаический текст. Неудачный документальный киносценарий оказался отличным черновиком для художественной прозы поэта. Впрочем, влияние киноязыка не ограничено неудачным опытом сценариста. В «Египетской марке» угадывается и Мандельштам-кинокритик.

Он — опять-таки не без влияния Шкловского — в 20-е гг. обратился к кинокритике, публиковал рецензии на новые фильмы, уделяя исключительное внимание именно действенности и предметной самоочевидности языка кино. По мнению Мандельштама, «этот язык должен быть как можно ближе к тому еще не осуществленному мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с ее могучим синтаксисом...»

Монтаж, таким образом, открывает новые возможности и в словесном искусстве. Последовательная «склейка» разнородных и разнородных фрагментов в единую «ленту» позволяет свободно варьировать темп и тип повествования, то близоруко, во весь экран, приближая тот или иной предмет, то панорамируя изображение с высоты птичьего полета. Писателю достаточно бывает просто сопоставить несколько ничем на первый взгляд не связанных кадров-сцен, чтобы между ними как бы само собой возникло сюжетное напряжение. Искусство монтажа в «Египетской марке» напоминает «далековатые» образные сочленения фильмов Гриффитса или С. Эзенштейна. Вот, например, «антимузейный» фрагмент такой монтазированной прозы:



«Юдифь Джорджоне улинула от внухов Эрмитажа.  
 Рысак выбрасывает бабки.  
 Серебряные стаканчики напоминают Миллионную.  
 Проклятый сон! Проклятые стогны бесстыжего города!»

Есть в книге страницы, которые по своей изобразительной убедительности напоминают одновременно и подробную и покадровую запись немого фильма, и междукадровые титры, возникающие на экране, и закадровый комментарий кинокритика:

«Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок.

Так на полях черновика возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью.

Скрипичные человечки пьют молоко бумаги.

Вот Бабель: лисий подбородок и лапки очков.

Парнок — египетская марка.

Артур Яковлевич Гофман — чиновник министерства иностранных дел по греческой части.

Валторны Мариинского театра.

Еще раз усатая гречанка.

И пустое место для остальных...»

Подчеркнутая «объектность» подобных пассажей «Египетской марки» постоянно нарушается самыми что ни на есть «лирическими», пронзительно-интимными признаниями, заставляющими вспомнить «бесстыдную» откровенность «розовых писем»: «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому!.. Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенка. Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: „с ним мне не страшно“!» Система кинематофора, таким образом, обретает тот исповедальный субъективизм, который противопоставлен киноязыку, но живителен для языка лирики. В «Египетской марке» уже намечена, слышна открытая, прямая, сбивающаяся на фальцет интонация пронзительной «Четвертой прозы».

### 3

«Четвертая проза» — одна из неразрешимых загадок русской литературы. Вопиюще-фрагментарный, сбивчивый, как бы сознательно лишенный какого-либо композиционного плана, похожий то ли на исповедь, то ли на обрывки неоконченного политического памфлета текст, объем которого не превышает полутонна десятков машинописных страниц, в течение 58 лет был окружен ореолом легенды.

В 60-е гг. А. Ахматова делает в дневнике такую запись: «Эта проза, такая неслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, что во всем XX веке не было такой прозы.» Действительно, долгое время «Четвертая проза» была самиздатским бестселлером, ее постоянно изымали на обысках, ее хранение инкриминировалось как «антисоветская пропаганда», а в архивах КГБ скопились десятки тысяч копий этого текста. Казалось, стоит опубликовать рукопись в СССР — и советская власть со

всем своими институтами провалится в тартарары. Тем не менее, публикация «Четвертой прозы» (впервые в 1988, — одновременно в таллинской «Радуге» и в рижской «Даугаве») никакого общественного резонанса не вызвала. Не вызвала — потому, что от потаенного Мандельштама ожидали прежде всего экстраординарных социально-разоблачительных супероткровений — в духе солженицынского «Гулага» или авторхановской «Технологии власти», а ничего подобного в «Четвертой прозе» не содержалось.

Более того, после первой советской публикации «Четвертой прозы» возник весьма щекотливый момент. Внезапно обнаружился ее антилиберальный, антибуржуазный подтекст, который не так бросался в глаза, пока распространявшаяся в самиздате рукопись потрясала «прирученных и разрешенных» шестидесятников: им-то самим была недоступна столь безоглядная свобода высказывания, убийственная критика в адрес комсомола, сталинской бюрократии и основ государства, претендующего на тотальный контроль над литературой.

В течение десятилетий в умеренно-оппозиционных кругах советской интеллектуальной элиты культивировалось понятие «порядочности». Оно было заимствовано из речевого обихода старой, оппозиционной самодержавию «народнической» интеллигенции и означало неукоснительное следование неписанному моральному кодексу русских демократов, содержащему целый комплекс нравственных запретов: нельзя осуждать народ, следует всегда быть скромным и простым, нельзя личное, интимное ставить выше общественного и т. п. Для Мандельштама все эти, казалось бы, самоочевидные истины связаны с представлением о «буржуазности». Старая либеральная интеллигенция, со всеми ее нравственными ограничениями, с культом «гуманности, умеренности и аккуратности», замечательным образом приспособилась к советской власти и добросовестно служила ей, играя роль новых буржуа.

«Меня всегда интересовал вопрос, — иезуитским тоном вопрошает Мандельштам в начальном фрагменте „Четвертой прозы“, — откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы нуждаются в обществе буржуа по той же причине, по которой взрослые нуждаются в общении с розовощеками детьми.»

«Розовошек дети» омерзительны поэту едва ли не больше, чем «людоеды-большевики» — «подлинные революционеры», у которых страдает пищеварение от того, что «в России очень мало невинных буржуа». Впрочем, среди персонажей «Четвертой прозы» их подавляющее множество — стареющих и молодежавших безобидных и вредных — от расчетливого профессора математики В.Ф. Кагана до бестолкового Исайи Бенедиктовича, от злосчастного и ни в чем не повинного А. Горнфельда («Дяди Мони с Бассейной»), главного литературного врага Мандельштама, — до «лицейской сволочи» Митьки Благого, «разрешенного большевиками для пользы науки». Их объединяет то, что они — духовная чернь, полагающаяся на мудрую предусмотрительность, осторожность, «разрешенность». Они ходят на цыпочках, когда вокруг

них рубят головы. Им принадлежит «ворованный воздух» разрешенной литературы.

Надо отдать должное пронизательности Мандельштама: его самые худшие опасения подтверждает дальнейшая судьба одного из персонажей «Четвертой прозы» — Дмитрия Благого, который в годы Великого террора достигает весьма высоких степеней в советском историко-литературном официозе, превратившись из кроткого и незлобиво интеллигентного юноши во всесильного генерала от филологии. Благодаря, например, личной неприязни члена-корреспондента АН СС-СР Д. Благого к Марселю Прусту (писателю «безнравственному» на вкус главного пушкиниста страны), русский читатель до самого последнего времени не мог познакомиться с «Поисками утраченного времени», хотя с конца 20-х гг. в России существовали великолепные переводы романа Пруста. «Пока я жив, Пруст не будет толкать к самоубийству наших молодых людей. . .» — эти слова не были пустой угрозой. Благой употребил все свое влияние, чтобы Пруст не появился по-русски. «Поиски утраченного времени» были изданы только после его смерти в начале 80-х гг. У Мандельштама, как мы помним, «Митька Благой» выступает в роли хранителя веревки, на которой повесился Сергей Есенин.

Основная проблема «Четвертой прозы» — судьбы слова. Ее «сюжет» — это конфликт буквы и голоса, слова записанного (напечатанного, прошедшего цензуру, разрешенного, оплаченного и т. д.) и слова звучащего (никем свыше не санкционированного, вольного, не отчуждаемого от голоса). Понятие письма приобретает для Мандельштама негативный, «государственнический» смысл, поскольку письмо, а тем более печатный станок, отчуждает слово от личности, от человеческого «я». «У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволоочь пишет.» Письмо бессловесно, слово — бесписьменно. Письмо — это «собачья», а не человеческая речь, это «лай». . .

С идеей письма связан сквозной для «Четвертой прозы» мотив «песьей», собачьей письменности. Он восходит к мандельштамовской метафоре древнеегипетской культуры, которую поэт воспринимает как культуру «немую», отрицающую слово. «Жалость к культуре, отрицающей слово» перерождается в презрение, как только поэт становится свидетелем торжества «собачьей» египетской гигантомании в современности. Когда-то он писал:

Украшался отборной собачиной  
Египтян государственный вид,  
Мертвецов наделял всякой всячиной —  
И торчит пустячком пирамид.

Теперь в 30 году, в разгар эйфории от «великихстроек», он заканчивает свое литературное завещание, каковым по сути дела является «Четвертая проза», презрительной и загадочной фразой: «А в Армавире на

городском гербе написано: собака лает, ветер носит». Речь идет о роли писателя в советском обществе.\*

По Мандельштаму, «настоящий писатель — смертельный враг литературы», тогда как просто «писатель» — это помесь попугая и попа, т. е. существо, тупо повторяющее любые слова, которым его обучили и претендующее при этом на роль исповедника, священника. Священника, присутствующего при казни «для утешения» приговоренного — рядом с тюремным начальством и палачом. В этом смысле «письмо» — это попытка, репетиция смерти, подготовка к ней.

Нужно иметь в виду, что в разговорной речи 30-х гг. глагол «писать» приобрел новое значение. Возникли идиомы типа «на него написали» (опущено слова «донос»), «он пишет оперу» (имеется в виду «оперуполномоченный», «следователь») и т. п. «Письмо» осознается как важнейший атрибут принудительно-репрессивной машины. «Звучащее» же слово остается последним прибежищем свободы. Соскоровская дихотомия «язык-речь» приобретает в России накануне Великого террора политико-идеологическую окраску.

Зона свободного творчества в этих условиях перемещается из письменной сферы в изустную, все большее значение приобретают «устные» формы общественной реакции на происходящее. Особая роль принадлежит жанру анекдота, причем не только политического. Весьма распространены были «профессорские», «армейские», «еврейские», «поповские», «армянские», «воровские» анекдоты. Все это богатство городского фольклора составляет словесную основу, ткань «Четвертой прозы».

Фабула «Четвертой прозы» возникла из анекдота, и основная тональность этого произведения артикулирована с оглядкой на поэтику анекдота. Некоторые неожиданные сравнения и необъяснимые образные фигуры (например, «ведрышко и константинопольская удочка» в руках у Ленина, который блуждает по ночной сталинской Москве) восходят к многочисленным анекдотам, бытовавшим в Москве 20–30 гг. Многие из них забылись, утрачены невосстановимо, что наполняет «Четвертую прозу» обилием «темных мест», сообщая ей вид интеллектуального ребуса, окончательная авторитетная расшифровка которого принципиально невозможна.

Зачастую тот или иной анекдот рождался как спонтанный и анонимный словесный след какого-нибудь скандала, получившего неожиданную огласку. Так же возник и известный нам текст «Ч. П.»: он является речевым продолжением литературного скандала, разгоревшегося вокруг переиздания издательством «ЗИФ» романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». На титульном листе значилось, что переводчиком является

---

\*Недавно умерший Юрий Нагибин, один из ведущих прозаиков 50–70 гг. в меру либеральный, человечные и уж, конечно, внимательно прочитавший еще в рукописи «Четвертую прозу», выступая в 1990 году в Кельнском университете, скорее всего бессознательно употребил то же сравнение советского писателя с попом, но в обратном — позитивном смысле. Отвечая на упреки в конформизме, Нагибин неожиданно резко и раздраженно заявил: «Писатель до перестройки занимал в советском обществе очень важное место. Народ шел к писателю, как к попу!»

О. Мандельштам, тогда как на самом деле он выступал лишь в роли редактора, обработав два старых перевода, принадлежавших А.Г. Горнфельду и В.Н. Карякину. Мандельштама обвинили в плагиате или, по меньшей мере, в переводческой недобросовестности. Поэт протестовал. Скандал попал на страницы центральной печати и перерос в откровенную травлю Мандельштама. Отсюда — сквозной для «Четвертой прозы» мотив «авторства как воровства».

Литературное авторство в сталинской России не имело ничего общего с представлениями о литературе как о некоем надвременном «пиршественном доме», как считал Мандельштам еще в «Шуме времени». Авторство на рубеже 30-х гг. — всего лишь государственная гарантия человеческой анонимности писателя. Приобретение литературного имени под «недреманным оком» цензуры равнозначно потере индивидуальности, утрате надежд на самоидентификацию личности через слово. Здесь реализация и развитие самых мрачных фантазий Кафки.

В условиях тоталитарного контроля над словесностью любое литературное имя кажется поэту уворованным, поддельным, «цыганским». Он склонен ненавидеть даже собственное литературное имя, оно вызывает ассоциации с эпохой крепостного права, это имя слуги, господского пса на журнально-идеологической парне: «Как стальными кондукторскими шипцами,\* я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. . . Хоть бы раз Иван Мойсейч в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак. . .»

Проблема потери своего имени граничит для Мандельштама с очень опасной двусмысленной зоной национальной самоидентификации. «Я чешу господских собак. . .» — слова эти обращены не только к политическим хозяевам России. Они произнесены под портретами русских писателей: «С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему?» .

Русские правые сейчас назвали бы Мандельштама за эти слова русофобом и агентом мирового еврейства. Но парадокс в том, что «Четвертую прозу» можно прочесть и как антисемитский текст, если не знать, что автор был «евреем. Иногда возникает впечатление, будто главный удар адресован в первую голову «осовеченным», хотя и «приличным» литературным «жидам», с их «талесами, кугелями и добротными ореховыми кроватями».

Разве что в лубочном воображении какого-нибудь из авторов журнала «Наш современник» или московской нацистской газеты «Штурмовик» могла возникнуть финальная сценка «Четвертой прозы»: «. . . Ночью на Ильинке ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем ни бывало. . . Ходят два еврея, неразлучные двое. . .» Сколько усилий

---

\* «Стальные шипцы» контролера — это не только метафора цензуры, но и выражение присущего Мандельштаму бытового панического страха оказаться «безбилетным» пассажиром, «зайцем» в трамвае или в поезде — и быть позорно высаженным.

было употреблено русскими нацистами, чтобы доказать еврейское происхождение Ленина, соединить Ленина и Троцкого в одну зловещую для России фигуру и — соответственно — объяснить русскую революцию следствием международного еврейского заговора.

И тут, казалось бы, на помощь приходит Мандельштам. Он как бы воспроизводит эту национал-патриотическую схему, но воспроизводит ее на уровне антисоветского анекдота, воспроизводит как московскую подпольную мифологему, как «теневую», ночную сторону советской мифологии, породившую в конце концов русское национал-патриотическое движение. Нужно понимать, что в контексте 30-х годов, когда малейший намек на близость Троцкого к Ленину карался жестоко и немедленно как контрреволюционная троцкистская деятельность, только что приведенная цитата — если бы она стала известной властям — решила бы судьбу поэта гораздо раньше, чем это произошло. К счастью, «Четвертая проза» осталась недосыгаемой для следователей, которые впоследствии вели дело Мандельштама: рукопись хранилась не на квартире поэта, а у его друзей.

Однако вернемся к вопросу о национальной идентификации. Сейчас, когда она решается просто и однозначно, позиция Мандельштама представляется по меньшей мере странной. Собственное еврейство манифестируется поэтом скорее как особое профессиональное состояние, нежели национальная принадлежность.

Еврейство для Мандельштама осознается как форма литературного аристократизма, фактически это синоним поэзии, которая противопоставлена литературе. Он обнаруживает себя евреем в том смысле, какой подразумевала Марина Цветаева, утверждая, что всякий поэт — еврей, т. е. изгой, жертва, гонимое и беззащитное существо.

«Я настаиваю на том, — заявляет Мандельштам в „Четвертой прозе“, — что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почтенным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно слясь меня научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству — краже».

Кража в литературе, кража слова для иудея — «человека Книги» — это не что иное как идеолгия, общественно-политическая мифология, т. е. спекулятивно-огрубленное перенесение тонких культурно-исторических смыслов в план обыденной, массовой, общественной жизни. В «Четвертой прозе» Мандельштам проделывает обратную, хотя и мучительную для читателя и для самого себя операцию — операцию деидеологизации «общих мест» национального сознания. Он, полемически заостряя этот процесс, возвращает «национальную идею», равно, впрочем, как «идею пролетарскую» (т. е. идею социальной справедливости) на их интеллектуальную и духовную прародину — исключительно в область высокой культуры, соизмеряя их, таким образом, с альпийскими верши-

нами европейской мысли и образованности. Естественно, на этом фоне претензии на универсальность таких понятий, как национальная принадлежность, социальное происхождение или массовое распространение того или иного артефакта смотрятся карикатурно, нелепо, поскольку лишены основного — личностного модуля.

Вызывающий, скандальный характер «Четвертой прозы» — не что иное, как героическая попытка предельного самообнаружения, окончательной личностной идентификации — вопреки своему собственному имени, своей государственной, национальной или профессиональной принадлежности. Попытка, заведомо обреченная на неудачу при жизни поэта, но теперь, спустя десятилетия, приобретающая неожиданный смысл некоего необходимого всем нам нравственно-психологического урока.

Только теперь мы начинаем понимать, что подлинная вестернизация России — это вовсе не механическое усвоение принципов демократии или новейших технологий, не копирование западных общественных институтов или экономических структур. На русской почве все это пока приобретает вид пародийный, почти комический. Настолько же пародийны и утопичны попытки вернуться в исходное, доиндустриальное состояние патриархальной Руси или, наоборот, к паниндустриализму сталинской державы. И в такой ситуации самое время вспомнить о трагическом выборе Мандельштама — когда единственной фундаментальной ценностью для него осталась идея личностной суверенности, идея голоса, т. е. классическая европейская персоналистская концепция. Та самая «ценностей незыблемая скала», на которой базировалась культура старой Европы.

Выбор Мандельштама совершался в одиночку, в ситуации человеческой и творческой изоляции, он выбрал не «Новую Америку», как Александр Блок, не мистическую «Индию духа», как Николай Гумилев, — он увидел будущую Россию органической частью европейского культурного макрокосма, а зерно европеизма, по Мандельштаму, — религиозно-озвученное отношение к человеческой личности. Именно этот урок «Четвертой прозы» нам предстоит усвоить, если мы не хотим быть отброшенными в коллективный рай концлагерей или превращенными в убогое захолустье стандартизированной «американской мечты».

---

---

Валерий Шубинский

## ПОД СТЕКЛЯННЫМ СВОДОМ

Всякому городу нрав и права  
Всяка имеет свой ум голова  
Всякому сердцу своя есть любовь,  
Всякому горлу есть свой ум каков,  
А мне одна только в мире дума,  
А мне одно только нейдет с ума.

*Г. Сковорода*

Все дети рисуют. Был период — короткий, с, допустим, двенадцати до где-то пятнадцати с половиной лет, когда моя любовь к изобразительному творчеству слегка превысила среднететскую. Помню по меньшей мере такие опусы этого времени (гуашь): «Три дервиша» — дань исламскому Востоку, которого я не люблю и совсем не знаю, и портрет Г. Гейне на фоне некоего германского городка (должно быть, парафраз изречения про Гейдельберг, который очень красив, особенно если стать к нему спиной; впрочем, всякому городу нрав и права).

Но детсадовское рисование — совсем другое. Узникам дошкольных учреждений рисование рисунков — долг и труд, как их старшим товарищам сочинение сочинений. Если все дети рисуют и подростки пишут, то педагогические дяди и тети бесстыдно эксплуатируют эту склонность.

Мне выдали красную бумагу — а всем зеленую, кроме нескольких таких как я, неумех, плохих рисовальщиков, зеленой не хватило, и ним дали красную в знак позора, как объяснила воспитательница — не помню, Ася Владимировна или другая, а у нас в городе был на сей счет опыт: здесь даже ампириный Университет был свекольно-красен, а стал таким после, якобы, академических волнений. Было будто-бы сказано (легенды расходились в том, кем из императоров): «Пусть краснеют хоть стены, коли студентам не стыдно».

На этой красной за меня бумаге я к ужасу воспитательницы и восторгу мамы, нарисовал своей акварелькой березовую рощу — пять или шесть пересекающих красное поле вертикальных белых линий. О русской березке, кстати, впечатление у меня было едва ли не умозрительное:



в городе и за городом были все больше дубы да сосны и, конечно, каштаны, еще бы, каштаны. И тополя. А другой мой рисунок остался чужд и родителям, поклонникам в лучшем случае Матисса, я же был эдаким маленьким Поллаком: «Кира Лазаревна топит печку» (загадочный набор точек и линий).

Печка была голландская. Кира Лазаревна была соседкой по квартире моей тети Аллы, жившей внизу Горьковской — одной из покато-горбатых улиц, упершихся кто макушкой, а кто пупком в проспект Льва или не Льва Толстого. Дальше, то есть ближе, была Владимирская, куда и выходил тот самый багровый университет, а потом наша Тарасовская, ниспадавшая от Старого Ботанического Сада. Внизу она доходила почти до бывшей реки Лыбедь.

Эта женщина по имени Лыбедь была сестрой братьев Кия, Щека и Хорева, трех, а не двух основателей этого второго с половиной Рима, стоящего, как все уважающие себя города, на семи холмах. На самом деле холмов здесь чуть ли не больше — что ни проулок, то холм. А Кий с фамилией был раздут при совке в противовес голмгордскому норманну с его тоже (что подозрительно) двумя братьями. Хотя по мнению В.Н. Топорова, этот Кий-то и вовсе был хазарин обрезанный, так что шарик попал не в ту корзину. К полуторатысячелетию (якобы) города сооружены были монументы (я забегая вперед, но ничего): Баба (о ней-таки ниже), Кий с семейкой в ладье и гениальное супрематистское полукольцо, за которое можно приподнять и подержать все семь холмов с толстой рекой и островом посередине. Подойдя поближе, можно было разглядеть деревянных мужичков бородатых и мужичков усатых, а полукольцо, стало быть, значило их вечную дружбу. Еще там был живой человек — старенький силуэтный мастер, вырезавший из бумаги бабуску в 1935, маму в 1960 и меня в 1976 году. Это было высоко над Днепром, над рекой Борисфен.

А на Лыбеди, не втянутой в трубы, как московская Неглинная, а сдавленной в метровый проем между бетонными плитами, было низко и тихо: только дикие яблочки — очаровательная, нежная кислятина и редкий шум поезда за белым забором. Чтобы выйти туда, надо было свернуть с Тарасовской на крошечную улицу Яна-Янчевицкого — вождя русских скаутов и сочинителя беллетристики про Чингизидов. Выше была улица, название которой я не помню, потом большая улица актера Саксаганского, потом Никольско-Ботаническая, где жили Сережа Бобровник и Гоша Быков. Выше — наш дом, «три а», не первоклассный, но хороший модерн, восстановленный после войны пленными немцами. А до войны здесь жил юный поэт Семен Гудзенко, написавший стихи про чужую кровь, которую ножом выцарапывают из-под ногтей. Позже его сломали, как нож, как ногти, он стал никем и умер никем, тридцати лет. В нашем доме было шесть этажей, мы жили на третьем. Главная достопримечательность дома — стеклянная крыша. Внизу темно: лестница без окон, но с каждым этажом становится светлее. Еще об этажах: кроме шести главных, был у нас полуподвал, где жил дворник, и подвал, куда вела лестница с черного хода, со двора. Там в некоей служебной комнатке — от домоуправления, что-ли? — сидела такая тетенька в синем халате: мне казалось, что это

глубоко, чуть ли не в пентре земли, и я боялся подвала, но верхних этажей, где было светлее, чем у нас, боялся больше. Страшнее же всего был шестой, самый светлый, прямо под стеклянным сводом, откуда не было хода вверх. Так вот с тех пор я и боялся последних этажей, где кончаются лестницы и если есть еще путь наверх, то на чердак, а на чердаке не живут и, значит, там смерть. Боялся, пока не поселился в семь лет на верхнем (девятом) этаже, в холопском предместьи царского предместья, в офицерской новостройке с видом на памятники культуры. Там я полюбил чердаки и крыши, плоские, асфальтированные, удобные для прогулок.

Не помню никого с шестого, пятого, четвертого этажа, наверняка все это были сотрудники Института. Вид на Институт открывался с нашего балкона — трех или четырехэтажное сталинское здание с непременным фронтоном. Самым красивым в нем была тонкая полоска снега у корешка крыши, над изголовьями водосточных труб — вообще же снега у нас было мало — и еще пирамидальные тополя, закрывавшие вид на него летом. Институт располагался по соседству с красным университетом, только по другую сторону улицы не помню какого Толстого. Кстати, о красном, чего он теперь стыдится? Имени национального сокровища, окончившего вовсе даже Академию Художеств? Вот он стоит напротив, в садике тоже своего имени, среди маслянистых шиповников, насупившись и опустив километровые усы, и ментовка уже в годы перед моим рождением ловит здесь демонстрирующих патриотов. Институт же — имени никого, а был Микояна — бакинского комиссара вкусной и здоровой пищи. На вид он совсем рядом, но пройти туда дворами можно только через соседний дом: там, где после войны был лагерь военнопленных, теперь спортплощадка, но тоже почему-то окруженная бетонной оградой. Такой же точно вид с других балконов, а они есть в каждой квартире, некоторые, как и наш, уставлены цветочными горшками и увиты диким виноградом. В большой квартире напротив (там живет семья бывшего замминистра) целых два балкона — маленький и огромный. Ниже — балкон Прейсов, справа — балкон Скобло.

Ни о ком не скажу я ни слова, кроме того, что запомнил к семи годам. Ведь и так мое детство почти безлюдно, и я гораздо лучше запомнил, например, ярко-белые лучи, рвущиеся поутру сквозь складную соломенную штору у нас на кухне, или соковыжималку — штучку, из которой лился морковный сок — рыжий и невкусный, и вкусный яблочный, и их смесь, и китайскую розу на балконе и там же кактус, чье редкостное и невзрачное цветение довелось мне наблюдать. А люди — скажем, высокий, сухой, лысеющий Георгий Александрович Прейс или плотная брюнетка Ольга Федоровна, или их дочь, мамина подруга тетя Таня, Коробовы и Приходько пусть будут названы, но останутся теньями, потому что все лучше такими, какими мы не забыли их с детства.

Но пусть Давид Ильич появится на балконе справа, как появлялся позже, когда я приезжал к дедушке и бабушке на лето. Пусть появится он вместе с Марьей Сергеевной. Я расскажу их историю. Это история романтической любви бедного еврейского студента к польской красавице,

старше его несколькими годами. Она вышла замуж за другого, потом овдовела или развелась, опять вышла и опять не за Давида Ильича; к нему в Киев она приезжала на лето, и, кажется, ненадолго уходила к нему от очередного мужа. Я не знаю подробностей этой эпопеи, но тянулась она годами, и, наконец Марья Сергеевна насовсем приехала к Давиду Ильичу: умирать. Стариками они поженились. Я помню Марью Сергеевну — рыжую, круглоглавою, в очках, на балконе, помню их электрический самовар, помню роскошную могилу из лабрадора с дымчатым даггеротипом, которую воздвиг профессор Скобло своей незабвенной супруге Марии Сергеевне Скобло-Дашевской.

Эта могила — на большом городском кладбище, там же, где на краю еврейского участка лежит моя прабабушка. Я в детстве вообще любил кладбища и до сих пор люблю их. Мне нравится читать даты жизни на могилах, и смотреть на фотографии умерших. У меня замечательная, патологическая память на даты, и я обожаю играть с ними в уме в разные игры. А раньше я любил выписывать даты из книг и ставить в определенном порядке. Особенно даты жизни. Мне так нравится, что все имеет начало и конец. Особенно жизнь человека. И жизнь дома, улицы. И жизнь пейзажа. Все началось. И все кончится.

Например, дом три, просто «три», без литеры, соседний с нашим. Там продовольственный магазин, и, кроме того, там жили родственники Гоши Быкова. В отличие от булочной в доме напротив Института Вкусной и Здоровой пищи, все еще именуемой «дом Морозова», и молочного магазина на полпути туда по имени просто «пятнадцатый», этот никак не зовут. Не знаю, что продают там сейчас на кравчучьи купоны, а бабушка когда-то покупала мясо: мясник был знакомый. Но и магазин, и сам дом были не всегда, они ненадолго старше меня. Хрущовская коробка загордилась длинный сад генерал-профессора Чайки. Мама училась в школе с его внучкой, а я в детстве знал правнучку.

В следующем доме, номер один, жил Игорь Кравченко. Однажды, когда в первое или второе свое летнее возвращение я пришел к нему, меня угораздило перепутать этажи. Я назвал фамилию, и соседи по коммуналке кликнули Евдокию Кравченко — старуху старше самой смерти. О смерти напоминал и плакат рядом с домом, осаживающий любителей влезать на столбы электропередачи. Впрочем, в утешение здесь же, на углу росла дикая вишня, а через дорогу начинался ботанический сад.

Сколько имен я все же запомнил! Какая-то обратная перспектива: из тех, с кем учился в институте, о котором у меня остались самые теплые воспоминания, я кроме десятка — полутора человек, никого на улице не узнаю, не говоря уж об именах. Одноклассников, с которыми кончал школу, кое-как помню. О друзьях и врагах не говорю; но был у нас, скажем, такой парень по фамилии Мачеча, не мексиканец, а финн, и еще был Валера Шандебило, о котором вообще ничего не могу вспомнить, кроме фамилии и того, что он был необычайно жгучим брюнетом. Зато все, кто пришли ко мне на день рождения 16 января 1972 года, все, кто запечатлен на фотографии, вот вам они, слева направо: толстый Сережа Бобровник, с которым мы тут же, на дне рождения, поссорились и подрались, непо-

седливый Шура Гольдберг, чья мама училась в нашей же школе вместе с моей, Наташа Волкова, Гануся Островерх. . .

Нет здесь первого в небольшой когорте бесценных, и его фамилия я не помню. Кажется, незадолго перед тем он уехал из города. Куда — не скажу. Мы не переписывались. Внешне я тоже не до конца могу восстановить его в памяти: только и скажу, что он был мальчик упитанный, русоголовый, сероглазый, и, кажется, горбоносый, с бобровым лицом. Его отца звали Юрий, и, значит, Миша был «как Лермонтов» (чьё отчество я уже знал). Дома у него были какие-то книжки о римлянах и боксерская груша. С римлянами, впрочем я мог и напутать: несмотря на мое помянутое выше гениальное чувство хронологии, в моих знаниях были странные пробелы. Скажем, мне читали книжку об истории авиации, где упоминались братья Райт и прочие пионеры, и при этом называя даты, глотали для скорости слово «тысяча». Я знал уже, что в 900 году у нас в Киеве правил Вещий Олег, а в других странах тоже была какая-то древность, но мне казалось совершенно неестественным, что все эти варяги, рыцари и богдыханы обходились без самолетов, и я определил братьев Райт к ним в современники.

Еще Миша увлекался некими то ли азнаурами, то ли арнаурами, которые, по его словам, были лучше и смелее индейцев. О чем шла речь, мне уже не вспомнить и не понять, но едва ли об «азнаурах»: их бы я опознал. Отец впоследствии, гуляя со мной летом в Вырице, часами безостановочно пересказывал мне восьмитомный роман «Великий Моурави»: он знал его почти наизусть. Это повествование о Георгии Саакадзе, бедном дворянине (азнауре) ставшим грузинским национальным героем, но очень странным. Это был своего рода удачливый генерал Власов. Он все время завоевывал Грузию то для персов, то для турок, потом освобождал ее, сажал своего ставленника царем, а затем ссорился с ним, начиная все по новой. Кончил он плохо, как Алкивиад — после очередного перебега его, не поверив, казнили. Кажется, это было у турок. А «арнауты» могли возникнуть в моей памяти просто по ассоциации с хлебом, который продавали в доме Морозова. Это был желтовато-серый хлеб, промежуточный между ржаным и пшеничным, очень вкусный, под названием «арнаутка».

В этих арнаутов-азнауоров Миша принял меня и Сашу Гольдберга в конце школьного коридора, на втором этаже. Я ходил впоследствии в две другие школы, и иногда мне снится, что я до сих пор (какая гадость!) учусь в них. Только этой первой, где мне было сравнительно хорошо, я никогда не вижу во сне. Но я неплохо запомнил этот широкий коридор и лестницу с картиной: шишкинские мишки никак не сгрызут свои мишкинские шишки.

Вскоре после этого посвящения (остается ли оно и силе? и в кого я все же был посвящен?) первый из бесценных покинул наш Киев, оставив мне в наследство Игоря Кравченко, с которым я раньше не дружил, да и позже особенно не был дружен. Я даже не помню точно, где он, Миша, жил. Где-то слева, если стать лицом к Ботаническому саду, в противоположной от Владимирской стороне, где улица (или проспект) Толстого сама начинает все быстрее падать под гору, и с нею вместе летят. н

сходя с рельс, громыхающие трамваи — вниз, вниз к вокзалу, к вавилонским конусам мельничных башен и дальше — на улицу Урицкого, к Быковым. Может быть, он жил на Халтурина (не Миллионной — народовец, спавший на динамите в Зимнем, потом был повешен в Киеве за другой теракт), где мой детский сад?

Зачем меня туда отправили? У меня была неработающая бабушка. Я был нервным, болезненным ребенком. Конечно, сладить со мной было не просто: то еще было сокровище. Мама к моим трем годам превратилась в какой-то освенцимский ходячий скелет. Потом она и вовсе уехала в Москву. Но бабушка как-то со мной ладила, а кроме того, у меня была тетка, и наконец, бесчисленные дедушкины аспирантки выгуливали меня в Ботаническом и Шевченковском садиках. Мне прививали коллективизм. Ничего не вышло: четыре года я проходил в одиночестве по детской площадке. Во всех четырех группах я, родившийся в январе, был младшим, а однажды меня перевели на чин ниже — из старших в средние, но тамошняя воспитательница, седая и круглая Серафима Георгиевна, оказалась сурова к моим маленьким слабостям, а рыженькая Ася Владимировна была, видимо, добрее. Зато кто любил меня — это нянечки. Несколько молодых нянечек затаскивали меня в вешевую и часами рассказывали неприличные анекдоты. Не знаю, отчего им это так нравилось. Анекдоты были незамысловатенькие, все больше из институтского фольклора: неужто все были заочницы? «У какой птицы черные яйца?» — спрашивают у студента. — «У негров». Одной нянечки я очень боялся: она была толстая, а я вообще боялся и не любил толстяков. И блондинов. Я считал, что она уже сожрала нескольких детей и сейчас очередь за мной. Ее звали Нина. Когда я не доедал свое пюре, меня пугали Ниной.

Картофельное пюре — о, какая гадость! До сих пор не могу взять в рот. Ничего не в силах с собой поделаться. Говорят, нас всего одну зиму кормили в этом образцово-показательном садике пюре из мороженной картошки, но ничего, этого хватило. Вообще пища была, видимо, нездоровая, многих и почасту тошнило. За это наказывали, обеды и полдни все равно полагалось доедать. То ли впрямь кого-то при мне заставили есть свою блевотину, то ли это легенда из прошлых лет, но надолго впредь это осталось моим кошмаром. Хуже всех ели я и моя детсадовская возлюбленная Лена Корниенко, хрупенькая, черноволосая, дочь члена ЦК комсомола Украины. Впрочем, я любил ленивые вареники. После тихого часа иногда показывали кино, которого лишались штрафники — не евшие за обедом и не спавшие после (а полагалось если не спать, то лежать тихо, и конечно, вынув ручки из-под одеяла). Я обычно был в их числе.

Дома кормление меня было делом долгим и все семейным: кто-то один рассказывал мне истории с продолжением, другой стоял на страже, в нужный момент *всаживал* очередную ложку в мой с интересом открытый рот. Тетя Алла рассказывала про детей своих сослуживцев — Томочку и Ростика, двух маленьких безобразников, а бабушка про приключения порожденного ее фантазией медвежонка Хлопушку, заключающиеся преимущественно в непрерывном поедании *всаживаемых* в меня блюд. Все равно — это был дом. Зачем-то меня каждое утро уводили отсюда. По-

мню, идем с дедушкой по еще темной улице, навстречу доводящей до слез косою ледяной крупе и почему-то по другой стороне улицы неторопливо шагает грустный, но бесстрашный перед неафриканским холодом негр.

За исключением Лены Корниенко, у меня (как я уже говорил) не было друзей. Единственным за все годы приятелем был Женя — странненький круглоголовый мальчик. Игры у него были такие: он объяснял мне, что сейчас мы с ним отравим весь детсад. В чем собственно заключался акт отравления, я уже не помню. К кастрюлям и котлам мы, естественно, не подпускались. Поскольку в тот день кого-то из девочек стошнило (что бывало, повторяю, почти ежедневно) мы сочли это своей заслугой.

У воспитателей были ко мне свои претензии. Например, я упорно отказывался говорить по-украински, а «на языке страны», как выразился гетман у Булгакова, полагалось по крайней мере здороваться и прощаться. С мовой в городе было туго: то в шестидесятые годы национальная интеллигенция в приливе антисоветских чувств начинала изучать ее, то вдруг понаехавшие селяне также старательно ее забывали, и наступал отлив. Впрочем, борьба шла, в сущности, между более русифицированным и более украинизированным вариантом языковой каши, которая варилась от Днестра до Дона. На более или менее настоящем украинском языке говорил только радиоприемник. Почему-то этот, в сущности, красивый язык казался мне смешным и грубым. Отчего я должен говорить по-украински, если я еврей? — вопрос меня пятилетнего, который еще не созрел для следующего — отчего ж я тогда должен по-русски? — (а сейчас созрел ли?). Кстати, тогдашний мой русский был весь в хохляцком соку, мое «г» было как пуховик. Откуда же я узнал, что родился евреем? — родительская гордость. Во мне воспитывали самолюбие. Слабого и сварливого ребенка приучали «давать сдачи»: все, что угодно, лишь бы не был трусом. Это, конечно, не бабушкино, а мамино-папино (по переписке) воспитание. Что это значило: сказать (в Киеве!) — «я еврей»... Брежневский вялотекущий антисемитизм здесь был гуще, чем где бы то ни было. Хохляцкое жидоедство не чета московскому, анемично-книжному. Здесь была настоящая национальная вражда, вроде армяно-турецкой, щедро политая кровью — правда, как всегда, кровь текла с одной стороны... Хотя... Господи, но если бы мне впрямь было дело до египетских казней тридцать третьего года, до...

Однажды в Гидропарке дедушка зашел в тир — и ни разу не попал. «Видно, папаша, в армии не служили», — ухмыльнулся какой-то черноусый молодец. Дедушка внезапно рассвирепел.

— Тебе сколько лет?

— Я тридцать восьмого года... И не тыкайте мне! — резонно возразил молодец.

Но дедушка уже не слышал себя.

— Вот-вот, я демобилизовался в тридцать восьмом, а в сорок первом ушел на фронт, и опять служил четыре с половиной года, итого шесть, а ты... молокосос!

Хорошо еще, дедушка не сказал — «говнюк». Это было любимое его бранное выражение. Он вернулся очень поздно, в начале сорок шесто-

го. Последние месяцы он служил в Восточной Пруссии. Под его началом пленные немцы последнего — нестроевого — призыва собирали брошенный убитыми или сбежавшими поселенцами урожай. Один из немцев был похож, по дедушкиным словам, на ленинградского профессора К.

Дедушка достал из кармана сладкую соевую плитку — он все время носил их с собой — отломил, пожевал и слегка успокоился.

— Ташкент. . . — пробормотал он. — Это опять оно. «В Ташкенте сидели». Это опять оно!

Дался же нам этот Ташкент, о котором тогда давно уже никто не вспоминал благодаря героическим победам над трехглавым Хаддадом—Садатом—Арафатом, составившим евреям славу воинственной нации. На Украине, впрочем, был наготове ответ: «Немцев хлебом-солью встречали. . .» (едким, отчетливым шепотом). Ну, встречали, что с того, если хорошо подумать. Евреи и сами-то, привычно не веря пропаганде, не спешили (многие) эвакуироваться, ожидая нормального орднунга с бакалейной лавкой и свечами в субботний вечер. Конечно, Украине и без этого хлеба и соли было что припомнить, и вспоминали, демонстрируя свою преступно хищную и отчетливую память.

И пусть теперь хохлы разводят руками и крутят метафорические губы: куда ж все делось? Было восемь докторов, остался один фельдшер. Было не счесть лавочек — сейчас вот сельпо. Города стали поселками, местечки — селами, нет, не деревнями, из дерева здесь ввек не строили — были глиняные хатки, крытые камышовкой (а у *жидів* — черепицей по-немецки); нынче все дома облицованы цветной плиткой, это у них здесь такая мода. Богатые села, *тучные тельцы*: еще бы, у них же земля такая — палку воткнешь, зацветет, и сами хлеборобская нация, несравненная в своем роде. Выжившие под Вологодой украинские кулаки через полгода опять были богаче всех. В городах, польских, московских, еврейских им было тесно. Как вода решето проходил их бродячий Сократ Скворода. «Всякому городу нрав и права». . . Но этому городу никуда не деться от еврейской липкой *памяти*. Когда в Бабьем Яру распорядились разбить «парк культуры и отдыха», внезапная селевая волна, поднявшись оттуда, хлынула и затопила город. Никогда не было ничего подобного. Это была не египетская месть мертвых: напомнил о себе сам хозяин — воздух, растворивший их неспасенные души.

Только что было делать с этой памятью непьющим инженерам, кончающим институты в Днепропетровске или Харькове, завозящим к сорока кооперативную квартиру, «Запорожец», одного ребенка и собрание сочинений Фейхтвангера, чтобы в шестьдесят продать все по дешевке — кроме ребенка, который уже ждет их в пустыне Негев, и Фейхтвангера, который никому не нужен?

Связь этнографии с географией открылась мне позже, а с анатомией тем паче: во всяком случае не тогда, когда Ася Владимировна, помогая мне облегчить малую нужду в уборной без перегородок, поморщилась: «Какая у тебя писька некрасивая!» Впрочем, к лону Авраамову я оказался причислен на сей раз случайно, как Тристрам Шенди. Просто уролог выбрал такой традиционно-радикальный способ лечения врожденной

анатомической аномалии. Зато мне хорошо дали когда-нибудь впоследствии понять, с каким местом связано национальное чувство — это вне религии, культуры и прочих сантиментов. Впрочем, хотя брюнеты с младых когтей казались мне (и сейчас кажутся) красивше блондинов, меня отчего-то тянуло не к еврейкам. Начиная с Лены Корниенко. Гануся Островерх была полуукраинка, полурусская. Так вот о Ганусе.

Мы познакомились еще весной, когда администрация школы предварительно составляла первые классы. Абитуриентов строили по детским садам, но поскольку из моего садика никого больше не оказалось, меня поставили в пару с «домашней» Ганусей (конечно, тоже приняв за «домашнего»). В сентябре мы встретились старыми друзьями. Нас посадили рядом: я уже тогда носил очки, а что было с ней, не помню, но во всяком случае мы сидели впереди, массивными спинами заслоняя доску крошечным и очень милым Вите и Зое, обитателям второй парты. Сзади всех скучал главный двоечник Юрченко, огромных размеров мальчик. Школа была хороша: английский с первого класса. Для меня он был, впрочем, не нове: нас понемногу учили уже в детском саду. Все оказалось втуне! Только одно с тех пор и запомнил: *Lusy Locket lost her pocket, Kitty Pity found it*. Я тоже *lost my pocket*, через три года мне пришлось начинать с нуля: в пригороде, куда мы переехали, была только одна английская школа: и это был интернат. Хорошо, что родители догадались не отдавать меня туда. Лучше уж наша каторжная восьмилетка на краю света.

У, будьте прокляты, общие спальни и сортиры без перегородок, латинист Янчевицкий со своими скаутами, тюрьмы, казармы и румяные пионерлагеря, где мажутся зубной пастой! Я лично был только в одном, и то «городском», вместе с Ганусей, летом после первого класса, летом великой жары и подмосковных пожаров. Не знаю даже, почему это называлось лагерем. У нас была милая девушка — вожатая, которая возила нас по киевским холмам-паркам. Мы бывали и в Карпатах и Саваннах Нового Ботанического Сада, и на Владимирской Горке, где внизу стоит, насупившись, галицкий магдебургского происхождения львенок двенадцатого века. Этого древнего зверя можно было оседлать, как пони, чем я на одной более поздней фотографии и занят. А сверху, параллельно короткой и скучной фуникулерной дороге, текут выложенные мелким кирпичом дорожки, вильясь между витыми и почти горизонтальными стволами, верхом на коих мы играли в городе с Гошей Быковым.

Помню еще какие-то концерты юных дарований, где блистала Гануся. Будная, она пыталась бороться с наступившем мне на оба уха медведем, хотя на мне сплосал бы и опытный зверолов, поддевший на рогатину не одну животину. Впрочем, две-то гаммы я освоил, чтобы сразу же позабыть...

О романе нас, семилетних, я помню немного: по ночам я воображал Ганусю, у которой болит горло, сердце, легкие. Это вызывало у меня чувство мучительной и сладкой нежности: в то время, как мысль о чьих-нибудь кишечных резах доставляла мне наслаждение менее возвышенного характера, и с первых лет жизни как-то увязывалась с онанистическими потугами. У меня были и другие странности. Например: есть



у меня две фотореликвии. На одной, вполне благопристойной, я вдвоём с Ганусей. Ниже в альбоме ерническая подпись моего дедушки, автора фотки: «Готовь сани летом!» Зато другая... Это официальная фотография. Мы с Ганусей порознь, каждый на своей карточке, с букварями наперевес. Она — девочка как девочка, а у меня оголен лоб, как после парши. Случилось это примерно так: я вошел в комнату с ножницами в руках и в присутствии мамы и дедушки спокойно отрезал себе кусок челки. Это был один из нескольких случаев, когда я совершал нечто бессмысленное из своего рода дебильного интереса: а что, коли сделать так? Однажды, поставленный воспитательницей в угол, (никак с тобой не попрощаться, детсад) я вдруг встал на колени и начал креститься, вызвав гнев воспитательницы и смущение бабушки. Это же чувство — вкупе с еще не укрощенным бунтарством — заставило меня ни с того ни с сего год спустя, уже в другой жизни, показать учительнице кулак, принятый моими испорченными одноклассниками за кукиш. В киевской школе я кулака никому не показывал. Вообще там было неплохо. Самое неприятное воспоминание связано с нашатырным спиртом, которым мыли парты: он вызвал у меня аллергический насморк.

Как-то очень легко мне сейчас, в тогдашнем возрасте моих родителей, говорить о том времени в первом лице. Что поделаешь: я весь, в хорошем и дурном, образовался к своему семилетию, я весь там, там и впрямь «я», а не кто-то другой. Дальше меня только портили: я был храбр, а меня запугали, и снова пришлось медленно и не до конца храбреть, я не умел лгать и выучился. Даже стихи я начал писать в киевской жизни. Вот мое первое творение:

Из столе я сижу,  
В потолок я гляжу.  
Если бабушка придет,  
Мне, наверно, попадет.

Это самое реалистическое создание моей музыки (не считая того, которое я в данную минуту пишу) действительно создано было при описанных в нем обстоятельствах. Стол, разумеется, кухонный. Мне не попало. Бабушка, чтившая Камен, была растрогана и простила меня.

Мне было подарено еще не одно возвращение в эту утерянную жизнь — начиная с первого, тем жарким летом; за шестнадцать лет я бывал здесь раз десять — пока все как-то само не обрубилось обстоятельствами.

Обычно я приезжал летом, а дважды в конце января, соскучившись по той полоске снега на советском фронте. Когда я уже был достаточно взрослым, чтобы меня не встречать, я обычно не сообщал загодя о дне и часе приезда. Поезд приходил вечером, и я, проехав две или три остановки от вокзала, сходил на окутанном сумерками бульваре Шевченко, недалеко от уже давно отзвонившего Владимирского Собора, и нырял в Старый Ботанический Сад. Слева от меня оставался роддом, где по здешнему серым январским утром я появился на свет. Справа новень-

кая решетка отгораживала дорогие овраги моего детства, а у деревьев, росших вдоль аллей, поставили таблички с латинскими словами: парк решили сделать и вправду ботаническим. Днем за вход в эту часть сада брали деньги, сейчас там висел замок, но, по счастью, главную, сквозную аллею не запирали даже на ночь. Я шел, и чем дальше, тем больше окутывал меня запах не один месяц впитывавших тепло и влагу живых листьев. А зимой сад был пятнист и невзрачен, как мокрый зверь.

В один из этих приездов я после долгого перерыва — встретился с Ганусей Островерх, по словам старших, очень расцветшей. Меня ждало разочарование совсем в набоковском духе. Впрочем, не так уж я рвался увидеться с начавшей обрастать чуждой былью Ганусей. Если уж кого я хотел повидать, так это Наташу Волкову, худую чернокудрую бестию, с которой мы играли в ее куклы. Она куда-то переехала, и я потерял ее след. Однажды, уже много лет спустя, мне показалось, что я опознал во встречных женщине и девочке-подростке Наташу и ее мать. Увы, мгновение спустя я потерял к ним интерес и уклонился от дальнейших выяснений истины: на шее у дамы висела могучая цепь из по меньшей мере десяти рулонов туалетной бумаги. Еще была правнука профессора Чайки, с которой мы пририсовывали пластмассовым пуспикам пьськи, а так как пририсовывали мы разное, тут-то я и узнал правду о разнице полов. Но строго говоря, мне никто не был нужен. Просто мне временами становилось скучно. Месяц или два я проводил в Киеве, не общаясь ни с кем, кроме Гоши Быкова.

Гоша Быков — единственный, кого я называю не подлинным именем, а чтобы читатель не запутался, я назову так же точно совсем другого человека; так вот по Киеву я гулял с тем Гошей Быковым, что жил на улице Урицкого, ниже вокзала, дальше мельниц. Мы часами беседовали на темы все больше из древней истории, которую Гоша любил не меньше, чем первый и бесценный Миша. Помнится, его возмущало несправедливое возвышение Александра Македонского, этого истерика и авантюриста, и забвение его подлинно великого отца Филиппа. С собственным отцом у Гоши были непростые, почти венские отношения: то он восхищался им, то бунтовал, и, судя по всему, смертельно ревновал к нему меня. Виктор Федорович (имя я не меняю, потому что это не имя, а дата рождения. — Они все Викторы, зачатые в конце войны и начале мира) к своему тринадцатилетнему (допустим) сыну относился с пристрастием, а пятнадцатилетнего меня отчего-то привечал. Он был блестящим человеком, но на теплом украинском воздухе его блеск на глазах тускнел, и он явно боялся этого. У него была хорошая библиотека, он с увлечением подбирал обои и мебель для своей кооперативной квартиры и не без удовольствия работал на даче. Неосуществленность безымянных гениев — вот была его любимая тема. Бетховену препятствия не страшны, Людвиг преодолел их и впредь все ван Бетховены преодолеют, но как быть с Моцартами? Если б не на редкость благоприятные условия... Почему, спрашивал он, в Голландии в семнадцатом веке творило сорок гениев-живописцев, а потом двести лет не было ни одного? Сам Виктор Федорович не был ни живописцем, ни музыкантом, он был математик,

и, говорят, весьма одаренный. На третьем курсе он, всегда интересовавшийся теорией игр, внезапно предался ее практическому изучению, совершенно забросив учебу. Тем не менее институт он закончил, после некоторых мытарств нашел приличную работу, защитил диссертацию. Но все это было не то, совсем не то! Он не озлобился, он остался легким человеком. Однажды я застал его за работой. Он сидел на краешке стула и, заинтересованно хмыкая, записывал на обрывке бумаги какие-то формулы. Увидев меня, он отложил свое занятие и заговорил о пустяках. Я понимал его: именно так, на обрывке бумаги, сидя на краешке стула, играючи, я сам сейчас пишу о Викторе Федоровиче Быкове. Я, которому ничего и никогда не давалось даром с первого раза, который даже английский язык, выученный в первом классе, забыл во втором, который и плавать-то научился, смешно сказать, в двадцать лет.

Но Виктор Федорович, играючи, проиграл, и потому он так ревниво относился к сыну. Не отсутствием блестящих способностей раздражал его Гоша, а тем, что и без них постигнет того же, что и отец: должности старшего научного сотрудника, кооперативной квартиры и хорошей домашней библиотеки. Меня он отчего-то привечал; когда-то он был дружен с моими родителями, но теперь они не виделись годами. Я был сам по себе. Ему нравилось вести со мной философские споры. Сам он был таким прогрессивным шестидесятником из романа братьев Стругацких, а я переживал обычный в юности мистический период. Впрочем, это было три-четыре года спустя. Тринадцати, четырнадцати, пятнадцати лет я слушал его с большим интересом. Тогда я ежегодно бывал в Киеве, это-то и были годы нашей с Гошей дружбы. Мы не только спорили о македонянах, не только играли в города — я помню наши велосипедные прогулки в Глевахе, довольно противном садово-дачном месте, почти безлесом, окруженном душистыми желтыми полями. Самым интересным там были незрелые, еще спрятанные в зеленое мясо грецкие орехи, желтовато-румяная черешня и разная фруктовая пышность, подобная продававшейся на Крытом рынке, он же Бессарабка. В Глевахе же был сад моих других бабушки и дедушки, в городе живших рядом с другим, уже не существующим базаром. Еврейский Базар, Евбаза, давший название району со славной Киевской Лиговки: вот где прошло детство моего отца. Его дяди, Кричевские, беспокойно спящие в Бабьем Яру, до войны были грозой грозного района. Неподалеку от них стояли в дни моего детства еще настоящие, еще не оскверненные Золотые Ворота: руины, где среди новенькой (какой-то семнадцатый век!) кладки проглядывают тысячелетние плоские кирпичи. В год ложного полуторатысячелетия ворота решили восстановить в первоначальном виде: вышло подобие оперной декорации. Тогда же была воздвигнута Баба (Мать-Уродина) своими неумеренными статьями обратившая в ничто изваянного Клодтом Святого Владимира с Горки. Впрочем, как объяснил я одной сокрушавшейся о народных деньгах барышне — «ну, построили бы лишний танк». Мне было обидно не за державу, а за ландшафт, в котором я любил почти все — даже здешнего медного всадника, машущего саблей на своем обрыве близ здешней второстепенной Софии (точь-в-точь как наш Иса-

кий — заместитель святого Петра). Этот человек на скале, бунчужный злодей, мстя за уведенную жену и ограбленное имение, распорол надвое Украину, полил ее разноплеменной жирной кровью, и, не сумев воссоединиться с братским турецким народом, отдал полстраны московскому царю. Результатом этого выбора стало, между прочим, воздвижение в двух шагах отсюда, всего век спустя, одного из маленьких чудес света — голубой летучей церкви, живой эмблемы осьмнадцатого столетия, нежной младшей сестры нашего улетающего в космос Собора Всех Учебных Заведений, ванессы, выпорхнувшей из капризной головы старого итальянца и навсегда усевшейся на краю одного из Борисфенских обрывов. На нее надо смотреть снизу — с головокружительного по крутизне и красоте спуска, прославленного и воспетого шовинистически презревшим украинскую свободу и перебежавшим в москвичи романистом. Одноэтажный беленый дом, где он родился, показал мне Гоша Быков, а я год или два спустя демонстрировал его юным пишущим остолопам из нашего Севера проездом через родную столицу. Бойкий юнец в темных очках и нарочито дырявых джинсах — назовем его Петя Лавров — нажал одну из кнопок. В дверях появился мужчина без брюк, девочкам показавший толстым.

— Здесь родился Булгаков? — бесцеремонно спросили юнцы.

— Здесь, — привычно ответил голый жилец. — Но сюда нельзя. Здесь ремонт.

Через несколько дней я исторгал восторги чуть-чуть диссидентскими виршами:

Михаил Афанасьевич, вот и пришли,  
Здесь все тот же сварливый уют.  
Тряпки пестрые, серые «Жигули»,  
Деревянные балки гниют.

Этот спуск заголяет широкий Подол,  
Романтичен и дерзок, как скиф,  
И таблица жильцов выполняет свой долг  
Вместо мемориальной доски.

Так все и было: тряпки пестрые, серые «Жигули», а из окна дома напротив (еще более знаменитого — Дома Турбиных: образец победы литературы над жизнью, персонажа над персоной) кричал тогда живой — и еще два месяца проживет — Высоцкий, и еще (так кончались стихи):

И по улицам разные ходят коты,  
Только черного ни одного.

Широкий Подол был весь как на ладони и весь как снятая постель. Уже в поздних восьмидесятых там возникло довольно вялое изваяние Сквороды — быть может, величайшего из людей, рожденных этой землей. Почему-то у памятника любили распевать свои гимны баптисты — конечно, по-русски, как сам Григорий Скворода и как весь Киев. В Подо-

ле, бывшем гетто, было еще что-то немецки (ашкеназийски) остроконечное, а площадь вокруг Софии была вся в прелестно-вычурных домиках «из крема и сиропа», как метко сказала по другому поводу поэтесса Мартынова. Это по-южному чувственная эклектика конца прошлого века. Здесь можно было сесть на автобус, и минут через пятнадцать ты оказывался у музея, где несколько залов занимают прекрасные круглоголовые примитивы — казаки Мамаи с бандурами. Сколько крови — еврейской, польской и собственных недоучившихся латыни сынков пролили эти Гонты, эти Бульбы — крови, которую ничем не выковыряешь из-под ногтей. До главная прелесть была все же не в Мамаях. Там в одном зале висел портрет, по манере и мощи достойный Эль-Греко: чернородый молодой человек с опущенными глазами. Это сошедший с ума от любви сын князя Долгорукого, фаворита русского Гелиогабала, мальчика-великана Петра II и дочери фельдмаршала Шереметева. Он умер в Печерской Лавре, здесь и был изображен забытым гением из здешних иконописцев по имени монах Самуил. Сама Лавра, с ее комфортабельными подземельями и сохшимися безыными лапками неистлевших монахов, была еще в десяти минутах езды. (Какое невообразимое отвращение, какой страх испытывал я к скелетам, останкам, костякам! Даже маленький остов салаки заставлял меня передернуться). Еще дальше была Кирилловская церковь, распisanная в молодые годы киевским Ван-Гоголем — Врубелем: и ведь недурны закатившие глаза апостолы-византийки на потолке! Здесь он свободен от всего налипшего и нему романтического, смешанного с серой, сала. Еще он написал еврейскую девочку на фоне персидского ковра и таких же остроплечих и черноглазых ангелов, которыми хотел изукрасить Владимирский Собор. Ангелов в Собор не пустили, быть может, уже почуяв в них что-то от будущих летящих, сидящих и поверженных; и заменили васнецовским узорочьем, в котором уж точно ничего ни сверху, ни снизу нет. Кроме того, здесь жил художник с забавлявшей моего дедушку фамилией Ге. Здесь училась на женских курсах Ахматова. Здесь женился Мандельштам. Здесь убили Андрея Юшинского. Я все еще люблю этот город. Он красив даже если стать к нему лицом.

Но, любя, я далеко не все в нем знал: и когда в год тысячелетия погребения Перуна я привез сюда жену: показывать географическую родину (а оказалось — сам с ней прощаюсь) — Гоша Быков сводил нас в Печерск (партийно-аристократический район) и показал дом «Морское Дно». Якобы, рассказал он, это творение безумного зодчего, оплакивающего сына — утопленника. На самом деле (как я и заподозрил, а позже прочел) чудо было заказано в рекламных целях цементной, если не вру, фирмой. Выглядело же оно так: вся крыша, все выступы, эркеры, наличники — все было усажено — просто рыбами и морскими дивами; само собой, цементными. За спиной, под горой шумел почти отвратительный Крецатик. Почти — потому что предельная по массе и какой-то онкологической пышности архитектура пятой пятилетки здесь смягчается и поглощается тропическими язвами плюща, сплошь затопляющего половину фасадов.

Другой Гоша Быков весь месяц говорил только о Карабахе да Карабахе, вовлеченный своими армянскими родственниками в могучее движение солидарности с маленьким гордым народом, ухитрившимся (что особенно всех восхищало) в полном составе митинговать неделями, не разбив ни одного стекла. У меня еще года два пылилась на столе папка с письмами солидарности — от Сахарова, от сотрудников НИИ Аллегории и Элоквенции, от курдов, просящих советское правительство срочно вывести их из состава варварского **Азербаржана** и передать гуманным армянам, фотографии сумгаитских потрошенных трупов и рыдающих беженцев. Впрочем, мой стол — это все равно что Троя или собрание сочинений Ленина: чего только не найдешь.

Армения преследовала нас: молодой человек, заговоривший с нами в кафе, (на вид еврей, а акцент как у прибалта), оказался армянским кинорежиссером. Говорить же он мог, кроме поруганного Арцаха, еще об армянских древностях. Мы подходили к церкви двенадцатого века, и Андроник (так звали его) снисходительно хмыкал: «Для России старая!». .. Ъ Бабий Яр, куда мы в тот же день отправились, Андроника мы не взяли: не трясти же в ответ собственными стигматами, да и потом я попросту хотел положить цветочки хулиганам Кричевским, раз уж прабабушки на громадном кладбище не найти. Хотя Андроник меня сразу же идентифицировал, и стал хвалиться, что у них в Ереване нет антисемитизма. (Так его нигде на Кавказе нет, у них на сей счет армяне, а у армян азербайджанцы, очень удобно). Лишь единожды заговорил наш новый знакомец о кино: вообще-то у нас, сказал он, с этим худо, грузины — да, там все в порядке, а армяне не могут работать вместе — националисты, то есть, тьфу, индивидуалисты, вот что значит читать московские газеты. А речь шла о Параджанове (еще одна тутюшня знаменитость, в Киеве его и упекли. Потом, после тюрьмы, его пригрели там, где с кино все в порядке, а армян чуть ли не больше, чем в Армении. В этом городе мы потом побывали и опять — вдвоем: еще более шурушавший и горбатый, а так все то же самое. Фуникулер, чтобы не наводить воспоминаний, не работал, и к могилам матери Чингиз-Хана, убитого фундаменталистами дипломата и поэта, сравнившего сережку в женском ухе с серебряной пчелой, вам пришлось карабкаться пешком. Вместо вареников здесь были хинкали, вместо кубинского прохладительного напитка, переполнявшего родной мой город в христианский год — сто сортов сиропов, а так все то же самое. У еще не разнесенного гранатометами правительственного здания уже стоял здешний с опущенными руками крест, а пустой музей был переполнен любимыми по плохим репродукциям картинами. На одной из них Георгий Саакадзе освобождал отечество. Казалось, что небо вот-вот сожмется в одно большое облако, и повсюду стоял запах, которого мы не могли распознать.)

... Но о своем-то городе я уже кое-что знал: я видел пошедшую пятнами листву, утончившиеся и съезжившиеся в августе ногти старых деревьев. На взгляд с Владимирской Горки вся листва на спуске к реке и на острове, в пустом Гидропарке, шла бурыми, редко перемежающимися последней темной яшмой полосами. В то лето природа уже в мае была

беременной, темно-зеленой. Теперь она догнивала. Дети во дворе пугали друг друга: «Ты раньше умрешь!» «Нет ты. У тебя кровь белая!» Вооруженные счетчиками Гейгера громадяне проклинали Горбатого Мишку, который не вывез весь город, гуртом, подальше от ядовитой земли, воды, неба, несъедобного верха и низа. Ровно в полдень начинался ливень — с тех пор, как здесь напрудили рукотворное море, это было обыденным делом. Нижние улицы тонули заживо, как Васильевский в часы неевского бешенства. Теперь весь Киев тряся, законопатив дыры: с неба лилось черт знает что. Во всяком случае, не вода. Если вода, то очень тяжелая. Побуревшие трилистники каштанов были похожи на ладони прокаженных. Каштаны у нас были несъедобные, конские. Вырастали они в зеленых ежах, а потом еж лопался и из него рождался неправильный глянецовый шарик, и впрямь напоминавший конский глаз с бельмом.

Как только шаррахнуло, у нас появились беглецы, в том числе забывший о не сданных в Институте Вкусной и Здоровой пищи зачетах Гоша Быков. Другой Гоша Быков приехал в Питер четыре года спустя, с молодой женой, как раньше я и как полковник Васин, про которого пела тогда вся Россия. Жена у Гоши была белокурая, накрашенная и беременная. Сам Гоша был весь в бычьей коже, ездил на любые расстояния только на такси, ел только в ресторанах, раздавая чаевые и немилосердно ворча. Кормили и вправду плохо. В кармане у Гоши был калькулятор, и заходя в каждый коммерческий магазин, Гоша долго тыкал в клавиши и что-то сосредоточено записывал в книжку. Получалось, у них все дешево, а у нас дорого, кроме косметики. В вечном процветании своей черноземной родины Гоша не сомневался. Я жаловался ему на обманы сумасшедшего мецената, а Гоша любезно брал на содержание всю петербургскую словесность.

...Я не жалел о своей судьбе. В последний день зимы мы с мамой вышли на последней остановке автобуса, среди пустырей Красносельского шоссе, и я услышал скрип серого снега. Я бывал здесь только летом: один раз мы жили в полной желтого сена деревне с финским именем Гуммолосеары, на полпути между Павловском и Царскосельским предместьем София, другой — в квартире с двумя кошками: матерью и дочерью. Мы невинно загорали на траве перед одним из дворцов, до которого мне еще не было дела. Еще мы бывали в Черторое, и в Ирпене, и в Ворзеле (мой сачок, мои разноцветные шапочки), и в Одессе в холерный год (длинные железного цвета волны бьют о причал никак не могущий пристать прогулочный катер, баклажаны и кабачки, на том берегу Турция, где сидят по-турецки). Теперь я попал в летний мир зимой. Мне показалось, что здесь страшновато. В общем, я не ошибся.

Нет, конечно, здесь было разное. Было бесценное и бесценные: мужчины не хуже Миши Лермонтова, женщины не хуже Гануси. Был даже человек, очень похожий на Гошу Быкова. Он был большой любитель башенок, на которые щедро базарная Флоренция, что прикрывает на Загородном и Стремянной страшные соты проходняков. Бывший диссидент Шмоневиц наотрез отказался составить ему компанию, вспомнив о карах, сулимых Законом о Чердаках и Подвалах, но я был пепуганной птицей,

и вот карабкался с Гошей вместе по заржавевшим в порошок лестницам, чтобы взглянуть свысока на сотни рыжих крыш, на желтые, в еще более желтых подтеках, с кислым запахом стены, однажды увидеть издалека пожар костела на Невском и в конце концов заметить, что стою на толстом стекле и вижу насквозь все шесть этажей доходного дома.

Я оказался с другой стороны стеклянного свода. В окнах башенки был утонувший в мокрой мороси и моченой морошке Питер, но из дома подомной был выход в другой город — зеленый и горбатый. А надо мной, я знал, есть второй стеклянный свод — серый в голубых подтеках, а выше черный в мелких пробоинах, а за ним, должно быть серебряный или серебрянный, и, может быть, им нет конца, но это я узнаю, когда пройду их насквозь.

Этот Гоша тогда то ли работал в ночную смену в булочной, то ли спекулировал портвейном. Он ушел из дома и ночевал в кассах аэрофлота. Но он делал успехи. Он уже бросил писать стихи, которыми до смерти утомил половину городских знаменитостей. Позже он закончил институт и стал доверенным лицом народного депутата.

У другого Гоши все сложилось хуже: компаньоны предали его, выправив себе загодя заграничные паспорта, но Гоше все-таки повезло, в день обыска он был во Львове. Сейчас он живет в Москве на нелегальном положении. Про третьего Гошу не знаю ничего; Гануся еще пять лет назад была замужем и, кажется, родила. Сережа Бобровник защитил кандидатскую диссертацию. А я опять живу рядом со старым Ботаническим садом, наполовину съеденным зелеными гусеницами и тоже овражистым, потому что это почти не Петербург. За рубль дают четыре с половиной купона, а за доллар вчера давали тысячу двести рублей, а сколько сегодня — не скажу, боюсь соврать. Вот сейчас включу телевизор и услышу.

Но это не имеет никакого значения. Там все по-прежнему. Ровно в полдень начинается гроза, дедушка поливает кактус из шланга, соковыжималка смешивает яблочный и морковный сок, в детском саду дают к обеду картофельное пюре, а иногда ленивые вареники. Или винегрет — его я тоже любил.

И Кира Лазаревна топит свою печку.

Всякому городу нрав и права.

Всяка сердцу своя есть любовь.

А мне одна только в мире дума.



---

---

Лев Лурье

## ЗАМЕТКИ ЗЕВАКИ

### БРАТВА ГУЛЯЕТ. СТИЛЬ «MAFIOZO»

Недавно мой приятель прогуливался с девушкой по с детства знакомой улице. Проходили мимо дома, где много лет помещалась известная всей округе забегаловка: синюшные алкоголики распивали здесь портвейн под столовские котлеты с макаронами. На месте забегаловки в одночасье возник ресторан. Мощные молодцы в камуфляже, литой зонтик над входной дверью мореного дуба. Зашли.

Эстрада. Белый рояль. Барышня играет Шопена. Араукарии в шатовых кашпо. Молчаливые, вежливые официанты. За столиками тихо переговариваются несколько компаний мужчин в итальянских пиджаках. Рядом с приборами на столах радиотелефоны. Когда девушка друга чему-то громко рассмеялась, посетители обернулись и посмотрели на нее укоризненно. Позже выяснилось, что это ресторан в котором завсегда — киллеры. Нервная работа: хочется покоя. Но ресторан — хороший, раньше таких в городе не было.

Мафия тянется к культуре. Первая часть «Крестного отца» закончена. начинается вторая серия.

Вкус мафиози сказочно разбогатевшего на рэкете, контрабанде, кредитных спекуляциях, отмывшего капиталы и стремящегося отмыть репутацию, стать уважаемым членом общества, формировался несколькими источниками: русский блатной фольклор с его образом благородного разбойника, грабящего богатых и раздающего бедным, жертвующего на сирот и церковь; полузапретный в советские годы предреволюционный и белогвардейский романс и поздние стилизации под него, сочетающие экзотизм («лиловый негр вам подает мантию») и гвардейско-дворянскую ностальгию («тройки пронесутся к „Яру“... «проститутка — дочь камергера», «корнет Оболенский раздайте патроны, поручик Голицын налейте вина»); французский приключенческий роман XIX века непосредственно и в многочисленных, шедших в России кинопереложениях; американская массовая культура.

Из этой взвеси, где лагерный опыт сочетается с впечатлениями от недавних поездок на Запад, и рождается сегодняшняя бытовая культура мафии. По характеру она перекликается с культурой средневековья и ренессанса, с рыцарями, разбогатевшими благодаря жестокости, смелости и физической силе. В отличие от буржуазной культуры, построенной на экономии и респектабельной скромности, феодальная культура жидется на подчеркнутой роскоши. Вещь не только должна быть дорогой, она обязана буквально кричать о своей цене. Новые богатые хотят выглядеть как аристократы, но не имеют под рукой образцов: поэтому их заказ архитектору, режиссеру, модельеру фантастичен и неопределен. Он близок к эстетике музыкального театра Второй империи: «Аиде», «Баядерке», «Риголетто». Мафиози хочет жить в фантастической декорации, выполненной из подлинного и дорогого материала. Своеобразное сочетание эксклюзива и китча, массового искусства и искусства для избранных — эстетический заказ мафии.

Все это в Петербурге уже было. Недаром Достоевский называл петербургскую архитектуру стражением «всех идей и идей, налетавших с Запада». В царствование Александра II, отчасти под влиянием тех же образов искусства Второй империи, сказочно разбогатевшие на железнодорожном строительстве и банковских махинациях предприниматели и получившие выкуп после освобождения крестьян помещики, застроили район, примыкающий к Литейному проспекту, доходными домами и особняками, несущими признаки всех возможных архитектурных стилей от мавританского до готического. Если архитектуру в целом часто сравнивают с застывшей музыкой, то архитектура эклектики — застывшая шансонетка, опереточная ария — яркая, поверхностная и вульгарная.

Эклектика подобна плохой косметике, она не подчеркивает черты лица, а создает новую внешность тонким слоем грима. Наше время — время новой эклектики, еще более ядовитой и бьющей напоказ, чем та, что господствовала в конце прошлого века. Если в той, старой эклектике высокие образцы архитектуры имитировались штукатуркой, то теперь дешевые картинки с американских реклам воплощаются долговечными и дорогостоящими материалами.

Быстрее всего вкусы новых заказчиков проявились в загородном строительстве. Коттеджи вокруг Петербурга напоминают кавказские сакли, замки Людовика Баварского и Дисней-Ленд одновременно. Башни с коническими завершениями, окна-бойницы, эркеры, балконы, сложные оконные карнизы, мощная ограда — чугун, бронза, гранит раапакиви, высокий цокольный этаж с несколькими гаражами. Загородные резиденции подготовлены к круговой обороне, они способны выдержать прямое попадание гранатомета «муха». В отдельных сторожках — вооруженная до зубов охрана, могучие чугунные ворота открывает специальное электронное устройство. Особняки строятся рядом друг с другом — в случае опасности собрат по мафии окажет помощь.

Именно благодаря мафиози в Петербурге на сто лет позже, чем в Лондоне и Париже началась «suburban revolution» — переселение богачей

в пригороды. Западная, прежде всего американская модель; образ поместья, особняка из русского помещичьего прошлого; особая концентрация мафии в пригородных поселках, где преступные связи устанавливаются еще на школьной скамье — все это делает рост коттеджного строительства на Карельском перешейке особенно стремительным.

Офисы банков, интерьеры квартир, коттеджей, ресторанов тяготеют к такой же оперной декоративности верризма: итальянская кожаная мебель сочетается со светильниками под антиквариат, фарфоровыми или керамическими вазами ручной работы, коврами, бронзой, салонной живописью начала века, мраморными каминами, пальмами, финской сантехникой и никелированными стойками американских салунов.

Машины выбираются строго по иерархии. Боссы ездят на последних моделях «Мерседесов», те кто попроще — на «BMW», «VOLVO». Японские, американские и, особенно, русские машины — удел простонародья. Тип машины, как количество и величина звездочек на офицерских погонах. Жены и любовницы в собольих шубах, итальянских и французских платьях лучших модельеров, в массивных золотых украшениях, Испанские гранды времен Веласкеса, русские баре елизаветинского времени. Это вам не протестантский дух по Веберу. Братва гуляет.

Эстетика мафиози распространяется прежде всего на шоу-бизнес. Любимец новых русских, певец А. Малинин — статный блондин с впалыми щеками и яркими губами вампира, сочетающий в своем сценическом образе гусарский ментик и косичку хиппи, поет душераздирающие романсы о кутежах гвардейцев с цыганками. Певицы Вика Цыганова в офицерском кителе с портупеей и Валерия в облегающем шелковом белье начала века, стилизуют нечто среднее между парижским шансоном времен тулуз-лотрековского «Мулен-Ружа», строевым маршем Гражданской войны и уголовной песней, Лас-Вегасом и блатной малиной.

Самым модным спектаклем прошлого сезона в Петербурге стала ничем не примечательная ни с точки зрения режиссуры, ни актерской игры «Дама с камелией» А. Дюма-младшего в театре В.Ф. Комиссаржевской. Главной приманкой многочисленных зрителей явилась роскошная сценография — миллионные костюмы художницы Аллы Коженковой. Большая часть зрителей принадлежала к неопитам, привлеченным богатством постановочной части и неслыханной стоимостью билетов.

Новая эклектика, раздражающая старую культурную элиту своим вызывающим безвкусицей, может объективно восприниматься только в контексте ханжеского аскетизма позднекоммунистического искусства и быта. Архитектура охотничьих домиков для обкомовских работников была укрыта непроницаемыми заборами и густыми лесами. Директора заводов носили одинаковые пыжиковые шапки, темно-серые костюмы из тонкой шерсти с лавсаном и передвигались на черных служебных «Волгах». Из трех типов железобетонных изделий и двух видов кирпича можно было строить только уродливые типовые здания. Старый Петербург разрушался на глазах. В грязных ресторанах с интерьерами 30-х годов сидели иностранцы.

Теперь жизнь разнообразна. Пролетки проносятся к «Яру». Директора одели кашемировые пальто.

На месте грязной забегаловки — ресторан для киллеров.

### ФИНН, КАК ПЕТЕРБУРГСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛИЯ

Когда мне исполнилось 12 лет, мы с моим другом и одноклассником Калачихиным решили разбогатеть. Первая наша идея, разведение хомяков на продажу, окончилась полным крахом. Гнусная хомячиха, подобно Кроносу, пожрала своих детей. Оставался еще один путь, уже избранный многими нашими одноклассниками — Большая Охота на Финна. Мы сэкономили деньги на школьных завтраках, купили в ближайшем киоске значки с изображением коммунистических вождей и отправились в Эрмитаж. Второгодник Зубко, раньше нас вставший на путь порока, снабдил нас необходимыми лингвистическими сведениями. Мы выучили «Пурукуми йо?» («Есть ли у вас жевательная резинка?») (эту фразу знало более экзотических выражения, заимствованных Зубко из неизвестного источника: «Пальянка макса тема хата?» («Сколько стоит эта шляпа?») и «Тема кула — пойка!» («Эти парни — дураки!»).

В Эрмитаже в зале Рембрандта мы напряженно рассматривали портрет еврея в красном, с волнением ожидая будущую жертву. Наконец господин в белой нейлоновой рубашке и блестящем зеленом синтетическом костюме остановился перед Данаей. Антропологически он подходил на все сто процентов. Высокий кряжистый блондин, нос — картошкой. Калачихин (жеребий выпал на него) нагло подошел к иноземцу, протянул ему на ладони значок с изображением Карла Маркса и задал заветный вопрос о жевательной резинке. Господин оказался партийным работником из провинции. Мы были переданы в пикет милиции, Калачихин — выпорот отцом, я выслушал длиннейшую родительскую нотацию, нас осудило пионерское собрание. «Так погибают замыслы с размахом, в начале обещавшие успех» (В. Шекспир).

Недавно, после долгой разлуки, я встретил Калачихина. Мы выпили, вспомнили школу и эпизод в Эрмитаже. Калачихин, бывший физик, а ныне безработный, сказал, что недавно видел Зубко. Тот на новом мерседесе подвез моего приятеля. Он торгует цветными металлами, строит виллу на Вуоксе и недавно вернулся из Флориды. «Кто знает», — задумчиво сказал мой школьный друг, — «если бы я тогда подошел к настоящему финну, может и моя семья проводила лето во Флориде?»

Роль финнов в процессе первоначального накопления капитала на берегах Невы заслуживает своего историка. В начале 60-х годов, когда последним криком моды стала синтетика — от плащей «болонья» до безразмерных носков, в Ленинград отправились первые автобусы финских туристов. Смелые флибустьеры на мотоциклах Ява, ленинградские фарцовщики или, как их чаще называли в городе, «центровые», встречали автобусы на Приморском шоссе на месте так называемых санитарных стоянок. Конфекцион менялся на алкоголь. Фарцовщиков арестовывали,

давали огромные тюремные сроки, даже расстреливали. Обкомы партии и комсомола принимали специальные решения по борьбе с фарцовкой. С ней боролись милиция и КГБ, пограничники и народные дружины, но тщетно. В магазинах (кроме закрытых распределителей) не было в начале жевательной резинки, потом шариковых ручек, потом джинсов. Но на Невском «центровая» молодежь не вынимала резинки изо рта, прогูลываясь от Европеевской до Елисеевского в Wrangler'ах и Levi's Strauss'ах.

На берегах Невы, как в IX–XI веках на знаменитом пути из варяг в греки, расцвела меновая торговля. Новая репутация финна, как простодушного, богатого, жаждущего простых плотских наслаждений, водки и девочек, наложилась на старую репутацию, приобретенную этим народом еще до революции.

Как известно, финны поселились в дельте Невы задолго до русских. Недаром Пушкин, несколько обидно для наших соседей, назвал эти места в «Медном всаднике» «приютом убогого чухонца». В дореволюционном городе финны составляли второе по величине национальное меньшинство после немцев. Это были, в основном, ремесленники и рабочие. Окрестности столицы населяли близкие финнам ингерманландцы, вывозившие из города нечистоты, дравшие ивовую кору для местных кожевенных заводов и снабжавшие город молоком. Таким образом в городе сложилось общее снисходительно-пренебрежительное отношение к финнам. Оно начало меняться только после Зимней войны, когда героическое сопротивление страны заставило уважать народ, численность которого была меньше населения Ленинграда.

Политика Паасикиви–Кекконена сделала Финляндию самой доступной СССР капиталистической заграницей. Яркие финские туристические автобусы, раскованные, нарядно одетые люди, выходящие из них, рестораны, закрытые для советских посетителей и забытые кутящими скандинавами, создавали в городе «восточно-берлинский эффект». Казалось, что рай располагается за стеной.

Каждое лето на Карельском перешейке пограничники ловили десятки беглецов, стремящихся попасть в этот северный рай. По льду Финского залива на буере, на воздушном шаре, как только не пытались пересечь «железный занавес». Уже было известно, что финны выдают беглецов, уже появилась поговорка — «Курица — не птица, Финляндия — не заграница», но работы у советских пограничников не убавлялось.

Выяснилось, что у девиц есть другой шанс — выйти замуж за финна. Конкурс на финно-угорское отделение университета возрос до космических высот. Туда невозможно было поступить без знакомства или взятки. «Выйти замуж за финна» звучало, как «выйти замуж за князя».

Новое представление о финнах вступило в конфликт с представлением старым и действовало, как идеологический динамит. Если они, которые жили до революции хуже нас, теперь настолько богаче и свободнее, не обладая ни невиданными естественными богатствами, ни ракетами, ни плодородной почвой, то почему мы живем так бедно и тускло? И один финский автобус перевешивал действие многолетней коммунистической пропаганды.

Сыграв роль в разрушении ленинградской реальности и приблизив реальность петербургскую, Финляндия постепенно теряла и теряет значение вывески западной цивилизации. «Новые русские», многие из которых когда-то разбогатели на фарцовке, шуршат шинами своих машин на дорогах Финляндии и тратят в тамошних магазинах больше, чем некогда целые финские автобусы в Ленинграде. Забиты чартерные рейсы, перевозящие моих земляков на Канарские острова, в Италию и экзотические страны Юго-Восточной Азии. Финляндия для петербуржцев с достатком чуть выше среднего вещь теперь достаточно обывденная и недорогая. И образ страны, лежащей через залив, становится иным. Финн больше не сказочный шейх из «Тысячи и одной ночи», а рачительный и экономный трудяга, производитель множества продуктов, которыми забиты петербургские магазины.

### В ХЕЛЬСИНКИ К БРЕЖНЕВУ

Мы с сыном поехали в Финляндию по самой дешевой путевке. Два дня пребывания в Хельсинки обходятся каждому клиенту турагенства «Нева» в 39 \$. В Финляндии, несмотря на ее географическую близость, бывать нам до того времени не приходилось.

Кроме нас в микроавтобус Honda вместились семь дам бальзаковского возраста и шофер Коля, по национальности — мордвин (как выяснилось позже). Ехали мы ночью, но заснуть в автобусе, до краев забитом дамами и их багажом, было трудно.

Пассажирки оказались знакомы друг с другом и принадлежали к редкой профессии челночниц, специализирующихся по Финляндии.

В начале 1980-х годов в среднем ленинградском магазине можно было купить один сорт вареной колбасы, макаронное изделие «Ракушки» и плавленый сырок «Янтарь». Для российской провинции и этот ассортимент считался чудом изобилия: я помню универмаг в большом приволжском городе, где продавали только надувную резиновую лодку, хозяйственное мыло и емкость со сливовым компотом, весом в пятилетнего ребенка. Когда границы Советского Союза оказались открыты, миллионы советских людей хлынули в страны рыночной экономики, скупая все на своем пути: от мерседесов до туалетной бумаги.

Так появились челноки, курсировавшие между Советским Союзом и зарубежьем. В заграничных магазинах они скупали мелким оптом товары, а затем сбывали их на стихийно образовавшихся вещевых рынках. Вырученные рубли обменивались на валюту и — снова в дорогу.

Как хорошо известно читателю, Финляндия к числу дешевых стран не относится. Конечно, тяга финнов к алкоголю позволяла играть на разнице цен на «Столичную» в Выборге и Хамине. Но финская таможня приняла свои меры, и провозить любимый напиток русских и финнов через пограничный переход Лужайка стало затруднительно. В деле остались одиночки, изучившие все входы и выходы. Наши спутницы как раз и относились к остаткам этого когда-то обпирного, но уже почти вымер-

шого племени. По мере того, как автобус двигался от Териок к Вуоксе, в разговорах попутчиц я начинал ощущать что-то до боли знакомое.

Те, кто в годы «застоя» работал в многочисленных ленинградских НИИ и КБ, знает особый тип советских инженерш. Прийдя к девяти на работу и усевшись за свои конторские столы, они немедленно ставили электрический чайник, доставали вязание и начинали обсуждать мужей, свекровей, детей, певицу Аллу Пугачеву. Но главное их занятие заключалось в виртуозном умении доставать дефицит. Они точно знали где и когда выкинут гречневую крупу, итальянские сапоги, сыр «Виолу», колготки из ГДР, вьетнамские сушеные бананы. Со сложными интригами отпрашиваясь у начальства, занимали очереди в разные магазины и в момент, когда очередь подходила к прилавку, звонили коллегам, и те устремлялись за покупками. К концу дня с тяжеленными сумками, усталые и довольные, они возвращались домой.

К этому времени советские колхозники основательно спились и заниматься сельским хозяйством решительно не желали.

Это вносило в монотонную жизнь наших героинь некоторое разнообразие. Сортировка капусты или прополка турнепса прерывалась распиванием портвейна под домашнюю закусочку и хоровым исполнением популярных советских песен о любви. Здесь же возникали служебные романы, разрушались старые и создавались новые семьи.

Мир этот был по своему гармоничен, но крушение коммунизма его уничтожило. Выяснилось, что настоящей специальности у инженерш нет, но зато в изобилии присутствует жизненная цепкость.

То что нашим спутницам палец в рот не клади обнаружилось в Выборге, куда к автобусу должна была прибыть еще одна пассажирка. В момент, когда Honda остановилась на привокзальной площади, пассажирки не оказалось. Дамы потребовали не ждать ни минуты, хотя условленное время еще не миновало.

Несчастный Коля (тут-то мы и узнали, что он — мордвин, т. к. этот факт позволял нашим спутницам его особенно третировать) колебался. В конце концов новая компаньонка подъехала к автобусу на машине мужа. Это вызвало взрыв негодования. «Богатая, а туда же — на самый дешевый рейс лезет». С большим трудом бедняга сумела занять свое место и разместить багаж.

В Хельсинки все вызывало неудовольствие инженерш: в гостинице не было шведского стола; автобус не довез их до вещевого рынка; на бесплатный завтрак им дали два бутерброда вместо трех, как было во время прошлой поездки.

Столица Финляндии, честно говоря, не произвела на нас сильного впечатления. Она похожа на хорошо почищенный район Петербурга: Петроградскую сторону или Васильевский остров.

Поразили хельсинские бары. Около вокзала мы заказали пиво и кока-колу. Их подали, после чего чернокожий швейцар приказал нам немедленно выметаться, т. к. присутствие школьников в барах запрещено. Пришлось дать ему пять марок, после чего он совершенно успокоился.

Поздно вечером уже один я пошел в гостиничный бар. Меня удивило огромное количество финских дам средних лет, тоскливо поглядывающих на потенциальных кавалеров, меланхолически надувавшихся пивом.

У стойки ко мне подошел молодой человек и спросил, могу ли я поговорить с ним по-английски, потому что он работает механиком по прессам на заводе и у него мало языковой практики. Мой новый собутыльник выяснил, что я из России, но не русский, а еврей. Это его страшно обрадовало, так как евреев он до этого не видел, но давно хотел выяснить у них, зачем они распяли Иисуса Христа. Я оправдывался как мог.

На обратном пути мы заблудились, т. к. Коля впервые ездил в Хельсинки. Дамы снова долго и обидно ругали мордовский народ. Часов пять мы потратили на посещение всех многочисленных duty-free, повстречавшихся по дороге. Ехать в автобусе было практически невозможно; товарная ниша, найденная нашими челночницами, заключалась в гладильных досках. Как выяснилось, в Финляндии они на порядок дешевле, чем в Петербурге. Автобус был заполнен этими досками до потолка.

После таможни и обратного пересечения границы челночницы расслабились, достали домашнюю снедь, распили пару бутылочек из duty-free, и, как в прежние времена на овощебазе, запели хором хит 1977 года «Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил...», заговорили о бросивших их мужьях, быстро растущих детях, сложностях жизни и вообще оказались довольно милыми тетками.

Я учился с ними в одних школах, когда они были девочками, когда они стали девушками пил с ними кофе в одних кафе, стоял в общих очередях за сушеными бананами. Ностальгия охватила меня. Поездка в Хельсинки удалась.



Борис Стругацкий

## БОЛЬНОЙ ВОПРОС\* (Бесполезные заметки)

### 1

Герой Ильфа и Петрова заявляет с законной гордостью: «Да, представьте себе, евреи у нас есть, а вопроса нету!..» Прошло столетия с небольшим, и мы вдруг с некоторой даже оторопью обнаруживаем, что евреев у нас, можно сказать, почти уже и нет, а Вопрос — вот он, пожалуйста, сколько угодно, и с любимыми оттенками. . .

Вот уже несколько лет мне хочется написать об этом, хотя, клянусь, я вполне сознаю полную бесполезность текстов подобного рода, даже если распространяются они многомиллионными тиражами и подписаны будут именами на порядок значительнее и весомее моего.

Для меня национальность это язык плюс культура (включая традиции, обычаи, историческую память). Разумеется, так называемая «кровь», то есть национальный генотип, тоже играет известную роль, определяя какие-то чисто внешние физические признаки (рост, вес, цвет волос, форму носа) и отчасти даже темперамент. Но это все «вторичные» признаки. И если вы возьмете младенца-бушмена из тропического леса экваториальной Африки и отдадите его в семью русского колхозника, проживающего в деревне Большое Лядино, то вырастет у вас там коротконогий и короткошей, кучерявый, кособрюхий мужичонка, дикого и даже страшноватого вида — черный какой-то, глаза буравчики, лицевой угол как у неандертальца, но во всех остальных отношениях — нормальный мужик: пьющий, как все, как все матерящийся, как все семейный, как все неприхотливый и терпеливый. Ну, может быть, чрезмерно вспыльчивый, сварливый и драчливый, — да с кем не бывает? Ну, характер у человека такой, чего вы к нему привязались!..

А если возьмете вы младенца из семьи этакого русоголового ария, сызмальства презирающего жидовню и в анкетах пишущего — в пятом пункте — великоросс, возьмете вы его младенца-сыночка и поместите его в еврейское местечко прошлого века, где-нибудь под Житомиром, то

---

\* Печатается по изданию: «Звезда» 1994, N 4.

вырастет там — *horribile dictu!* — этакий аид, белокурый, конечно. и олубоглазый, но с омерзительно-комическим этим акцентом, с жестикуляцией этой анекдотической, с пейсами (с русыми пейсами!), с характернейшими повадками мелкого торговца, с цепкой неотвязностью репейника и совершенно невыносимым высокомерием местечкового мудреца... жас! Представить же себе страшно!

Поэтому все эти разговоры о Крови, о Роде, о Духе — высокопарны и бессмысленны. Они были бы смешны, если бы не стояла за ними угрюмая программа по превращению общества в этакий племенной завод, где каждая вязка-случка тщательно запланирована, а результаты незапланированных контактов выбраковываются твердой и безжалостной рукой.

Для истинного националиста важнее всего — детали, формальности, признаки, форма уха вашего прадедушки, архивная запись... Он обожает говорить о беззаветной любви к своему народу, но это какая-то странная и страшноватая любовь, — плавно и нечувствительно переходящая в ненависть к народу чужому. И если «патриотизм — это последнее прибежище негодяя», то национализм — его первое и излюбленное прибежище.

Почему-то мне кажется, что я имею право считать себя беспристрастным судьей во всех этих вопросах и высказываться без риска быть обвиненным в юдофильстве-жидоедстве, русофобстве-русолобстве. Во-первых, я никогда не замечал себя в грехе национализма. А во-вторых...

Отец мой, Стругацкий Натан Залманович, — стопроцентный еврей, сын херсонского еврея-адвоката и еврейки, домашней хозяйки.

Мать, Литвинчева Александра Ивановна, — дочь стопроцентного русского мужика, выбившегося в прасолы, и русской женщины, — домашней, разумеется, хозяйки.

Согласно «Директивам по обращению с евреями на территории Рейхскомиссариата Остланд» (опирающимся на так называемые Нюрнбергские законы): «евреем считается тот, кто происходит, по меньшей мере, от трех дедушек или бабушек, которые в расовом отношении являются чистокровными евреями. Евреем считается также тот, кто происходит от одного или двух дедушек или бабушек, чистокровных евреев...»

Директивы составлены не вполне ясно: зачем нужна первая из приведенных формул, если имеет место вторая? Впрочем, в тех же Директивах бзацем ниже сказано более чем определено: «В случае сомнения гебиткомиссар или штатдскомиссар решает, кто является евреем, по своему усмотрению, опираясь на эти директивы».

Поскольку среди четырех моих дедушек-бабушек двое являются «в равном отношении чистокровными евреями», я по законам Третьего Рейха вляюсь евреем (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Однако не могу не заметить, что по законам еврейского государства (Израиль евреем может считаться только тот человек, мать которого является еврейкой). Так что с точки зрения законопослушного израильянина я — типичный гой, то есть кто угодно, но не еврей.

Разумеется, возникшее противоречие является противоречием искусственным, надуманным, чисто интеллигентским, — любой наш совет-

ский штаттскомиссар, не говоря уже о гебитскомиссаре, разрешит его в мгновение ока (и уже разрешал, надо думать, неоднократно, о чем речи еще впереди). Нет, я привел все эти национал-юридические изыскания отнюдь не для того, чтобы посеять сомнения, а только лишь чтобы обосновать свою позицию человека, способного вроде бы на объективный (взвешенный) подход к делу.

Впервые я, мальчик домашний и в значительной степени мамочкин сын, встретился с еврейским вопросом, оказавшись учеником первого класса ленинградской школы.

Совершенно не помню, от кого именно, но от кого-то из моих новых знакомых я впервые услышал тогда слово «жид». Надо сказать, что школа научила меня многим новым словам (например, «б...», «е...» «п...»), и слово «жид» не особенно выделялось среди них: все это были слова гадкие, тайные и обозначающие нечто дурное. Если бы тогда кто-нибудь спросил меня, кто это такой — жид, я без запинки ответил бы, что это такой очень нехороший человек.

Крайняя наивность и плохая осведомленность моя сыграли со мной однажды дурную, помнится, шутку. Как-то вечером (было это, скорее всего, зимой 1940/1941 года) я, будучи мальчиком семи лет и по обыкновению изнемогая от скуки, просился в комнату моего старшего брата девятиклассника, где всегда и все было необыкновенно и интересно. Тогда старший брат мой, девятиклассник, был занят, то ли настроение у него было несоответствующее, но он меня к себе не впускал, и я уныло торчал в темной кухне, время от времени тихонько царапая заветную дверь и поднывая: «Аркашенька, можно?..» Одни лишь свирепые междометия были мне ответом.

И вот, когда от тоски и безнадежности иссякли во мне последние запасы надежды и почтительности, я вдруг, неожиданно для себя, выкрикнул в пространство: «У-у, жид!..»

Что, собственно, хотел я этим сказать? Какую идею выразить? Какие обуревавшие меня чувства? Не знаю.

За дверью воцарилась страшная, мертвая тишина. Я обмер. Я понимал, что сказал нечто ужасное, и все чувства во мне оцепенели. Дверь распахнулась. На пороге стоял Старший Брат...

Обуявший меня ужас отшиб у меня память. Я запомнил лишь одну фразу: «... Только фашисты могут говорить это слово!!!» — но, как видите, я запомнил это фразу на всю жизнь.

(Наверное, именно после этого инцидента произошло запомнившееся мне внутрисемейное обсуждение вопроса: откуда произошло слово «жид» и как оно стало быть. В обсуждении принимала участие вся семья, но запомнилось мне почему-то лишь мнение бабушки, папиной мамы, которая сказала: «Это потому, что евреи ожидают пришествия мессии...» Воистинная гипотеза! — сказал бы я сейчас. Но почему я запомнил именно и только ее? Наверное потому, что она показалась мне самой понятной.

И это все о еврейском вопросе, что запомнил довоенный школьник первого класса. Полагаю, названный вопрос не стоял тогда сколько-нибудь остро — по крайней мере в тех кругах социума, где главной про

блемой было скрыть от мамы «плохо» за контрольную по чистопи-санию. Подобно бессмертному Оське из «Кондуита и Швамбрании», мальчик-первоклассник еще не знал, что он, оказывается, еврей.

Он узнал об этом всего лишь год спустя.

Время действия — сентябрь 1942. Место действия — средняя школа районного центра Ташла, Чкаловской области. Из-за войны и блокады мальчик пропустил второй класс и, оказавшись в эвакуации, был отдан сразу в третий. Он впервые пришел в эту школу и, как и всякий новичок, встречен был радостным воем и клекотом свирепо-веселой толпы новых своих однокашников.

Ташла — гигантское село, несколько сотен мазанок, распространив-шихся вдоль речки Ташолки, по правому ее берегу. Половина населе-ния — ссыльно-переселенцы из кулаков, другая половина — татары. Пра-вы — патриархальные. Любовь к советской власти такова, что в начале Сталинградской битвы, когда чашки весов застыли в томительной не-определенности, в дверях райсовета, по слухам, установлен был, в каче-стве предостережения, пулемет «максим» — рылом на площадь.

Впрочем, все это не суть важно. По-моему, во всех школах СССР в те годы существовал единый ритуал встречи новичка, хотя, разумеется, в каждой школе — со своими нюансами. Мне кажется иногда, что школь-ники младших классов тогдашнего Союза прилежно изучали «Очерки бурсы» Помяловского и с удовольствием брали оттуда на вооружение те или иные приемы.

В Ташлинской школе нюанс был такой: «А ну скажи на горе Арарат растет красный виноград!» — требовали у меня беспощадные личности, окружившие и стиснувшие меня. «А ну скажи кукуруза!!!» — вопили они, нехорошо ухмыляясь, подталкивая друг друга локтями и аж подпрыгивая в ожидании развлечения. . .

Я ничего не понимал. Было ясно, что тут какой-то подвох, но я не понимал какой именно. Я просто не знал еще тогда, что ни один еврей не способен правильно произнести букву «р», он обязательно отвратительно скартавит и скажет кукугуза. Я же воображал, помнится, что едва я, дурак, скажу кукуруза, как мне тут же с торжеством завопят что-нибудь вроде: «А вот тебе в пузо!!!» — и радостно врежут в поддых. «А ну скажи!!! — наседали на меня. — Ага боится!.. А ну говори!..»

Я сказал им про Арарат. Наступила относительная тишина. На ли-цах истязателей моих явственно проступило недоумение. «А ну скажи кукуруза. . .» Я собрался с духом и сказал. «КукуГуза. . .» — неуверен-но скартавил кто-то, но прозвучало это неубедительно: было уже ясно, что удовольствие я людям каким-то образом испортил. Мне дали пару раз под зад, оторвали пуговицу на курточке и разочарованно отпустили жить дальше. Я по-прежнему ничего не понимал.

После уроков небольшая группа любителей подстерегла меня на кру-том берегу Ташолки и устроила стандартную выволочку — уже не как еврею, а просто как новенькому да еще вдобавок городскому. Я разбил в кровь нос Борьке Трунову (совсем того не желая), это вновь нарушило от-лаженную программу, так что меня вчетвером отвалтузили без всякого

энтузиазма, и я, маменькин сынок, гогочка, рыдая от людской несправедливости, отправился домой. Еврейский вопрос ни на данной стадии знакомства, ни в дальнейшем более не поднимался.

Впоследствии все мы, естественно, подружились. Борька Трунов стал вообще моим главным дружкой — у него я учился небрежно ругаться матом, элегантно плевать сквозь зубы и вылавливать сусликов. Я был принят в русские, и с презрением, хотя и без настоящей неприязни, глядел на единственного подлинного еврея в классе — тоже Борю, тоже эвакуированного, тоже городского, но совсем уже жалкого заморыша, сморщенного какого-то, перекошенного и не способного правильно сказать кукуруза. Я глядел на него с презрением, но иногда какой-то холодок вдруг пробирал меня до костей, какое-то странное чувство — то ли вины, то ли стыда — возникало, и не понятно было, что делать с этим холодком и с этим стыдом, и хотелось, чтобы этого жалкого Бори не было бы в поле зрения вообще. — мир без него был бы куда проще, яснее, беззаботнее, а значит — лучше.

Не помню, встречался ли я в Ташкенте антисемитизмом взрослых. Видимо, нет. Но с меня вполне хватило и детского антисемитизма. Это, правда, был какой-то путанный антисемитизм. Во-первых, мальчишки совершенно искренне считали, что все евреи живут в городе, из чего делали восхищающий своей логичностью вывод: все, кто из города, — евреи. Во-вторых, они совершенно не могли связно объяснить мне, почему еврей — это плохо. Они и сами этого толком не знали. Самое убедительное, что я услышал от них, было: евреи Христа распяли. Ну и что? А ничего. Гады они, и все. К сожалению, я не помню в деталях этих наших этнологических бесед (на сеновале, в пристройке высоченного труновского дома, и на базу у них же, на соломе, под ласковым весенним солнышком). Помню только, что я ни в коем случае не оспаривал основного тезиса — «все евреи гады», — я только страстно хотел понять, почему это так?

В четвертом классе (1943/1944) я учился в Москве. Об этом времени у меня почему-то не осталось никаких воспоминаний. Кроме одного. ... Какие-то жуткие задворки. Над головой грохочут поезда метро — там проходит надземный участок. Мы с приятелем роемся в гигантской горе металлических колпачков от пивных и лимонадных бутылок — почему-то здесь их скопилось неописуемо много, и мы чувствуем себя сказочными богачами (совершенно не помню, как тогда использовались в нашей компании эти колпачки). И вот мой приятель вдруг объявляет мне (с нехорошей усмешкой), что я — еврей. Я потрясен. Это — неспровоцированное, совершенно неожиданное и необъяснимое нападение из-за угла. «Почему?» — спрашиваю я тупо. Колпачки более не интересуют меня — я в нокдауне. «Потому что Стругацкий! — объявляет мне мой приятель. — Раз кончается на ский — значит, еврей». Я молчу, потеряв дар речи. Такого удара я не ожидал. Оказывается, сама фамилия моя несет в себе отраву. Потом меня осеняет: «А как же Маяковский?» — спрашиваю я в отчаянии. «Еврей!» — отвечает дружок решительно, но я вижу, что эта решительность — показная. «А Островский? — наседаю

я, приободрившись. (Я начитанный мальчик). — А другой Островский? Который пьесы писал?...»

Не помню, чем закончился этот замечательный диалог. Вполне допускаю, что мне удалось пошатнуть твердокаменные убеждения моего оппонента. Но мне не удалось убедить самого себя: отныне я знал, что скрыть свое окаянство мне не удастся уже никогда — я был на ский.

Уже в Ленинграде в пятом или в шестом классе я обнаружил вдруг, что у меня есть отчество. Вдруг пошла по классу мода — писать на тетрадке: «... по литературе ученика 6-го класса Батурина Сергея Андреевича». Но я то был не Андреевич. И не Петрович. Я был Натанович. Раньше мне и в голову не вступало, что я Натанович. И вот пришло, видно время об этом задуматься.

В нашей школе антисемитизм никогда не поднимался до сколько-нибудь опасного градуса. Это был обычный, умеренный, вялотекущий антисемитизм. Однако же быть евреем не рекомендовалось. Это был грех. Он ни в какое сравнение, разумеется, не шел с грехом ябедничества или, скажем, чистоплюйства любого рода. Но и ничего хорошего в еврействе не было и быть не могло. По своей отвратительности еврей уступал, конечно, гогочке, который осмелился явиться в класс в новой куртке, но заметно превосходил, скажем, нормального битого отличника. Новую куртку нетрудно было превратить в старую — этим с азартом занимался весь класс, клеймо же еврея было несмываемо. Это клеймо делало человека парией. Навсегда. И я стал Николаевичем.

«... по арифметике... ученика 6-го класса Стругацкого Бориса Николаевича...» Мне кажется, я испытывал стыд, выводя это на тетрадке. Но страх был сильнее стыда. Не страх быть побитым или оскорбленным, нет, — страх оказаться изгоем, человеком второго сорта.

Потом мама моя обнаружила мое предательство. Бедная моя мама! Страшно и представить себе, что должна была она почувствовать тогда — какой ужас, какое отвращение, какую беспомощность! Особенно если вспомнить, что она любила моего отца всю свою жизнь, и всю жизнь оставалась верна его памяти. Что она вышла замуж за Натана Стругацкого вопреки воле своего отца, человека крутого и по-старинному твердокаменного, — он не колеблясь проклял свою любимую младшенькую Сашеньку самым страшным проклятьем, узнав, что убежала она из дома без родительского благословения, да еще с большевиком, да еще, самое страшное, — с евреем!..

Я плохо помню, что говорила мне тогда мама. Кажется, она рассказывала, каким замечательным человеком был мой отец; как хорошо, что он был именно евреем — евреи замечательные люди, умные, добрые, честные; какое это красивое имя — Натан! — какое оно необычное, редкое, не то что Николай, который встречается на каждом шагу... Бедная моя мама.

Иногда мне кажется, что именно в этот вечер — сорок пять лет назад — я получил спасительно болезненную и неописуемо горькую прививку от предательства. На всю жизнь.

И кажется мне, что именно тогда дал я себе клятву (хотя, конечно, не давал я ее себе ни тогда, ни позже), которая звучала (могла бы звучать) примерно так: «Я — русский, я всю свою жизнь прожил в России, и умру в России, и я не знаю никакого языка, кроме русского, и никакая культура не близка мне так, как русская, — но. Но! Если кто-то назовет меня евреем, имея намерение оскорбить, унижить, запугать, я приму это имя и буду носить его с честью, пока это будет в человеческих силах».

Боюсь, последняя фраза прозвучала у меня излишне красиво. Если у читателя возникнет то же ощущение, я готов принести ему свои извинения, но фразу, впрочем, ни вычеркивать, ни редактировать я при этом не намерен. Ибо она выражает некую суть, некую непреложную норму отношения порядочного человека к непорядочности. К сожалению, образ жизни нашей на протяжении многих десятилетий был таков, что поступки элементарно порядочные выглядели вызывающе красиво: слишком часто поступить порядочно означало — совершить маленький (а иногда и не маленький) подвиг. И когда моя невестка Елена Ильинична Стругацкая (урожденная Ошанина) в лицо разбушевавшемуся антисемиту, поддерживаемому глухим одобрительным ропотом подмосковной электрички, объявляет себя еврейкой (потомственная дворянка с родословной, уходящей вглубь истории, в доромановские времена) — это маленький подвиг, нисколько не меньший, чем легендарная прогулка датского короля с желтой звездой на рукаве (под неприязненными взглядами гебитс- и штадтскомиссаров оккупационных войск).

Когда сейчас, спустя полвека, я пытаюсь вспомнить и проанализировать свое тогдашнее, детское отношение к еврейскому вопросу, я нахожу его, это свое отношение, вполне рептильным. Мне не нравилось считаться евреем. Я не хотел быть евреем. Я ничего не имел против евреев, — точно также, как ничего я не имел против армян, русских, татар и белорусов, — но я не чувствовал себя евреем, я не находил в себе ничего еврейского, и мне казалось несправедливым расплачиваться за грех, в коем я не был повинен. Все вокруг были русские, и я хотел быть как все.

Кто придумал это блистательную формулировку: «Чувствуете ли вы себя евреем?» Впервые я услышал о ней от своего старшего брата, когда он с отвращением и ненавистью рассказывал мне, как в конце 40-х на одном из комсомольских офицерских собраний ихний главный политрук попытывался у него прилюдно: «Но вы, все-таки, чувствуете себя евреем, лейтенант, или нет?»

Дилемма тут была такая: либо ты говоришь, что чувствуешь себя евреем, и тогда моментально оказываешься весь в дерьме, ибо в анкетах повсюду стоит у тебя «русский», а также и потому, что самолично, при всех, расписываешься в своей второсортности; либо ты говоришь правду — «нет, не чувствую» — и опять же оказываешься в том же самом дерьме, ибо ты Натанович, и ты на ский, и ты выходишь натуральным отступником и предателем. . .

Я, между прочим, и до сих пор не знаю, что это, все-таки, значит — «чувствовать себя евреем». У меня сложилось определенное впечатление (в том числе и из разговоров со многими евреями), что «чувствовать се-

бы евреем» — значит: жить в ожидании, что тебя в любой момент могут оскорбить и унижить без всякой на то причины или повода.

Я не знаю также и что значит «чувствовать себя русским». Иногда мне кажется, это означает просто радоваться при мысли, что ты не еврей.

## 2

Маленькие дети — детские неприятности, взрослые люди — взрослые неприятности.

В 1950 году, окончив школу с серебряной медалью, я нацелился поступить на физический факультет Ленинградского Ордена Ленина Государственного университета имени Андрея Александровича Жданова. Я мечтал заниматься атомной физикой и не скрывал этого. Меня не приняли. Коллоквиум прошло в общей сложности три-четыре десятка медаллистов, отказано было всего двоим — мне и еще какой-то девушке, фамилия которой ассоциируется у меня сегодня с фамилией «Эйнштейн».

В 1955 году, когда я заканчивал матмех того же университета (краснодипломник, комсомолец, спортсмен и в каком-то смысле даже красавец), весенним ясным утром отозвал меня в сторонку мой приятель. «Ты в аспирантуру собираешься? — спросил он. — При кафедре?» — «Да, — сказал я, уже предчувствуя недоброе. — Сказали, что возьмут». — «Не возьмут, — отрезал он. — И не надейся». — «А ты откуда знаешь?» — «Случайно подслушал. В деканате.» — «Но почему?!» — возопил я (краснодипломник, комсомолец и почетнодосочник). «Потому, что — еврей», — это прозвучало, как приговор. Это и было приговором.

В 1962 году мы, братья Стругацкие, уже опытные литераторы, уже достаточно известные — по крайней мере среди любителей жанра, авторы четырех книг, подали заявление в Союз писателей СССР. За нас хлопотали авторитетные по тем временам люди: Кирилл Андреев, Ариадна Громова, Николай Томан, — но в Союз нас не приняли ни по первому, ни по второму заходу. Членам приемной комиссии не нравилось: что мы фантасты; что мы пишем в соавторстве; что мы живем в разных городах... Но не это, как узнали мы пару лет спустя, было главным. Члены приемной комиссии не полюбили нас за то, что мы, Натановичи, пишемся в анкетах русскими. Члены ПК евреи видели в этом недостойное отступничество, члены ПК русские рассматривали это как стремление пролезть и устроиться, «характерное для данной нации»...

В середине 70-х один из диссидентов-правозащитников, вырвавшихся за рубеж, давая в нью-йоркском аэропорту первое интервью, на вопрос: «Существует ли в СССР дискриминация евреев?» — ответил: «Да. Но изощренная.» Он имел в виду, что государственный антисемитизм в СССР всегда был и остается государственной тайной. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Почему меня не взяли на физфак в 1950 году? Тогда мама моя до такой степени была убеждена в том, что причиной этому — исключение моего отца из партии летом 1937 года и расстрел дяди весной того же года, что даже не пошла на физфак выяснять, в чем дело и почему.



Разумеется, такую причину исключать тоже нельзя. Но если вспомнить, что это — 1950-й год, борьба с космополитизмом в разгаре, а все выпускники физфака идут в закрытые институты и лаборатории делать водородную бомбу...

А с другой стороны, — на математико-механический факультет меня же приняли — через две-три недели, вместе с другой голпой медалистов, без каких-либо хлопот и проблем... Но — на отделение астрономии. Совершенно ясно, что некие инструкции работали, но какие именно?

В университетскую аспирантуру, на кафедру звездной астрономии, меня, действительно, так и не взяли. Но зато взяли в аспирантуру Пулковской обсерватории, причем, как я понял, это было совсем не просто: пришлось изыскивать какие-то скрытые возможности, преодолевать бюрократические рогатки... В чем же дело? Инструкция? Или частная неприязнь какого-нибудь университетского кадровика?

И в Союз писателей нас в конце концов (промытарив два года) приняли. Сохранилась легенда, как это произошло. Кто-то из наших лоббистов пожаловался на ситуацию тогдашнему председателю Ленинградской писательской организации, Александру Андреевичу Прокофьеву — знаменитому «Прокопу», поэту и начальнику, очень, по-своему, недурному мужику, поразительно похожему и манерами, и даже внешностью на Никиту Хрущева. Прокоп выслушал и спросил: «Ребята-то неплохие? А? Ну, так давай их ко мне, сюда, у меня и примем». И мы были приняты. В Ленинграде, но не в Москве.

Я привел здесь эти маленькие неприятности из личной жизни именно потому, что они были маленькие, кончились благополучно и не допускают однозначного истолкования. Мне (да и любому гражданину СССР) приходилось слышать десятки историй, гораздо более страшных, унижительных, горьких и безнадежных. Ломались судьбы, обращались в прах идеалы, сами жизни людские шли под откос... Однако у моих историй есть два важных преимущества: они совершенно достоверны, во-первых, и они восхитительно неопределенны, неоднозначны и туманны, во-вторых. Они, на мой взгляд, великолепно иллюстрируют собою тот туман, ту неопределенность, ту примечательную неоднозначность, которыми всегда характеризовался пресловутый еврейский вопрос в нашей стране.

Инструкция или некие персональные пристрастия? Досадные случайности или жесткая система, холодная, тайная и беспощадная? А может быть, вообще ничего этого нет и никогда не было, а были одни только обывательские слухи, наложившиеся на бытовые совпадения?

Если верить знающим людям, государственный антисемитизм в СССР имеет свою (достаточно сложную) историю. Первые 20 лет после революции его вроде бы не было вовсе. Это было время, когда даже проявления бытового, коммунального антисемитизма карались по закону — жестоко и беспощадно, как и все, что каралось по закону в те времена. Признаки казенного юдофобства обнаружили в 1937–1939-м, когда возникли и стали крепнуть связи с нацистской Германией, — это было естественно: в новых условиях кадровая политика требовала определен-

ной корректировки. Этот первый всплеск естественно сошел на нет с началом войны, но после перелома к победе в 43-м вновь появились признаки казенной неприязни к «этой нации», — признаки, на мой взгляд, уже не поддающиеся простому рациональному объяснению.

С этого момента государственный антисемитизм уже только крепчал. Он вырвался наружу в конце 40-х (безусловно как результат проамериканской позиции нового государства Израиль) в виде бескомпромиссной борьбы с «безродными космополитами», в дальнейшем он все набирал силу, — круче, беспощаднее, истеричнее, и должен был, видимо, достигнуть апогея в 1953-м («дело врачей-вредителей», подготовка поголовного «добровольного» переселения евреев за Полярный круг), но тут главный творец внешней и внутренней политики умер, и апогей не состоялся — наверху началась борьба за власть, и начальству стало не до евреев.

Наступило длительное затишье, совпавшее по времени с Первой Оттепелью и в значительной степени, разумеется, порожденное ею. Потом — конец Оттепели, провал косыгинской реформы, новое обострение идеологической борьбы и — Шестидневная война. Не знаю, как развивались бы события, если бы эта война не произошла; думаю, очередной пароксизм был все равно неизбежен, ибо настало время закручивания гаек. Но Шестидневная война и почти радостный разрыв отношений с Израилем оказались событиями, открывшими новую, динамичную, эру в еврейском вопросе.

Слово было найдено — сионизм, и найдена была мера пресечения — бескомпромиссная идеологическая борьба, переходящая в борьбу с замусоренностью кадров. Возник и начал быть государственный антисемитизм периода Застоя.

Леонид Ильич подписал закрытое распоряжение начальству среднего звена: избегать назначать на руководящие посты лиц некоренной национальности, а также лиц, национальность коих является коренной в странах, с которыми СССР не поддерживает дипломатических отношений. (Да, острили мы тогда, плохие настали у нас времена для парагвайцев, тайванцев и южно-корейцев!..)

Родилась и пошла гулять по стране целая серия отличных анекдотов, в которых, как в ненаписанном эпохальном романе, отразилась вся суть тогдашней идеологии и методологии власти.

... Райком партии, идет инструктаж начальников отделов кадров. «Вам, товарищи, надлежит активнее бороться с замусоренностью кадров и всячески следить за происками сионизма. Но при этом нельзя забывать, что сионист это сионист, а еврей, товарищи, это еврей, — мы интернационалисты. . . » Вопрос из зала: «А практически, как? Вот стоит передо мной человек — еврей он или сионист?» — «А очень просто: если он у тебя уже работает, значит еврей, а если пришел на работу наниматься — сионист, гони его в шею!»

... Отдел кадров. «Вы знаете по паспорту я Рабинович, но на самом деле это ошибка. Я — русский. Дело в том, что паспортистка. . . » — «Голубчик, с такой фамилией я уж лучше возьму еврея».

... И снова отдел кадров. «Здравствуйте. Я — дизайнер...» — «Да уж вижу, вижу, что не Иванов...»

... И опять же — отдел кадров. Распахивается дверь, на пороге мрачный, лохматый и горбоносый: «У вас с фамилией берут?»

Мне клялись, что последний анекдот — и не анекдот вовсе, а совершенно реальный случай из жизни. Очень может быть. Я охотно допускаю даже, что и все прочие анекдоты есть случаи из жизни, только отшлифованные тысячами пересказов до их нынешнего блеска.

Застой потому и называется застоем, что реальная жизнь уходит вглубь и кипит (или кишит) там, невидимая и неслышимая, а на поверхности — зеркальная гладь, да кочки, да тихий туман.

Все делают вид.

Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что на вас работаем.

Вы (допрашивая нас) делаете вид, что верите в нашу подрывную деятельность, а мы (выдираясь из объятий 70-й статьи) делаем вид, что обожаем Советскую Власть (Софью нашу Власевну).

Вы делаете вид, что евреи тоже люди, а мы (евреи) делаем вид, что рвемся в Израиль исключительно и только к тяжело больной тете Песе и вообще — на историческую Родину.

Создается и шумно функционирует Антисионистский комитет («Генерал Драгунский и его труппа дрессированных евреев»). Пишутся и сотысячными тиражами распространяются замечательные сочинения типа: «Классовая сущность сионизма», «Осторожно: сионизм!», «Фашизм под голубой звездой» и т. п. А время от времени (редко) большие начальники выступают на весь мир с заявлениями а la Ильф-и-Петров: евреи у нас есть, да, есть, а вот вопроса нету, вопрос — это выдумки сионистов, с которыми мы ведем последовательную борьбу...

В глубинах тихого болота что-то такое-этакое бурлит, урчит и клокочет — некие канализационные струи и стоки, загнанные идеологическим террором в одни и те же ржавые трубы вместе с самыми чистыми идеями и помыслами. Иногда вдруг прорываются какие-то имена, тексты, слухи... Разогнали журнал: там, оказывается, зловеще клубились славянофилы... Статья в каком-то сборнике: евреи названы евреями... Общество «Память»... «Меморандум Скурлатова»... А некий гебист, проводя профилактическую беседу с диссидентствующим, говорит ему, расчувствовавшись: «Да как же вы не понимаете! Если бы нас не было, вас бы всех давно уже разорвали в клочки. Мы — единственная преграда между вами и дикой толпой!..»

И вот болото — взорвалось. Туман рассеялся. Лопнули все трубы, и все перегородки пали. Тайное стало явным. Мы давно уже догадывались, что разница между сионистом и евреем примерно та же самая, что между евреем и жидом, — так оно и оказалось! Бурный поток нацистских нечистот хлынул на улицы, площади и заборы, и — ничего не произошло! Никакой Короленко не возвысил своего голоса против новой Черной Сотни, но, правда, — тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — и Черная Сотня

оказалась вполне совковой: чудище огромно, стозебно, лайй, но — пока — не более того.

И теперь, на склоне лет своих, прилежный читатель Ильфа и Петрова получает наконец возможность рассмотреть доселе скрытое-завуалированное, приукрашенное-запропагандированное, прилизанное, причесанное, закамуфлированное.

### 3

Что такое антисемитизм сегодня? Здесь и сегодня — в России, на переломе веков?

Кого считать антисемитом?

И как со всем этим рядом — жить?

Это не такие простые вопросы, как может кое-кому показаться.

...Перекошенная от застоявшейся ненависти рожа, корявый рот (с зубами через один), распахнутый в нутряном натужном реве: «Сионисты — в Израиль!.. В Из-раиль! В Из-ра-иль!..»

...Вежливый, интеллигентный человек при галстукe, тихий, застенчивый голос, почти извиняющийся тон: «Разумеется, экстремизм в этом вопросе отвратителен, однако нельзя же не согласиться: эта их напористость, эта их, простите, пронирыльность, это умение приспособиться самому и пристроить соплеменника... Я все понимаю! Особые исторические обстоятельства вынуждают их к этому... И все-таки... Согласитесь, это не может не производить определенного впечатления...»

...Обыкновеннейшая домашняя хозяйка у себя на коммунальной кухне ворочает на сковородке макароны, чтобы не подгорели: «А я вам говорю, он — еврей. Другого кого за такую растрату загнали бы знаете куда? А этот выкрутился. У них везде свои есть...»

...А самый обыкновенный, абсолютно порядочный человек, который на слове «еврей» почему-то понижает голос, словно произносит нечто запретное, секретное или малоприличное? Замечали такое?

...А замечательный наш советский милиционер на Дворцовой, урезонивающий истерического «патриота» с антисемитским лозунгом: «Ну успокойтесь же, гражданин! Ну что вы, ей-богу! Да вы же хуже любого еврея!»

А заметили ли вы, что в современном русском языке существует только одно наименование национальности, которое само по себе может быть использовано как оскорбление или ругательство? Украинца можно оскорбить, назвав его хохлом, русского — кацапом, любого среднеазиата — чуркой, армянина — армяшкой, грузина — грызуном, еврея — жидом... И любого жителя России можно оскорбить, сказав ему: «У-у, евр-р-рей!..» Такого не было и при царе-батюшке!

И наконец классическое: «Да что вы все — „евреи, евреи“... Неужели не надоело? Хватит уже, ей-богу!..»

По моим наблюдениям, антисемитизм вполне поддается классификации. Я бы выделил три основных класса (типа, вида, жанра): Бытовой — он же коммунальный, он же эмоциональный — вездесущий, вечный, всепогодный, беспринципный, ненавязчивый, эфемерный, непреходящий. не

уязвимый, полиморфный — все с него начинают, все с ним знакомы, все подвержены ему и все ему подвластны.

Бытовой антисемитизм висит над нашей страной как смог. Сама атмосфера быта пронизана им — точно так же, как матерной бранью, которую мы все слышим с младых ногтей и которая сопровождает нас до гробовой доски. (Если бы мы могли понимать эти вечные слова, мы услышали бы их еще в роддоме от наших добрых нянюшек, матерящихся так естественно и легко над нашими розовыми ушками, когда несут они, нянюшки, нас к нашим мамочкам на первое кормление. И точно также провожает нас в последний путь рыкающий мат гробовщиков наших и могильщиков, который мы уже, впрочем, рады бы, да не способны услышать.) И точно так же, как нет практически никого в нашей стране, кто не знал бы матерных выражений и совсем никогда не употреблял бы их — будь ты мужчина или (увы!) женщина, старик или детсадовский пацан, — точно также нет человека или гражданина, который не вдохнул бы хоть раз в жизни смрадных миазмов бытового антисемитизма. А раз вдохнув его, ты уже заражен — слово произнесено, ты знаешь его и будешь теперь знать до самого своего конца.

Раз поселившись в нас, он сопровождает нас все жизнь, словно какой-нибудь лимонно-желтый стафилококк, и может тихо до поры до времени сосуществовать с нами и в нас, пока — при определенных условиях — вдруг не прорвется наружу таким вулканическим прыщом, омерзительным и опасным.

Рациональный, он же профессиональный — это уже более высокая ступень юдофобии, достояние людей, как правило, образованных, испытывающих определенную потребность обосновать свои реликтовые ощущения и обладающих способностями это сделать. В подавляющем большинстве случаев профессиональный антисемитизм поражает людей, столкнувшихся с лицом еврейской национальности как с конкурентом. Он широко распространен среди математиков, физиков, музыкантов, шахматистов — в этих кругах вас познакомят с убедительными и завидно-стройными теориями, объясняющими пронырливость, удачливость, непотопляемость «этой нации» — при полном отсутствии у нее настоящей глубины, основательности и подлинных талантов.

Впрочем, к носителям рационального антисемитизма следовало бы, наверное, относить всякого, кто стремится обосновать антисемитизм теоретически. «Евреи Христа распяли», «Евреи Россию сполчили», «Евреи революцию устроили» — бытовой антисемит охотно использует эти замечательные утверждения во время приступов и пароксизмов своего недуга, но на самом деле не он их первый сформулировал, обосновать их как следует он не в силах, да и не нуждается он ни в каких обоснованиях (как не нуждается гражданин, изрыгнувший устойчивое словообразование «... твою мать!», в доказательстве того, что именно это он проделал недавно с родной матерью своего собеседника). Для юдофоба же рационалиста каждая из приведенных выше (и многих аналогичных) теорем полна глубокого смысла и опирается на стройную систему доказательств, на целую литературу, даже на особую культуру, если угодно!

Замечательно, что и бытовой антисемит, и юдофоб-рационалист в глубине души своей (а зачастую — и на самой ее поверхности) знают, что антисемитизм — это дурно. Точно так же, как любой, самый заядлый, матерщинник отлично знает, что материться — грешно и неприлично. (Видели ли вы хоть раз человека, позволяющего себе выражаться по-черному в присутствии строгого начальства?) Однако же существует целый класс юдофобов, искренне полагающих антисемитизм делом чести, доблести и геройства.

Зоологический, он же нутряной, — единственная разновидность антисемитизма, носители которой гордятся собою. Признаюсь, генезис и этиология этого вида юдофобии всегда были и остаются загадкой для меня. Подозреваю, — это какая-то социопсихологическая патология, что-то аналогичное арахнофобии — широко распространенному и совершенно бесосновательному страху и омерзению перед пауками.

Коммунальный антисемит только лишь в подпитии или в состоянии бытового раздражения потребует у вас: «А ну скажи кукуруза!» Зоологический — сделает это при первой же возможности и с наслаждением (если будет, разумеется, убежден в своей безнаказанности). Профессиональный же, скорее всего, не станет этого делать вовсе — он выше этого; а кроме того, его время наступит, когда будет решаться кадровый вопрос.

Час настал — и мы увидели их всех. Ядовитый букет расцвел всеми красками. Теперь мы встречаемся с ними не только в местах общего пользования (в трамваях, автобусах, метро, магазинах, очередях и подземных переходах), — мы видим их в телевизоре, слышим по радио, мы даже можем читать их в соответствующих журналах и газетах...

И при всем том жизнь идет своим чередом и благополучно продолжается. В 1987 году (идеологические канализационные трубы — лопнули) на асфальте тротуара, недалеко от моего дома, появилась белой масляной краской старательно выведенная надпись: Россия для русских. Сегодня ее уже стерли многочисленные (и вполне равнодушные) подошвы, но зато на Дворцовой площади можно увидеть толпу под вдохновляющим лозунгом: место евреев — Освенцим.

...Огромно, стозебно и лайя. А караван — идет.

(Кстати, при всем, так сказать, идейном однообразии заборных лозунгов и граффити, некоторые поражают прихотливостью и неожиданными поворотами воображения. Например: «Гитлер — еврей». Собственными глазами видел! Уму непостижимо, какая каша варится в голове этого обращения *urbi et orbis*...)

#### 4

Антисемитизм это мировоззрение, или, точнее сказать, мироощущение. Мироощущение не нуждается в оправданиях — оно само есть оправдание себе. Мироощущение не нуждается в доказательствах и обоснованиях! Оно само есть доказательство и обоснование.

Попробуйте доказать вору в законе, что трудиться — хорошо, а воровать, наоборот, плохо. Он же с молодых ногтей знает, что работать —

скучно, тяжело и вообще запахло, а воровать — интересно, весело, кайфово и фартово.

Попробуйте доказать шарообразность Земли человеку, который с младенчества твердо знает, что Земля — плоская. . .

С ворами мне, слава богу, дискутировать не доводилось, а вот насчет шарообразности Земли я, помнится, целый вечер проговорил с младшими сынами гор — на наблюдательной площадке нашей экспедиционной группы, расположенной на вершине горы Харбаз, в тридцати километрах от Эльбруса, под великолепным южным небом, на котором все было для лекции по космографии: и звездные бездны, и Юпитер, и Луна, и даже Сатурн с чрезвычайно удобным разворотом своих колец. . . и под рукою, тут же имел место превосходный ТЭМ-140, экспедиционный «максутик» с великолепным качеством изображения и тридцатикратным увеличением.

Сыны гор — молодые, жилистые, горбоносые, уважительно-вежливые — внимательно и с безусловной доброжелательностью слушали мою лекцию, заглядывали в окуляр, обменивались гортанными замечаниями, а потом вдруг спросили: почему, когда смотришь в трубу, не видно Чабана, Который Сидит На Луне? Какого Чабана? А ты посмотри: видишь, на Луне Чабан сидит — вот его нога, вот голова, вот баран рядом с ним. . . А в трубу ничего этого не видно. Почему, а ?..

И вот именно по ходу последовавшей за этим дискуссии и было мне объявлено, что Земля, конечно же, плоская. . . Как это — шар? Почему шар? Плоская! Посмотри это же и так видно, даже без твоей трубки — плоская, как лепешка. . .

О, это был поучительный разговор!

Два вопроса, помнится, мучили меня тогда на протяжении всей дискуссии и мучают до сих пор.

Вопрос первый: как сумели эти славные советские молодые ребята, окончившие десятилетку. . . отслужившие действительную. . . («комсомольцы. . . спортсмены. . . красавцы, наконец!») — как ухитрились они сохранить в неприкосновенности эти свои вполне средневековые представления об устройстве Мира?

И вопрос второй: как объяснить человеку, убежденному, что Земля плоская, как растолковать ему, что форма земной тени на поверхности Луны (во время лунных затмений) есть самое убедительное доказательство шарообразности нашей родной планеты? (Действие происходило в 1960 году, и на авторитет Гагарина я сослаться тогда еще не мог)

А раз не способен я найти внятный ответ на эти вопросы, то никак не умею и заставить себя поверить в то, что с антисемитизмом можно бороться средствами агитации и пропаганды. Литературой и искусством. Лекциями и брошюрами. Вообще — словами.

Если человек с детства знает, что «евреи Христа распяли», как можно объяснить с ним? Как можно с ним дискутировать? Какие доводы можно найти, адекватные этому уровню дискуссии?

«Итальянцы Галилея замордовали». Или: «Русские декабристов повесили!» Или, совсем уже за пределами: «Французы Пушкина убили. . . А русские — Лермонтова».

Мнение, что антисемитизм сегодня и здесь порождается определенными качествами, или обычаями, или действиями «лиц еврейской национальности», — это мнение столь же распространено, сколь и неверно.

Антисемитизм возник столетия назад, и в те времена — да, весьма вероятно и даже скорее всего, — он был вызван совершенно конкретными качествами, обычаями и действиями тогдашних евреев. Их религиозное высокомерие. . . Их повышенная деловая конкурентоспособность. . . Их демонстративное нежелание раствориться в коренной нации и стать как все. Сами сферы их предприимчивости (ростовщичество, торговля). . . Еще какие-то причины, которых я не знаю, но которые, я полагаю, хорошо известны историкам и этнографам. . . Все это наверняка было, и все это не имеет никакого отношения к сегодняшнему антисемитизму.

Ибо сегодняшний (и вчерашний) советский еврей отличается от советского же русского (белоруса, украинца, латыша) разве что акцентом да внешностью — и то далеко не всегда. Его занятия, его менталитет, его образ жизни, его цели и принципы — общесоветские (общесовковые). В них нет ничего специфически национального, как в нынешних евреях ничего не осталось от тех пейсатых, лапсердачных, глубоко религиозных торговцев, корчмарей, талмудистов и процентщиков, которые послужили когда-то мишенью и причиной яростной ксенофобии.

Поэтому искать корни нынешнего антисемитизма в средних веках так же нелепо, как искать причины нынешней религиозности людей в тоскливых страхах пещерного человека. Можно было бы искать эти корни в событиях полувековой давности, но кого по-настоящему, глубоко, так, чтобы до печенок, волнуют эти события? А нынешние евреи так мало выделяются среди прочих совков, настолько слились с ними, что никакого повода для специальной ненависти, в сущности, дать не могут.

Все прежние причины давно умерли, новые — не появились. Выжили и продолжают жить одни лишь стереотипы. Нынешний антисемитизм не есть ненависть к евреям. Это — ненависть ко вполне определенным стереотипам. Иногда древним — «евреи Христа распяли». Иногда — не очень («евреи революцию устроили»). Иногда — совсем свежим, искусственно сконструированным — «еврей народ сполли».

И вот благодаря этим стереотипам советский человек способен всю свою жизнь прожить антисемитом, не встретившись ни разу ни с одним евреем!

Удивительная штука — национальный стереотип. Французы — развратники. Немцы — педанты. Англичане — гордецы и молчуны. Русские — пьяницы и рубахи-парни. . . Как, почему и когда возникли эти формулы? Кто их автор? Какое отношение они имеют к реальности? Или, может быть, имели когда-то? Почему никто не принимает их всерьез, но все повторяют?

Мой личный опыт общения с конкретными людьми опровергает все известные мне национальные стереотипы. Все без исключения. Пусть среди моих знакомых маловато англичан и немцев, но — русские, но — евреи. . . Их-то у меня среди знакомых — сотни! Может быть, сотен недостаточно для статистики? Может быть. Но почему все-таки самый



пьющий из моих знакомых — еврей, а самый, так сказать, непьющий — чистокровный русак? Рубахи-парни встречаются и среди русских, и среди евреев, но почему все они, при ближайшем рассмотрении, оказываются отнюдь не рубаха-парнями, а людьми расчетливыми, политичными и себе на уме?..

«Евреи умные, а русские — дураки». Я слышал это множество раз, причем, как правило, — от русских. (Что характерно.) Самый умный человек, которого я знаю лично, — русский. С дураками сложнее. Но, пожалуй, все-таки самым замечательным кретином был один, случайно оказавшийся у нас на пути, еврей — какой-то, видимо дальний родственник по фамилии, увы, Стругацкий. Я подозреваю, что это был так называемый Девятый Еврей. (Народная, — надо думать, еврейская, — мудрость гласит: «Еврей вообще-то неглупые люди. Возьмите восемь первых попавшихся, и все они будут, как на подбор, — таланты да умники, и, может быть, даже гении. Но девятый будет — дурак. И уж это будет такой дурак, такой феноменальный осел и идиот, каких белый свет еще не видывал!»)

Нет, я решительно не верю в стереотипы. И никто, по-моему, в них на самом деле не верит. Это что-то вроде привидений: никто их не видел, но все о них охотно говорят.

Я не верю в опасность нынешнего антисемитизма. Он отвратителен, но не опасен. Я не верю даже, что антисемитские лозунги способны сегодня сколотить хоть кому-нибудь, хоть сколько-нибудь серьезный политический капитал. Слишком мало евреев осталось среди нас. Слишком мало они отличаются от всех прочих. Слишком мала доля зоологических антисемитов в социально-значимых группах населения.

Государственный антисемитизм, да, — смертельно опасен. От бытового же — просто тошно. Стыдно, что он есть. Вдвойне стыдно, когда оказывается, что им заражен человек интеллигентный. Умереть от стыда и отвращения можно, когда видишь среди антисемитов человека заслуженно известного и даже знаменитого.

(Помню, на заре Перестройки я смотрел по телевизору выступление одного писателя — очень известного, очень хорошего, одного из лучших в России. Слухи о том, что он, увы, «бациллоноситель», доходили и до меня. Я не желал верить этим слухам, но в то же время и не особенно и удивился, что он выступает перед вполне специфической аудиторией — то ли «Друзья журнала Наш Современник» сидели в зале, то ли что-то в этом же роде. Встреча проходила поначалу довольно мирно — все-таки времена на дворе стояли еще достаточно строгие, и языки лишь начинали помаленьку распускаться, — и вдруг я слышу, как писатель (под аплодисменты) заявляет: «До сих пор я знал только одну нацию, которая ненавидит русский народ...» Ничего более конкретно сказано не было, но контекст был до такой степени однозначен, что я испытал нечто вроде приступа тошноты. Физической тошноты. Словно из-под воротника ослепительной сорочки знаменитого инженера человеческих душ выбрался вдруг и не спеша пополз по его шее жирный красный клоп... Бог ему судья, этому писателю, но с тех пор я не смог

прочсть из него более ни строчки. И никогда теперь уж, видимо, не смогу).

Но что же нам делать со всем этим?

Можно (и наверное, должно) оспаривать доводы Шафаревича или Углова. Можно (и бывает даже интересно) дискутировать по поводу «этой нации» с каким-нибудь рядовым носителем и адептом рациональной юдофобии. Ничего не стоит (и в каком-нибудь смысле даже полезно) устыдить и урезонить разгорячившегося коммунального антисемита. . .

Но!

Но остывший и урезоненный бытовой антисемит сразу же, прямо на глазах, перестает быть антисемитом. («Извиняюсь», — говорит он. «Погорячился», — признается он со всей искренностью. «У меня у самого полно друзей-евреев, — сообщает он, с некоторой даже гордостью. — Я против евреев вообще ничего не имею. . . Другое дело — жида!..»)

Но!

Но совсем было побежденный в споре «рационалист», как через неделю выясняется, вовсе и не переубежден. Он повторяет вновь все свои примеры из личной жизни со свежими добавлениями, взятыми из газеты «Народная правда», и с авторитетными ссылками на академика Шафаревича.

Что же касается названного академика, то здесь мы имеем дело уже с теорией. Во имя теории идут, между прочим, и на костер. От теорий не отказываются. Ни от каких, даже от ложных. В особенности — от ложных. Ложная теория жива, пока жив ее создатель, и умирает она только с ним. (Чтобы признать свою теорию ложной — выношенную, рожденную в муках, выпестованную, взлелеянную, любимую и единственно верную, — надо быть гением, а гениев так мало, да и не всякий даже гений способен на такой подвиг.)

И в какой-то момент ты понимаешь, что это — безнадежно. Никто не рождается антисемитом, антисемитом становятся, но ставши — пребывают в этом состоянии уже до самого конца. Это — как алкоголизм. И начинается так же — в дурной компании. И так же неизлечим. (Процент окончательно излеченных — в пределах пяти.) И так же отвратителен человек в приступе юдофобии, как отвратителен пьяный чурбан, и так же он может оказаться и добрым, и умным, и симпатичным, когда приступ благополучно минует (соответственно — хмель выветрится).

Мы терпим пьяниц — ненавидим их, презираем, готовы побить иногда, а временами и бьем. Но терпим. Боюсь, мы вынуждены так же точно относиться и к юдофобам. Увы. С одной лишь только разницей: пьяных мы частенько жалеем, но я не слышал никогда, чтобы хоть кто-нибудь пожалел антисемита.

Мы живем с ними рядом всю жизнь. Они везде. Они среди нас. Они — мы. Разница только в градусе ненависти. Разница только в умении или неспособности сдерживать в себе негодяя. В степени нашей опоганенности. В умении понять, где кончается еврейский анекдот и начинается нечто совсем иное — уже не смешное, а поганое. Или стыдное. Или страшное.

(Хорошо помогает от приступов нутряного нацизма — обыкновенный стыд. Стыд не способен совсем задушить в тебе негодяя, но он способен заткнуть ему пасть. Я испытал это на себе, когда однажды вдруг с ужасом обнаружил, что не могу вполне спокойно слышать немецкую речь. Речи же их профессиональных ораторов вызывали у меня в душе примерно то же ощущение, что и царапанье вилки по стеклу. А в особенности — их марши и хоровые песни. Разумеется, это — эхо войны. Это мертвящая безнадежность блокады, грязь и унижение эвакуации, страх, и опять же — страх, и снова и снова — страх. . . И плюс, конечно, сосредоточенная антинемецкая пропаганда — все эти бесчисленные поделки а ля «Секретарь райкома» и «Иван Никулин — русский матрос». А мне и моим сверстникам — восемь — двенадцать лет: возраст максимальной восприимчивости при совершеннейшей невозможности разобраться, где там на экране кончается фашист и начинается немец. . . Я не один такой, ущербный с времен войны. И эта наша болезнь из тех, от которых не умирают, но и не излечиваются.)

К чести нашего народа, в подавляющем большинстве случаев у людей хватает и понимания, и такта, и трезвости ума, и доброты, и чувства собственного достоинства, чтобы остановиться на границе и даже не приближаться к ней.

Но ложка дегтя способна испортить бочку меда.

Но грязь особенно бросается в глаза — на чистом.

Но клоп, выползающий из-под воротничка, — это клоп, вонючий и мерзкий, пусть даже воротничок ослепительно белый, а владелец воротничка — человек уважаемый: трудно, даже невозможно забыть, что он же — и хозяин клопа.

Я пишу обо всем этом не потому, что надеюсь что-нибудь исправить, кого-нибудь переубедить или хотя бы заставить задуматься. Я попросту подвожу итог многолетним наблюдениям и спорам. Я давно хотел написать об этом, но сначала писать об этом было не разрешено, потом — недосуг, и только сегодня я получил возможность свое давнее желание осуществить.

Меня очень беспокоит, что я не вижу лица того читателя, которому будет полезно или хотя бы интересно все это прочесть. Я давно уже заметил, что еврейский вопрос — это нечто такое, в чем все разбираются. Как в политике. У каждого есть свое мнение, и опровергнуть его никому не дано. Стоит ли пытаться?

Я давно заметил также, что русские — даже самые чистые, самые безукоризненно точные и тактичные в национальном вопросе — неспособны сколько-нибудь долго обсуждать еврейскую проблему. Они быстро утомляются, чем разительно отличаются от большинства евреев, готовых говорить на эту тему часами. Это, пожалуй, единственное, чем нынешний советский еврей, как правило, отличается от русского. За одним, впрочем, исключением: я имею в виду рациональных антисемитов любой национальности. Эти тоже готовы обсуждать «больной вопрос» круглосуточно. Видимо, и у них наболело. . .

Прекрасно понимаю, что все вышеизложенное открыто для ударов. И справа и слева. И спереди и сзади. И сверху и снизу.

Легко и заманчиво — с позиций борца с нацизмом — надавать мне по мозгам за примиренчество, за скрытый призыв к терпимости, за беззубость и социальный пессимизм. Антинацисты-евреи влепят мне за скольжение по поверхности в еврейском вопросе и за всеядность. Прочие антинацисты — за то, что сосредоточился именно на вопросе еврейском, который ныне уже — вчерашний день проблемы, а на повестке стоят вопросы поострее.

Антисемиты-рационалисты обвинят меня (и совершенно справедливо) в неуместном легкомыслии и нежелании вести принципиальный спор по существу. «Так споили все-таки евреи русский народ или нет? — будут спрашивать они меня с невероятным напором. — Да или нет?.. И кто все-таки устроил революцию в России?..»

Бытовые антисемиты ничего этого, слава богу, читать не станут, а потому и нападать на меня не будут, но зато с каким ожесточением обрушат на меня свой праведный гнев люди, полагающие себя кристально чистыми интернационалистами! «То есть как это они — это мы? Да отдает ли себе автор отчет в том, что...» и т. д.

И обязательно хоть один нутряной-зоологический да пришлет мне свое послание-стон: «И когда же наконец вы все отсюда уедите? — кровью и желчью, корявыми буквами, но от всей души будет написано в этом послании. — Когда же наконец духа вашего поганого не останется на Святой Руси?..»

Кто-то сказал: антисемитизм умрет только вместе с евреями. Уже сегодня ясно, что это ошибка: антисемитизм умрет гораздо раньше. Два-три поколения в условиях достатка, свободы и процветания — и на Руси забудут про еврейский вопрос. Правда, вполне возможно, ему на смену придет что-нибудь другое, столь же омерзительное, — как сегодня, сейчас, прямо у нас на глазах возникает проблема «лиц кавказской национальности», а в благополучнейшей Германии или демократичнейшей Франции нацизм возрождается вместе с ненавистью к эмигрантам и гастарбайтерам.

Но ничего этого я не боюсь. Все это, повторяю, отвратительно, но не опасно.

Самое страшное, что может случиться с нами, — это возрождение государственного нацизма (любого прицела, оттенка, акцента). Возрождение это зоологические встретят восторженным ревом, рациональные обонуют теоретически в сотнях статей и речей, а бытовые молчаливо примут к сведению, готовые исполнять любые распоряжения начальства... Но все это делается возможным только лишь с возвратом тоталитаризма, который провозгласит Империю и приоритет государства над личностью, уничтожит свободу слова, совести, информации и вновь пойдет громоздить тысячи тонн чугуна, стали, проката на душу населения. И вот тогда наступит НОЧЬ...

Однако это уже совсем другая тема для совсем других заметок.

---

---

Елена Дунаевская

\* \* \*

И дирижер склонился к партитуре,  
И, кажется, не все сошли с ума:  
Как памятник исчезнувшей культуре,  
Классическая русская зима.  
Как зеркало в невероятной раме  
Серебряной, пробитое насквозь,  
Она висит над нищими полями,  
Где хлябь и кровь, и шпалы вкривь да вкось.

\* \* \*

Я знаю, что Цербер окажется крошечным псом,  
Что главный палач домовит и страдает одышкой,  
Что в детстве мы часто играли с Фортуной в серсо:  
Она убегала, а я забывалась над книжкой.

Я знаю, что Парки прозрачная нить вплетена  
В ту грубую ветошь, которой мараюсь в котельной.  
Я знаю: безмерна тем более наша вина,  
Что наши убоги враги и уступки беспельны.

Ушастые карлики, войско седых мелочей  
Зачем нас учили безмерности нашей стыдиться,  
И как мы забыли, жалея своих палачей,  
Что наши сородичи — боги, деревья и птицы?

\* \* \*

О делах патриархов, чьи овцы — стада облаков,  
Чьи шатры, как холмы, и чьи страсти, как воздух, предвечны. . .  
Пастухи, первородство, вонючий и сладостный кров,  
Непокорность сынов и наложниц, и шкуры овечьи,

На которых рождался народ, чьей гордыней жива,  
И на родине страхов как знать мне, за что и откуда  
Этот рабский кетмень, эти вмерзшие в камень слова,  
Вдали дома — Ревекка встречает усталых верблюдов.

\* \* \*

А. А. А.

Вошла. Никого не узнала.  
Не призрак ли смотрит на то,  
Как ночью бредут вдоль канала  
Фигуры в квадратных пальто

Из драпа? Из бурого мрака?  
А рядом стволы антрацит  
Безруких. И, кажется, драка.  
И грязный свинцовый Коцит,

И варево вспышек багровых,  
И в струпьях больших полотно. . .  
Какой-то художник из новых,  
На жизнь негодуя давно,

Раздрызг, напряженность, обиду  
С такой густотой нанес,  
Что звезды не брезжат сквозь сито  
Материи, веткой насквозь.

А женщина взглядом усталым  
Скользнула по раме — и прочь:  
С Обводного, злого канала  
В летейскую белую ночь.

\* \* \*

А подлинной жизни тебе не покажут,  
 И занавес Майн так грубо раскрашен.  
 За ним — лишь звериная морда в погонах,  
 Всеi да экономит она на прогонах,  
 На красках, на воздухе, свете и пище.  
 Она ухмыльнется: «Ну что мы там ищем?  
 Какие прозренья? Какие слиянья?»  
 Завеса полярного вспыхнет сиянья,  
 И строй отражений, что грезился Шелли,  
 За нею исчезнет. И снова качели:  
 То вправо, то влево, то джаз, то гармошка —  
 И харя мигает: здесь все понарошку,  
 И некогда вспомнить под лязг дребезжащий,  
 Что кровь в этой пьесе была настоящей.

#### РАЗГОВОР ПОЭТА СО СВОЕЙ ДУШОЙ

Протрубив последнюю тревогу,  
 Выводи героев на пустырь.  
 Ближе к смерти — значит, ближе к Богу,  
 Где темница, там и монастырь.

В медных тазиках, в негодных латах,  
 В нос — кольцо, веригами звеня,  
 Сколько их, ушербных и крылатых —  
 (Вон Элиза с однокрылым братом .  
 У помойки на закате дня.)

Полотно крапивное, оковы,  
 Всадники над пропастью во ржи...  
 Ну и как, душа моя, готова,  
 Поклонившись Босху и Рублеву,  
 Защищать чужие рубежи?

.....

Подступают клочья серой пены,  
 Как скучна вода небытия...  
 У помойки на одно колено  
 Встала и молчит душа моя.

\* \* \*

Все кажется, что жизнь начнется завтра,  
Затем что жизнь не может не начаться,  
И можно доказать терпением Богу,  
Что ждать умеешь ты, и что пора  
Тебя за это жизнью — осчастливить.

На самом деле — жизнь твоя проходит.  
Ее пути просты и непреложны,  
Она ни разу жертвы не отвергла,  
Но жертвующих — отвергает жизнь.

И нож уходит в горло Исаака,  
И Авраам уходит с места жертвы,  
Уходит, рук своих не узнавая,  
Затем чужд страх Господень перепутал  
С тем страхом, что господствует в душе,  
И захотел от страха — откупиться.  
Он откупился. Сны его безводны.  
Он не услышит больше голосов.

Бесплодие — извечный плод терпенья.



---

Михаил Берг

## ЧЕРНОВИК ИСПОВЕДИ. ЧЕРНОВИК РОМАНА (фрагмент второй части)

Господи, как иногда хочется самого простого — жизни, текущей словно водопроводная вода (хочется пить — пей), и искусства, осененного ересью простоты, без всяких выкрутасов и кульбитов, цитат и аллюзий, а наоборот, с психологией, короткими отступлениями, туго закрученной пружиной сюжета и героями, попадающими в обстоятельства, не худшие, нежели автор желал бы для самого себя.

Ослепительно летнее утро после полубессонной ночи. Теловерчение в постели, вызванная болью, которая двойным нельсоном периодически стискивает потрепанный кишечник. Море крапивы вперемежку с сорочинской ярмаркой смородиновых кустов, светлые пятна солнца сквозь густые кроны, тлеющий запах северного моря в бывшей провинции России. И странное стечение обстоятельств — дарованный судьбой промежуток, в результате чего на табурете перед парусиновым креслом (в него с полутоном опустился — хотел было сказать писатель, но теперь этот некто больше напоминает усталую комбинацию издателя и редактора) появляется папка черновика романа из прошлого времени.

Легкий ветерок сыграл хроматическую гамму на траве, кустах, свисающих ветках, пока не изнемог в объятиях не отпускающей его осины, что стоит у дороги. Ни слова о творчестве и муках слова — перед нами не писательство, а акт садомазохизма в виде чтения автором разнокалиберных исписанных листков (вперемежку со слабыми мыслями об оставленной в постели монографии «Молот ведьм», пьем чай, мечтой о грелке под правый бок и преступной сигарете, *которую нельзя*).

Роман явно устарел и опоздал, хотя задумывался как остроумная провокация под аккомпанемент разных струн и аккордов, наложенных один на другой так, чтобы вместе вызвать всегда неуловимое и исчезающее чувство времени. Центральный аккорд — описание еще вчера казавшегося невероятным будущего (нет, начинает парить, здесь невозможно; листы, папка, ручка, чашка перекочевывают на стол веранды, посреди неубранной после завтрака посуды). Будущего, наступившего, скажем, после военного переворота или, еще лучше, народного волнения, умень-

шенной копии бесшабашного русского бунта, сдунувшего прогнанный режим и заменившего его хунтой (вариант номер 1) или альянсом гнилых либералов и демократов при вялой поддержке прогрессивных военных (вариант номер 2). Сюжет почти нереальный, непредставимый в момент зарождения замысла, в то время как теперь это уже не общее, а лысое место, вроде того, что венчает макушку нашего автора. Но между черновиком и романом — дьявольская разница, а вдруг?

Все, если не банально, то достаточно буднично, хотя и с новомодными выкрутасами. Автор начинает с расстановки опознавательных знаков фантастического для него будущего, обустраивает интерьер и обозначает перспективу; и под сурдинку вводит героя, якобы псевдотипического, чтобы исключить, наконец, эту навязшую в зубах разницу между искусством и жизнью. Герою лет тридцать семь, это несколько подопрившийся Дон Жуан в обрамлении хоровода прекрасных дам, как шашлык, насаженных им в прошлом на шампур (сомнительное сравнение). Однако это все в прошлом, а теперь он (некогда атлетического телосложения) настолько потерял былую форму, что сам рад забыть от изматывающего зуда в мошонке во время приступов простаты. Хотя во всем остальном он, что называется, добрый малый и даже гражданин, то есть отнюдь не индивидуалист из породы внутренних эмигрантов, а напротив, чуть ли не патриот (или, по меньшей мере, из сочувствующих им, как всегда русский интеллигент сочувствует слабым). А раз так, то и время должно быть такое, чтобы герою захотелось «ну, что ж, попробовать скрипучий поворот руля», то есть ощутить свое единение с историей, которая падка на повторения, в том числе и дословные: из-за волнений в городе все ключевые места, начиная с почт, телеграфа, банков и парламента, находятся под усиленной охраной.

Однако во всем остальном жизнь пока еще течет по-старому, и герой тропически южным июльским утром отправляется в сторону бывшего черного книжного рынка, что ютился за кольцом 12-го маршрута автобуса, на заброшенных железнодорожных путях, чтобы, минуя городские заставы, выбраться на автостраду, ведущую к невольничьему базару, куда и рулит на своей лохматке, раздрызганном до нельзя белом мерседесе старой модели, наш герой, якобы для того, чтобы прикупить необходимых ему двух женщин: одну для уборки в доме, вторую — массажистку (а на самом деле — на тайное свидание с важным для его интересов посредником).

Возможно, куда разумнее было бы, не педалируя недостатки нашего протагониста (в данном случае не имеющие большого значения), сразу обратиться к описанию тех сторон его натуры, которые имеют для нас непосредственный (и даже общественный) интерес. То есть рассказать о его связях с вполне умеренной, но подпольной организацией, о том, что на пресловутом рынке у него назначена явка, тайное свидание, весьма ловко закамуфлированное сеансом сексотерапии и толпой изнывающих от похоти мизантропов и предпринимателей новой формации. Однако, скорее всего, подобная интерлюдия была бы, что называется, слишком в лоб, не соответствовала бы постепенно проявляющейся системе стилистиче-

ски опознаваемых знаков, что позволяет самое основное говорить как бы между прочим, исподволь, хищно скрывая основной замысел. Но, впрочем, пора, давно пора переключить стрелку с описания на изображение. Итак...

... В белый роскошный полдень, когда все плавилось от жары, было наслаждением стоять в тени, отдавая свое тело на добровольное растерзание пеклу, и ожидать, когда привезут новых невольниц. Маленькое лакомое удовольствие состояло в комбинации двух чувств: томления изможденного пылом и жаром тела (мающего от пота, влажной одежды, чересполосицы пыли и тропического солнца) и мстительного унижения, которому подвергались дефилирующие по затоптанной просеке (задняя часть просцениума — чахлый перелесок) будущие и настоящие стервы в полуоборванных одеяниях. В воздухе плыла симфония из криков, свиста бичей надсмотрщиков и звона кандалов, которыми отмечали отъявленных смутьянов. Пот струйками сбегал по телу, образуя влажную трясиину в густой поросли на груди и меняющее очертания озерцо над поясницей.

О, эта оплывшая жирком талия, тягостная сухость плеч и суставов — как бы все расплавилось, растаяло, а затем напряглось под длинными, сильными пальцами ловкой массажистки, которую совсем нетрудно выловить из струящейся толпы измученных, обольстительных, уродливых, стройных и кривобоких созданий, вздохнувших от облегчения, представься им случай попасть к такому, как он, хозяину. Куда там! Не только на двух, на одну рабыню монет не хватит, особенно, если та со специальностью или ремеслом.

Мельком, словно в нерешительности, он окинул взглядом стоящих рядом и, отвернувшись от красочного зрелища, побрел вниз по отлогому склону холма, туда, где в тени развесистого дуба, он оставил свой мерседес. И для посторонних совершенно случайно, в меланхолической задумчивости, налетел на стоящего поперек едва заметной в траве тропинки толстяка в полосатой рубашке с закатанными бубликами рукавами. Толстяк, возмущенно фыркнув, отскочил, оставляя на песке продолговатый голубой конверт, тут же засунутый нашим знакомым в брючный карман. Шипящий обмен вежливо-возмущенными извинениями и инцидент исчерпан.

Через пять минут, закрыв все окна и включив кондиционер вместо плохо справлявшегося с тяжелым густым воздухом вентилятора, он катил по сизо-фиолетовой от желтого марева автостраде, постепенно приходя в себя от слишком поспешной рокировки. Ну и жарница! Управляя одной рукой, он склонился вбок, высвобождая мятый конверт, перевернул его в ладони на спину, расцарапал указательным и безымянным пальцами, лишая невинности чистую линию края. Затем вытащил из рыхлого разрыва листок папиросной бумаги, пробежал глазами, чтобы еще через несколько мгновений соорудить быстрое аутодафе в недрах забитой окурками пепельницы.

Вовремя. Снизив скорость, он перешел на низшую передачу и выключил приемник, наполнявший грохотом электроинструментов не только салон машины, но и, очевидно, порядочную окрестность вокруг. Если

ему не изменяет память, за этим или следующим поворотом — пропускной пункт.

Еще издали, с расстояния метров триста-четырееста, он разглядел рогатки, мотки колючей проволоки, таможенный шлагбаум и плавящихся от жары рослых парней в черной форме командос, которые сменили на этом, да и, наверное, на всех остальных въездах в город голубых полицейских. Сердце забилось чаще, на миг показалось, что в руках и ногах затвердела суставная жидкость; но он сразу взял себя в руки и на всякий случай подправил прикрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла пропуск с его фотокарточкой. И, перейдя на нейтраль, плавно въехал во взъерошенную толпу десантников с частоколом автоматов поверх голов и касок. Кто-то уже бесцеремонно распахивал двери слева и справа, тащил ключ из замка зажигания, открывал багажник, кому-то он совал свои документы; ему то ли помогали, то ли вытаскивали из кабины на разъезжающую под ногами сиреневую ленту брусчатки. И он сквозь зубы что-то отвечал, подавляя сразу закипевшее в груди чувство ярости, которое настолько моментально вытеснило остатки страха, что он с трудом сдерживался, дабы не надомать дров, двинув хорошенько по какой-нибудь наглой физиономии ядерного парня в черной рубашке с засученными рукавами. Ах, как хотелось спросить: где вы все, молодые нахалы, были пять лет назад, когда всем здесь заправляли коммунисты, а потом демократы? Не быстро ли вы очухались? Но — было не до вопросов.

С грохотом захлопнулась сзади крышка багажника, передавая трепет возмущенного металла всему корпусу машины.

— Нельзя ли поосторожней, приятель, — резко развернувшись, прорычал он, нарочито обогашая свой голос угрожающими обертонами.

— Ладно, мастер, проваливай, — примирительно хлопнул его по плечу красномордый сержант с весьма характерным для рыжих оттенков выцветших бровей и ресниц. В одной руке у него была зажата банка шведского пива с вмятиной на боку, а вторая придерживала за дуло автоматический карабин.

Его документы лежали на сидении.

— Давай, мастер, кати отсюда, у тебя все в порядке. — В голосе этого альбиноса усталость комбинировалась с добродушием, а закатанные по локоть рукава черной рубашки не добавляли ему ни воинственности, ни нахальства.

Не глядя по сторонам, он рванул дверцу, скинул бумажник с документами на соседнее сидение, втиснулся в машину, которая за пять минут раскалилась как духовка и, нарочито перегазовывая, чтобы двигатель ревел и рычал, вырुливая, покатил, аккуратно объезжая гранитные надолбы, свернутые из колючей проволоки заграждения, пока не выехал за шлагбаум, награжденный напоследок хлопком по заднему капоту одним из группы хохочущих молокососов, хлопком, в котором ощущалось скорее снисходительное поощрение, вроде того, с каким эта же ладонь с высокомерно грязными ногтями припечатывала задницу случайно попавшей по дороге девчонки.

«Вот скоты», — прошипел он, скрипя зубами и, давя что есть сил на акселератор, помчался навстречу уже виднеющемуся городу. Он негодовал на себя за мгновенный приступ страха. Чего ему бояться? Даже если в этой суматохе кто-то поставит под сомнение его репутацию и благонадежность (о его встрече и новых связях вряд ли кому известно), он все-таки может пока положиться на своих приятелей и близких знакомых, обосновавшихся, пожалуй, на всех этажах новой власти. Будь она проклята! И он, набрав полный рот густой липкой слюны, плюнул, тотчас с огорчением заметив, что ветер прижал и размазал плевков по стеклу задней дверцы. Поделом.

В городе его останавливали трижды: на площади Льва Толстого, у Трицкого моста и на углу Вознесенского проспекта и Садовой, правда, здесь уже стояли жандармы, усиленные национальной гвардией. И, если нельзя было определить их манеры как предупредительную вежливость, по крайней мере, они обходились без простонародного русского хамства.

Садовая со стороны Никольского собора была перегорожена танками, почти на каждом углу стояли лицом к стене люди с поднятыми за голову руками, их обыскивали солдаты; а когда он попытался остановиться у Техноложки, чтобы позвонить из таксофона, стоящий рядом жандарм так яростно завертел жезлом, что он, как ошпаренный, рванулся дальше. Домой он решил не ехать, слишком далеко, да и ему должны были позвонить в течение дня на квартиру Тины, там и отдохнет.

Дверь открыла одна из девочек Тины, с умыслом подбиравшей себе в дом только чистюль-дурнушек; госпожи дома не было; Николай Кузьмич принимал на черной лестнице доставленную провизию. Он прослушал два вполне невинных мээседжа с автоответчика в своей комнате, и уже через десять минут наслаждался ванной и душем с перемежающейся на байронический манер горячей и холодной водой. А еще через полчаса, держа на прицеле часы и телефон с характерной трещиной под диском, листал, чтобы скоротать время до ожидаемого звонка, затрепанную книжечку с детективом из старого времени.

Поначалу вчитаться не удавалось — сказывалось напряжение дня и крадущееся на пуантах будущее, — да и слишком велика была разница: прошлое казалось таким же непредставимым теперь при полном разгуле демократии, как и настоящее при взгляде из прошлого.

Первые страницы он пролистал, просмотрел бегло, затем не столько увлекся, сколько поддался неприятзательному ходу событий в ловко закрученном сюжете. Образ главного героя проявлялся постепенно, далеко не сразу становилось понятно, что он, как это говорилось когда-то, русскоязычный писатель, живущий в новостройках на окраине Петербурга, а печатающийся, в основном, в Париже.

Действие начиналось с подчеркнуто будничного описания утра, гигиенических процедур и прочих условно многозначительных деталей, которые своей банальностью только оттеняли и подготавливали неминуемость грядущей катастрофы. Интересным приемом представлялось описание анализа его звуковых ощущений, стереотипность которых как бы примиряла неподготовленного читателя с диссидентствующим чуда-

ком. И своеобразным пульсирующим контрапунктом становилась брякающая связка ключей, что в самом начале прелюдии выуживалась писателем-диссидентом из брючного кармана, решившим в конце первой страницы спуститься перед завтраком за утренней газетой. Уже в дверях он слышит звук хлопнувшей внизу дверцы машины, — раз, еще раз, — совершенно, конечно, не придавая этому значения, только чисто машинально отмечая, что машина, пожалуй, не «жигули», не «волга», не грузовик, а то ли разбитый вдрабадан «москвич», либо «рафик», «газик», а может быть и автобус, да, похоже на автобус с большим сибирским носом, каким пользуются для перевозки гробов и унылых родственников покойника. В лифте он крутит на пальце пресловутую связку ключей, всунув указательный палец в кольцо, и безо всякой связи с предыдущим вяло реагирует на две пришедшие ему на ум идеи, в очередной раз, возможно, примериваясь к эмиграции. Русский писатель, оказавшись на чужбине и ошалев от языковой блокады, обдумывает два сюжета: о первой даме в королевстве, у которой клитор не на месте, а моча пахнет пивом — анекдотическая причина борьбы с алкоголизмом. И другой, связанный с невозможностью спорить в условиях русской диаспоры, ибо любой спор начало ссоры. И он, этот демиург, сидя в полужнакомой компании, с трудом сдерживая себя, лишь отвечает: «О, да, да,» либо «нет, нет, что вы, не думаю». Квинтэссенция ужаса для субъекта с монологическим складом ума.

Но в этот момент ключи, сорвавшись, падают, двери, взвизгнув, уходят в пазы, и он, подцепив связку с мелко подрагивающего пола, выходит из лифта. Конец первой страницы.

В некотором смысле детектив уже начался, автор эксплуатирует отработанный в большой литературе прием остранения, подаваемый в его незамысловатой истории как нечто само собой разумеющееся. Все опять сводится к ключу, но уже маленькому, отдельно висящему на большой связке, и теперь, как назло (а по сути, на благо сюжету и герою), застрявшему в замке почтового ящика, что вместе с остальными ящиками расположен сбоку первой площадки подъезда. Чертыхаясь, он крутит его туда-сюда, пытаясь попасть бородкой в заклинивший дурной замок и, ругая себя за то, что не дошли руки разобрать и посмотреть, что там (мог бы и на почту позвонить, сказать, что не в состоянии пользоваться почтовым ящиком из-за плохого замка).

Ага, ключ неожиданно поворачивается с эротическим облегчением, он жестом Гаргантюа, проверяющего свой гульфик, сует руку за газетой, больше ничего нет, и в этот момент слышит, как хлопает дверь в парадном, разматывающимся клубком вкатывается переплетение мужских голосов; загудели, приблизились. Дверь хлопает еще раз, явно большая компания, кажется, даже звякают бутылки, к кому это спозаранку, промелькивает мысль, но ящик уже закрыт и, зажимая в левой руке ключи и газету, наш писатель делает несколько шагов, чтобы спуститься к лифту, и в это мгновение видит милицейские френчи, фуражки, двое или трое, еще несколько в штатском. «Кажется, восьмой этаж?» — спрашивает, хрестоматийно прокашлявшись, странно высокий и чем-то знакомый го-

лос. «Да, 37-я квартира,» — лязгая челюстями, открывается вызванный лифт, и пока его нутро прямо на глазах превращается в огромную и чуткую слуховую раковину, в кабину набивается человек семь или восемь, и лифт, унося наверх гудение голосов, уезжает.

Здесь то, что нам ясно уже давно, для него, совершенно неподготовленного к подобному переплету, начинает проступать постепенно, своеобразной чередой волн, каждая из которых приносит новую черточку понимания (хотя, если глядеть со стороны, то даже по незаконченному узору смысл ясен: арест, дело привычное, допрыгался, доигрался с публикациями на Западе, вот за тобой и приехали). Сам же писатель, попавший в водоворот неприличной ситуации, в сомнамбулическом ослеплении делает на цыпочках несколько шагов, спускается с площадки первого этажа, сам толком не понимая зачем, ибо испытывает само собой разумеющийся запор или ступор мыслей, и не то чтобы оглядывает, а как бы в параболическом зеркале видит бегло декорированные подмости последних минут своей свободной жизни. Испешренная царапинами и надписями дверь лифта, напротив полуоткрытая решетка, закрывающая ход на узкую лесенку в подвал, где темно, как у негра в желудке, и тускло в невысыхающей луже отсвечивает неверный свет лампочки, висящей сбоку. И тут, то ли вспомнив какой-то кинофильм, то ли подаваясь невнятной, но точной интуиции, он делает шаг вперед, толкает рукой, сжимающей ключи и газету, решетку, чтобы тотчас, почти по инерции, прикрыть ее за собой, а затем спускается одеревеневшими ногами по лесенке вниз. Автор не описывает ход мыслей своего героя, как бы подчеркивая, что тот не рассуждает, а действует автоматически, и само собой разумеется, что он пока и не думает никуда бежать и скрываться, а если и думает, то, очевидно, выйти в дверь нет никакой возможности, потому как там, около машин, как в таких случаях водится, одна-две «волги» и ментовская «упаковка», сине-желтый ПМГ, несомненно остались те, кто его почти наверняка знают в лицо и примут тут же в распростертые объятия. И, словно подтверждая сказанное, только он, наш писатель, спускает ногу с последней ступеньки, еще не успевая адаптироваться к темноте подвала, как его обостренный слух уже обогащен шаркающим приближением шагов — голоса — взвизгивают Скрябиным входные двери, и буквально над головой податливая акустика подъезда начинает проявлять негативы бытовой оперы. «Завтрак, понимаешь, забыл в автобусе, жена с собой сунула,» — начинает первую партию провинциальный баритон. «А понятые?» — начальственный басок. «Уже там». — «Все в лифт не поместимся,» — голос из народа. «Королев, на всякий пожарный поднимись-ка ножками с Серегой, он молодой, вместо физзарядки будет.» — «Что-то лифт долго тащится.» — «Поехали.» Топот ног над головой, натужное заполнение хором кабины лифта, и затем ввинчивание ускользящих звуков штопором вверх, ровно на десять вдохов, которые перебиваются оглушительными пульсами, после чего, дав лифту одолеть примерно половину бесконечного пути, вытянув вперед руки и почему-то ощущая спину как мишень, наш писатель делает первый неверный шаг.

Конечно, автор русского детектива, детектива всегда фиктивного, обязан взять на прокат у жанра выдавший виды реквизит (в виде нарочито банальной арабески фабулы) да бедную канву событий. И все для того, чтобы герой, с трудом вынырнув из очередного поворота сюжета, прикладывая вместо носового платка к своей вспотевшей душе лакмусовую бумажку ложного психологизма, представляя (вернее, даже не представляя, а зная почти наверняка, словно мельком переворачивая в памяти страничку, где остановился), что именно происходит сейчас наверху. Уже происходит, ибо первая порция посетителей проникла в квартиру, и жена оказывается поставленной (если она есть, но у писателя должна быть и жена, и даже ребенок, не желающий сам одеваться и капризничающий по поводу слишком узких колготок или чего-нибудь подобного). Итак жена, первая принявшая гостей вместо подразумеваемой соседки, либо рассеянного мужа, забывшего ключи и вспомнившего об этом только перед почтовым ящиком, оказывается поставленной перед необходимостью дать первую версию ответа на вопрос: где муж, гражданин такой-то, имярек, русскоязычный писатель, широкоизвестный в узких кругах? В девятнадцать из ста случаев жена, конечно, ответит правду, то есть испуганно залепечет, что муж внизу, спустился за газетой, а вы его не видели, и значит, сейчас, буквально сейчас, кто-то втроем-вчетвером побежит, не мешкая вниз, кто-то поедет на лифте. Именно в такой момент автор русского детектива должен пуститься в отступления. Лирические, философские, психологические. Объяснить, наконец, как и что? Кто и зачем? Почему имярек, а не какой-нибудь его товарищ по литературному цеху? За что, в конце концов? Или дать краткую биографическую справку. Или лаконичное описание его мыслей в момент крайнего замешательства посредством каких-либо аналогий или ассоциаций. Скажем, без всякой видимой связи с предыдущим история из детства одного знаменитого человека, который в подростковом возрасте сбегает летом в Крым вместе с девочкой-погодкой (закручивая с ней первую и навсегда памятную любовь). С ними еще одна пара. Всем, очевидно, лет по пятнадцати. Просторный пустынный Крым начала 50-х, брошенные татарские сакли и домики с вещами, которые не успели захватить с собой увезенные хозяйка, море и горы, которых не будет больше никогда. Цветущий миндаль и распускающееся девичество: она была подстрижена чуть ли не наголо, ибо боялась вшей. Лето промелькнуло незаметно, пока не наступил октябрь. Жили в брошенных домах, мерзли, ходили с мешками и котомками за спиной, побирались, воровали, кололи дрова, чтобы согреться жгли в случайных хибарах книги и что попадется под руку, спали где придется, были счастливы.

Всю компанию повязали на вокзале, когда окончательно наступившие холода выгнали их, наконец, из Крыма. На перроне, пока ожидали опаздывающий поезд, неожиданно подошел милиционер, что-то спросил, отошел в сторону, стал наблюдать. Немедленно, сейчас же, пока не поздно, нужно было бежать, но почему-то было неловко. Ощущая опасность, выжидали, пока милиционер уйдет или отвернется, чтобы тут же смыться. Успела это сделать лишь та самая девочка, его подруга, которая,



не смущаясь взгляда мента, вошла в открытую дверь вокзала. Вошла, чтобы исчезнуть уже навсегда, а спустя минуту через эти же двери прогрохотал сапогами взвод автоматчиков, и их взяли. Оказалось, отец девочки, с которой он жил эти полгода, секретарь то ли обкома, то ли горкома Киева, и по поводу исчезновения его дочери был объявлен всесоюзный розыск. Девочка была половинка, мать носила фамилию Гринберг из знаменитой династии дореволюционных врачей, фамилию отца он так и не узнал, хотя его и оставшуюся пару допрашивали почти неделю в присутствии учительницы из соседней школы, и однажды в пронизанный светло-жемчужным светом прямоугольник распахнутой двери вошел в полувоенном френче без погон ее отец, чтобы мельком бросить взгляд на того, кто знал его дочь с другой стороны, и кому эта история, эта девочка настолько врезались в память (потом он даже пытался разыскать ее, но безуспешно), что припомнилась в первую ночь в камере, куда он был помещен как подозреваемый в ограблении родного брата. Идиотская ситуация. Он был арестован, сам не зная за что, на квартире брата, куда явился за полчаса до милиции с двумя оттягивающими руки сумками, набитыми тамиздатскими новинками, взятыми у голландского посла в качестве гонорара за двухчасовой фильм о покинутых северных деревнях, снятый им по заказу Би-би-си. Он успел распаковать только одну сумку, с некоторой оторопелостью убедившись, что вместо ожидаемых им журналов она полна бесчисленными экземплярами Войновича и разрозненными томами роскошно иллюстрированной энциклопедии по христианскому воспитанию детей. Он успел выложить на стол последний том «Иванькиады», когда раздался звонок в квартиру. Убирать было некогда, да и трудно было предположить все последующее, он смог только накрыть криминальные стопки на столе газетой и задвинуть вторую сумку ногой под стол, как услышал, что соседка, не подозревающая, что он дома, уже открыла дверь и впустила в прихожую незваных гостей. Уже в следующую секунду он выскочил в переднюю, поспешно прикрывая за собой дверь, кротко шелкнувшую французским замком.

В прихожей стояли двое в характерных финских плащах реглан с настороженными физиономиями. Дальнейшее можно объяснить лишь тем, что он в результате аберрации посчитал, что его проследили по выходу из посольства и пришли по журнальным делам. Он и не подозревал, что позавчера была разграблена находящаяся в квартире брата антикварная коллекция, что почти сразу обнаружила случайно приехавшая с дачи жена брата (весь вечер отчаянно звонившая ему, чтобы посоветоваться как быть, и только утром, пока он, пересиливая себя, пил со вторым секретарем посольства джин с тоником, сообщила в милицию, а сама помчалась в Новый Иерусалим извещать брата).

Коллекция была драгоценной, четверть вещей — под охраной государства; как впоследствии выяснили, пропали две напольные вазы, сервский фарфоровый сервиз, много столового серебра, две картины Крамского, пять икон XVII века, инкрустированная перламутровая столешница и много чего по мелочи, хотя не менее ценное, ориентировочной стоимостью около миллиона. Младший брат, ни о чем таком даже не подозревал.

Его задачей было ни в коем случае не допустить в комнату с книгами людей, тут же показавших ему удостоверения следователей районного отделения милиции, которых прислали в качестве экспресс-группы и требующих, чтобы он предъявил документы и пропустил их в квартиру. Он же, оставивший паспорт и все бумаги в кармане куртки, повешенной на спинку стула рядом с криминальными сумками, требовал, чтобы ему предъявили ордер на обыск, которого, конечно, не было; вел себя предельно подозрительно, не объясняя причин, по которым он не пускал представителей власти в дверь. Полчаса препирательств закончились тем, что его, как подозреваемого, увели, но зато он успел шепнуть на ухо соседке, которой доверял совершенно, чтобы она тут же, по их уходу, убрала книги; он был уверен, что только в них дело.

Пока его вели, оба незадачливых детектива держали правые руки в карманах, уверенные в его причастности к ограблению и решившие, что живого или мертвого, но доставят его в отделение. Он был уверен, что привлечен по политической статье, что все несуразные вопросы: что делал вчера и позавчера, почему так странно вел себя утром при задержании, кто он такой и так далее, задаются для отвода глаз и должны сбить его с толку; и памятью Альбрехта, пропускал все их вопросы через сита системы «ПЛОД», в результате чего ни на один, даже самый простой вопрос, он так и не ответил. Это только усилило подозрение. Из отделения его перевели в следственный изолятор, и здесь все и началось.

Кроме него, вся тюрьма знала, что пойман уникальный преступник, укравший миллион. На него приходили смотреть практиканты, пялившие глаза на чудо природы. Начальник тюрьмы, облакая его своим заискивающим благоволением, уже на второй день перевел на особый режим с грузинскими рыночными помидорами и парным мясом, намекая, что может обеспечить вином и другими развлечениями. Пришедшая к нему с очередными вопросами высокопоставленная дама из прокуратуры после двух часов безуспешного допроса в качестве комплимента шепнула на ухо, что держится он идеально, она восхищена его выдержкой и самообладанием, кроме косвенных улик на него ничего нет, и если он продержится в таком духе еще недельки две, то будет подчистую отпущен на свободу.

Нельзя сказать, что он не догадывался, что его принимают за другого. Слишком часто ему задавался вопрос об отношениях с братом и его женой, о связях с антикварами и ювелирами, чтобы он не сообразил — случилось нечто из ряда вон выходящее. Но что именно — он так и не понял. Он боялся сменить тактику, ибо другой у него просто не было, все время твердил про себя «плод-плод», опасаясь кого-нибудь, сам не зная кого, ненароком подвести.

Первые три дня его продержали в одиночке, потом перевели в камеру, где находился еще один человек, по поводу которого он не сомневался, что тот — подсадная утка и должен разговорить его во что бы то ни стало (за что тому, очевидно, пообещали скостить срок); но тем не менее поддался его обаянию, ибо ни до, ни после не встречал настолько приятного и обходительного человека, который при всем том был владельцем подпольных

кожевенных фабрик и швейных мастерских в Грузии, и уговаривал — по выходе на свободу, в которой — для обоих — он не сомневался, войти к нему в долю, чтобы — при его-то талантах! — сказочно разбогатеть буквально за несколько лет. По ночам ему рисовались структуры тайных синдикатов, назывались связи, явки и каналы, объяснялась вся скрытая механика подспудного бизнеса, причем так подробно и достоверно, что придумать это ради легенды было невозможно; либо надо было быть гением, что одно и то же. И он в ответ тоже стал что-то рассказывать о своей жизни, о замыслах, о журнале, который мечтал выпускать, о способах пересылки рукописей за кордон, на что его седовласый собеседник только восхищенно причмокивал губами и качал головой: вах, вах, вах, ты так им и крути, молодец, так и крути динамо, ни за что не догадываются.

Его выпустили на двадцать первый день благодаря заявлению старшего брата, клятвенно заверившего, что младший брат тут ни при чем, что ни прямо, ни косвенно не может быть замешан в деле, хотя, кажется, этому заявлению никто так и не поверил. По крайней мере провожать его вышел чуть ли не весь персонал следственного изолятора, с восторгом и значением пожимали ему руку, как самому хитроумному преступнику, коего им довелось видеть, сумевшему обвести вокруг пальца всех, в том числе родного брата.

Об источниках коллекции и состоянии брата знал он, конечно, не все. При семейных застольях порой всплывали рассказы и запутанные истории по поводу наследства, доставшегося от тетки со стороны отца, что приходилась дочерью последнему голове Москвы, купцу первой гильдии, не успевшему до революции спустить все свои несметные капиталы на скачках и ипподромах. Настоящее богатство нельзя экспроприировать до конца; сколько не проводи обысков и реквизиций, что-то всегда остается, если не в золоте, то в бриллиантах, если не в драгоценностях, то в столовом серебре и семейных преданиях.

Одно такое предание касалось главной семейной реликвии — бриллианта величиной с голубиное яйцо (чуть ли не из короны английской королевы), вставленного в брошь из меди, что, надо сказать, производило чудовищно безвкусное впечатление и подтверждало уверенность, что эта брошь — дешевая бижутерия, вполне достойная полусумасшедшей тетки. Та буквально не расставалась с любимым украшением, таская брошь заколотой на груди дряхлого, в дырах, вязаного жакета, и даже завещала похоронить себя именно с ней. Семья — огромная, наследников, как водится, — туча, многие что-то подозревали; в последний момент, когда гроб с телом уже стоял на обеденном столе, брошь пропала, но этому не придали значения. Прошло несколько лет, брошь не нашлась, брат добился разрешения на эксгумацию и в присутствии соответствующей комиссии нашел брошь именно там, где и говорил, прикрепленной с обратной стороны к теткинскому жакету, если можно назвать жакетом то, что от него осталось.

Кое-что перешло и от деда, первым в Москве умершего от длительного недоедания в самом начале войны, еще до настоящих холодов и голода.

Его смерть легко вычислялась заранее, ибо дед, начиная с шестнадцатилетнего возраста ел только два блюда: свекольный борщ и паприкаш с красным перцем, для чего были необходимы филейные части годовалых барашков, всегда покупаемые на рынке. Он чуть было не умер в эпоху военного коммунизма, но как-то выдюжил (помогли старые связи), однако когда, начиная с первого военного лета, филейные части барашков пропали окончательно, он понял, что шансов у него нет, повернулся лицом к стене и стал умирать.

Основная же часть наследства пришла к брату вместе со второй женой, младшей дочерью известного в России рыботорговца, владевшего не только сетью рыбных магазинов в столицах и провинции, но и своим флотом в четырех морях. А кроме того, и огромными вкладами в крупнейших иностранных банках. Это отчасти и помогло ему спастись от неминуемого разорения и исчезновения после революции, ибо все магазины, капиталы и флот внутри страны были экспропрированы, конечно, мгновенно, а вот получить доступ к его иностранным вкладам без его подписи и участия было невозможно. А он хотя и отдавал то один, то другой вклад в Цюрихе или Берне, но отдавал, не торопясь, постепенно, оговаривая условия, и так дотянул до нэпа, когда, как и многие другие, поверил в перестройку и выкупил обратно у государства несколько своих рыбозаводов, чтобы уже окончательно распрощаться с ними через несколько лет.

Среди оставшихся после всех экспроприаций сокровищ, как нарочно унесенных во время ограбления, было несколько уникальных вещей, как например, два неиспользованных билета на тот самый рейс «Титаника», куда дед, поссорившийся с бабкой за неделю до путешествия из-за его увлечения балеринами и покупкой чудного, но катастрофически дорогого жеребца, так и не поехал. Пара билетов была единственной сохранившейся в России и сразу стала стоить баснословную сумму, все возмещавшую от времени; однако, дед, конечно, ни за что не хотел расставаться со своей реликвией, заказав специально для билетов рамочку сандалового дерева с замшевым паспарту. Неведомый вор прихватил также и белый мейсоновский чайник, без ушек, крышечки и носика, но, несмотря на это, равный по стоимости целому состоянию, ибо на днище стояло корявое клеймо с подписью, утверждавшее, что это первый чайник мейсоновского завода, выпущенный во время пробы печи. В обмен за этот чайник представитель правления мейсоновских заводов предлагал один из первых мейсоновских сервизов на сорок персон (чайник должен был пополнить коллекцию музея при заводе). Но обмен не состоялся, и чайник вместе с билетами на «Титаник» исчез в небытии, унесенный явно тем, кто не раз бывал в доме и хорошо знал ему цену.

Младший брат тоже был не промах. Ему, в условиях неписанного советского майората, достались по наследству лишь крохи, и своим состоянием он был обязан только себе и никому другому. Так часто бывает: человек мечтает об искусстве, о полудождном существовании в обнимку с верной музой, не сулящей ничего, кроме тайного горения, а судьба решает иначе, и вместо тернистого пути художника посылает своего протезе

на деловую стезю, лепя из него удачливого дельца, которому все само идет в руки. За что бы он ни брался, все приносило ему невероятные дивиденды, хотя сам считал, что занимается этим спустя рукава, дабы как-то заработать на тот черный — а на самом деле — светящий день, когда засядет наконец за давно задуманный роман, либо закончит уже подготовленную эскизами серию картин.

Лелея мечты об искусстве, он устраивается анахоретом на даче в Новом Иерусалиме, чтобы писать и писать; но ему тут же делают фантастическое предложение о разработке проекта виллы одного бельгийского миллионера. Этот проект впоследствии он переработает для более скромных дач друзей брата, тоже коллекционеров, и даже согласится руководить строительством первых пробных экземпляров. Несколько лет строительства, затем пять лет работы с мозаичными панно и ювелирными изделиями (в основном по заказам Московской патриархии, начавшихся с невинной просьбы помочь отреставрировать алтарь и дароносицу в одном полуразвалившемся соборе на Поклонной горе). А затем еще семь лет кропотливых трудов по освоению техники перегордчатой эмали, для чего он приобрел уникальное оборудование, в конце-концов окончательно потерянное и разворованное во время очередного обыска. Так как деньги, конечно, являлись лишь средством, и он, по сути дела, с самого начала стал вкладывать их в новую живопись и фантастический по уникальности журнал, став благодетелем и меценатом для художников и владельцем трудно представимой коллекции нового искусства, сравнимой разве что с коллекцией Костаки. Он давно уже вызывал восхищение, перемешанное с подозрительностью, своей странной удачливостью. Везением настолько постоянным, что примерно треть его знакомых полагала, что он является прекрасно замаскированным агентом ЦРУ, другая треть считала его агентом КГБ, а остальные были уверены, что его кормят и те, и эти; и только очень немногие, самые близкие к нему понимали, что это — чепуха, ибо сами ничего не понимали.

Это лето, за год до описываемых событий, я жил почти в полном одиночестве в полудостроенном флигельке на берегу моря, рядом с Мерикулем, снимая поддома у странного типа с внешностью попарасстриги, а на самом деле бывшего лесного брата, отсидевшего свое, чтобы затем стать то ли лесником, то ли пожарным, в никогда не снимаемой сизо-зеленой шляпе с опущенными полями и сумасшедшим говорком на русско-прибалтийском диалекте.

Его запущенный участок поражал комбинацией живописности и беспорядка в виде склада ненужных и немислимых вещей, вроде коллекции использованных и искореженных газовых плит всевозможных образцов и моделей, труб, конфорок, дырявых ведер, кастрюль, банок, железных и стеклянных, всевозможного калибра, начиная от склянок из-под лекарств и кончая чудовищного объема сосудами, абсолютно непонятного назначения. И по всем этим предметам, сваленным вдоль дорожек с проросшими сквозь них кустами, бурьяном и травой, ползало несметное полчище улиток, где были только что родившиеся, размером с ноготь младенца, и рядом чудовищные монстры, величиной с кулак.

Весь июнь шел дождь, прекращаясь на считанные часы, забор перед окном почернел, позеленел, покрылся изумрудным мхом, просвечивая сквозь светло-зеленую волну кустов, — и стоило только выйти за порог, как улитки начинали трещать под каблуком, как бы нога с брезгливой расчетливостью не избегала столкновения. Улиток казалось столько, сколько бывает порой дождевых червей на дорожке в погожий, теплый день после дождика, когда они выползают изо всех пор.

Но суть совпадения (как совпадают порой два различных во времени образа, тут же рождая целостную и уже неделимую реакцию) была не в улитках, и даже не в двух нимфетках, живших по соседству (одной десятилетней в плиссированной юбочке, гольфах и пушком на голенях, которую зорко стерегла бабка в очках-велосипедах; и другой, уже распустившейся лолите, в доме рядом, всегда в чем-нибудь сиренево-фиолетовом и огромных клипсах, размером с кофейное блюдечко). А во всем вместе: одиноком житье, дожде, улитках, гольфах, сумасшедшем хозяине с желто-седой бородой, который иногда откуда-то из глубины окутанного листвой сада издавал странные, воющие звуки, — и возникало, проступало ощущение пустого, дикого Крыма, без санаториев и отдыхающих, послевоенные горы Киммерии и девочка-дьюмовочка, еще не вышедшая до конца из преамбулы кувшинки.

Почему именно это, только со стенографической быстротой, как спицы в велосипедном колесе, промелькнуло в мозгу нашего героя, который замер на мгновение, прислушиваясь к затихающим над головой шагам в парадной, не думая, но зная, что случится буквально через минуту-другую. И, подчиняясь невнятного механизма поступков, пригнул явно ниже требуемого голову и рванулся в спасительную темноту подвала.

---

---

Алексей Шельвах

## ГЕРО И ЛЕАНДР

Комната в гостинице. На окнах красные деревянные решетки. Стол, на столе пустая бутылка. В кровати Роджер и девка. На стуле — впопалку — одежда, на полу — вразброс — башмаки.

*Просыпается Роджер:*

В течение изжитых мною лет  
мне грезилось во сне и наяву,  
что я, как древле греческий атлет,  
переплываю мрачную Неву,  
а справа, слева, спереди и вслед,  
как в черном, гадами кишашем рву,  
холодный хохот философских флейт:  
«Не тщишь, не удержаться на плаву!»  
о ужас! В устье, как иголка в стог,  
проваливаюсь! Чаек вещей визг!  
Как многие, желал, как все, не смог  
с того, с другого, берега смотреть  
сквозь радугу уже соленых брызг  
ни реку Жизнь, впадающую в смерть.

*Просыпается девка:*

Затеял неурочны разговоры.  
Ох, муторно. Хотя бы с похмела  
угомонился, поймел бы совесть.

Роджер

Прости, простейшая, я мыслил вслух.

Д е в к а

Я мню, ты мнил плоть усладити мною  
поутру. Заявляю компетентно,  
что я еще не выспалась нимало.

Р о д ж е р

О мнительная Дженни, смело спи.  
Будить не стану.

*(задумчиво)*

Да и не умею...

Д е в к а

Что мелешь, невдомек. Одно отвечу:  
вчера мурлыкал, прижимался к боку,  
просительно поглядывал... ты мя  
пленил вчера! Чичас иное слышу.  
Издевку слышу с ноткой превосходства.  
Или ты лег со мной из добротства?

*(Роджер щекочет деву)*

Почто мене пытаешь, езуит?  
Ну никакой сознательности вчуже,  
пропойца! Я себя не помню с ночи.  
Тебе услада, а мене работа.  
Пошел ты в обчем на четыре буквы!

Р о д ж е р

Сознательность? Ты не оговорилась?  
И полагаешь в самом деле, что  
ее пропить возможно? А скажи,  
ты репчатую луковицу зрела  
когда-либо?

Д е в к а

И зрела, и жрала.  
Куды полез? Эй, не гляди, что я  
в глухом углу Британьи родилася,  
среди болот... я постою и лежа  
за суверенность личности своей!



*(оживляется)*

А знаешь, как живут в краю болотном?  
 На островках, где травка посвежее,  
 мы держим скот. Овечек там, коров.  
 Бывало, лодку снаряжу, отправлюсь  
 доить буренку, по пути грибы  
 собираю или ягоду морошку —  
 из лодки только руку протянуть.  
 Вот хлебом небогаты, это верно,  
 его мы выпекаем из муки  
 гороховой, а рожь родится худо.  
 По осени, когда уж очень топко,  
 люд на ходулях ковыляет от  
 избы к избе по делу или в гости,  
 а в основном у очагов домашних  
 садится и сидит. Но лишь весна —  
 и вся деревня по субботам и сборе  
 на островке овальном с прочной почвой.  
 Сезон футбола! Мы же англичане!  
 Мой муж... мой Джек, с которым так недолго  
 я вместе прожила... всего-то зиму...  
 он самый-самый был результативный.  
 Болельщики на радостях однажды  
 его в буквальном смысле разорвали.  
 Так я остались на сносях вдовой.  
 Вдобавок, был неурожайный год,  
 и я младенцем разрешилась мертвым.

*(всхлипывает)*

Невмоготу мне стало на болоте.  
 Прикинула, где лутче и где хуже,  
 корову продала, домишко, лодку  
 и наудачу в Лондон подалась.

Р о д ж е р

В сей пандемониум! И к Люське Морган  
 в сей лупанариум! Весьма удачно.

Д е в к а

Ни слова в простоте. Отстань, обидчик!

*(отворачивается к стене)*

## Р о д ж е р

Я почему о луковице, сущность  
которой не внутри, а в оболочках...  
нутро у ней отсутствует. Сколь сходна  
природа нашего самосознания!  
Центростремительно мы размышляем  
и наслаждаемся самим процессом  
кружения в слоях прозрачной мглы,  
пока не схлынем в черную воронку.

## Д е в к а

Мне горше хрена эта философия!  
Колико, уж, проник, верши! Ай! Ой!

*(барахтаются)*

Ну, все. пошел отседа, балаболка.  
Добился своего. Я аж вспотела.  
Нет, я сурьезно вас прошу отстать,  
не то, клянусь Венериным бугром  
на етой длани, так накостыляю!..  
Отзынь!

## Р о д ж е р

Да ухожу я, ухожу.

*(свешивает с кровати ноги)*

Ты только не отчаивайся, Дженни.  
Быть может, вечером уже сего дня  
в сей вертоград завалится по пьяне  
тебе судьбою суженый милорд.  
Вдруг он захочет на тебе жениться?  
Предложит руку, стерлинги и титул?  
Ты станешь леди... леди Джейн, где правый  
башмак?.. а, вот он... Люська эта Морган  
тобою помыкать уж не посмеет...

## Д е в к а

Ах, издеватель! Ну допустим, я  
вертепница. Но ты и сам не лутче!  
В сей судьбоносный для отчизны час  
наш флот спешит наперерез Армаде,  
и все, кто стар, иль млад, иль инвалид,  
взошел на белые утесы Дувра,  
подбадривают криками ироев,

а ты ни в тех, ни в сех, и на уме  
одно — блудиться да бакланить. Стыдно!  
Иль ты не патриот?

Р о д ж е р

Нет, я шотландец  
и слышу сызмала от вас: «У, морда  
шотландская!» Такое обхождение  
не вдохновляет воссоединяться  
противу даже общего врага.  
Но будь я англичанином, не стал бы,  
как большинство, надежды возлагать  
лишь на удачные маневры флота.  
Не менее, а более насушно  
произведение произведений  
(понятно, пиитических), в которых  
неслыханным доселе языком  
неслыханные вещи говорятся.  
Когда же эти... как их... стар и млад  
на вышеупомянутых утесах  
скандируют банальнейшие тексты,  
мне чудится, что Альбион кренился  
в какой-то шумный и опасный сон.  
Эх, сам я недостаточно талантлив!..  
Поэтому и зол, и пью, и время  
с тобой, как в ступоре, препровождаю.

Д е в к а

Ты рассуждать горазд... а не боишься,  
что передам кое-кому дословно?  
Ко мне ведь и оттуда тоже ходят.  
Ишь, вскинулся-то как. Шучу, шу...

Р о д ж е р

И в самом деле шорох под кроватью!  
Там кто-то прячется.

*(заглядывает под кровать)*

Всего лишь крыса!  
Ну, значит, точно, — жизнь не удалась.

Д е в к а

Вот на, всплакнул! Действительно чудной.  
Послушай, это именно тебе

пора жениться. Знать, надоедает  
пианство, нищенство и отщепенство.

*(стук в дверь)*

Л ю с ь к а М о р г а н

Эй, Дженни, так тебя и перетак,  
у твоего пииты время вышло!  
А ежели одна, то неча дрыхнуть,  
живее одевайся! К нам милорд  
пожалвал! И пожелал такую,  
как ты, ядреную!..

Д е в к а

Чичас!

Л ю с ь к а М о р г а н

«Чичас»!

Кикимора болотная, молчи уж!

Р о д ж е р

Боюсь я Люськи...

Л ю с ь к а М о р г а н

Шевелись, деревня!

Д е в к а

Да ну ее. Успеется с милордом.  
Ты слушай, что тебе я говорю.  
Ищи примерну девку и женись.  
Любил же ты какую-нибудь леди  
из образованных?

Р о д ж е р

Любил.

Д е в к а

Ага!

Так и вертайся к ней, пока не поздно.

Р о д ж е р

Вот именно что поздно.

Д е в к а

Почему?  
Ушла к другому? Или померла?  
Ужасно хочется узнать!.. Прошу  
тебя, рассказывай скорее!

Р о д ж е р

Но Люська...

Д е в к а

Не бойсь, я заплачу  
за время! Ну пожалуйста!..

Р о д ж е р

Признаться,  
мне самому вдруг стало любопытно  
проверить силу памяти. Итак,  
представим сад на берегу Невы:  
статуи, знаменитая решетка;  
и мы проходим, девушка и я,  
через ворота, и нашли скамейку  
свободную; я постелил газету,  
присели. Спутница моя молчит  
и курит, курит, не переставая.  
Я знаю, отчего она печальна,  
да вот беда — утешить не умею,  
поскольку тоже возрастал под сенью  
Большого дома и знамен пурпурных.  
Вдобавок, силясь нечто начертать.  
Хотя бы начерно — и то не вышло.  
Должно быть, в пылком семени отца  
иль в материнском молоке сладчайшем  
сквозили пресловутые рентгены,  
но не винить же ныне престарелых  
за то, что был зачат именно ими  
именно в этом времени и месте.  
Унижен властью и самим собой,  
уже полжизни я живу вполжизни,  
не замечая, как блеснит кораблик  
над уровнем ненастного сознания.  
Ты поняла, о чем я?

*(девка отрицательно мотает головой)*

Через месяц  
она покинула и этот город,

и это государство навсегда,  
и поселилась в Иерусалиме.  
Однажды мимо памятного сада  
я проходил, и вдруг зашел, и сел —  
все вдруг — на ту же самую скамейку.  
Нева с тех пор не изменила русло.  
Цела решетка. Целы и статуи.  
Она мне очень нравилась, увы,  
взаимностью отнюдь не отвечая,  
и в этот самый Иерусалим  
махнула-то вслед некоему Марку,  
которого любила и который  
о ней и думать позабыл, уехав.  
Не в этом дело. Вдруг я осознал,  
что мне ее лицо уже не вспомнить,  
и даже фотографию, в упор  
рассматривая, где мы сняты вместе,  
не смог бы я уверенно сказать,  
что эту девушку когда-то...

*(стук в дверь)*

Л ю с ь к а М о р г а н

Дженни,  
милорд, ты понимаешь, бля, милорд  
тебя заждался! Будь ты человеком!

Д е в к а

Чичас! Ты это... приходи еще.  
Я заплачу. Хотя бы завтра, слышишь?  
Арапкой, что ль, была твоя подруга?  
Или жидовкой?

Р о д ж е р

Я не помню.

Л ю с ь к а М о р г а н

Дженни,  
соображай, не всякий день милорды  
заглядывают в наше заведение!..

ЗАНАВЕС

---

---

Аркадий Бартов

## БЛОНДИНКА В РОЗОВОМ, БРЮНЕТКА В ГОЛУБОМ

Да, непременно, мы встретимся в саду у реки, сразу за цветником, — говорит Граубильдер, прощается и выходит в сад. Мы встретимся и будем гулять в саду, думает он, бабочки порхают над цветами, думает он, птицы летают над деревьями, думает он, речка плещется у ног, думает он. если с погодой повезет, думает он, если погода будет плохая, думает он, то дни пойдут по-прежнему, думает он, не почувствуешь ни красоты, ни убожества, думает он, ни сожаления, ни желания, думает он, ни радости, ни боли, думает он, ни рассвета, ни сумерек.

Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру. Сумерки или рассвет. Иногда на рассвете появляется надежда, а в сумерках исчезает. Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру на промытую дождем тополиную аллею, на которой виднеются четыре следа, оставленные черными туфельками, это их следы, ее, блондинки в розовом и брюнетки в голубом, это их ежедневная прогулка от начала и до конца аллеи, сквозь строй тополей, и так несколько раз от начала и до конца медитации. Идут минуты, потом часы и дни, из месяца в месяц, из года в год и уже осень, над аллеей проносятся белые облака с темными теньями, блондинка в розовом смотрит в окно, она думает, что проходя по аллее можно ощутить лучи солнца, легкий ветер или даже дождь с градом, ей слышится голос, губы ее шевелятся, она повторяет: **«НЕТ ЯДА ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ ТАИТ СВОЮ ГОРЕЧЬ ПОД МНИМОЙ СЛАДОСТЬЮ».**

Блондинка в розовом смотрит в окно, вокруг сад, а дальше река, и дойдя до реки можно повернуть обратно по дорожкам, усыпанным песком, обсаженным березами и липами, и вернуться на тополиную аллею, войти в дом и прочесть лежащее на столе письмо брюнетки в голубом: «Дорогая пишу чтобы поставить тебя в известность что у меня легкий насморк а две недели назад я встретила человека по фамилии Граубильдер и мы с нам решили попытать счастья».

Да, непременно, мы встретимся завтра в саду у реки, сразу за цветником, — говорит Граубильдер, прощается и выходит в сад. Мы встретимся

и будем гулять в саду, думает он, хорошо гулять в саду, думает он, уже падает снег, думает он, застыли на аллеях деревья, думает он, воздух чист и прозрачен, думает он, если с погодой повезет, думает он, если погода будет плохая, думает он, то дни пойдут по-прежнему, думает он, не почувствуешь ни света, ни темноты, думает он, ни отчаяния, ни безразличия, думает он, ни страсти, ни жалости, думает он, ни холода, ни тепла, думает он, ни захода солнца, ни восхода.

Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру. Заходит солнце или восходит. Иногда с восходом солнца появляется надежда, а с заходом солнца исчезает. Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру на промытую дождем тополиную аллею, на которой виднеются четыре следа, оставленные черными туфельками, это их следы, ее, блондинки в розовом и брюнетки в голубом, это их ежедневная прогулка от начала и до конца аллеи, сквозь строй тополей, и так несколько раз от начала и до конца медитации. Идут минуты, потом часы и дни, из месяца в месяц, из года в год, и уже зима, над аллеей проносятся белые облака с темными тенями, блондинка в розовом смотрит в окно, она думает, что проходя по аллее можно увидеть пролетающих над деревьями птиц, крылья которых производят мелодичный шум или журчащее бормотание. ей слышится голос, губы ее шевелятся, она повторяет: **«НЕТ ЯДА ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ ТАИТ ГИБЕЛЬНОЕ ЗЛО, ПРИКРЫТОЕ НАРУЖНОЙ ДОБРОДЕТЕЛЬЮ».**

Блондинка в розовом смотрит в окно, вокруг сад, цветники, а дальше река, и дойдя до реки, можно повернуть обратно по дорожкам, усыпанным песком, посаженным березами и липами, вернуться на тополиную аллею и прочесть лежащее на столе письмо брюнетки в голубом: «Дорогая пишу чтобы поставить тебя в известность что насморк у меня еще не прошел а две недели назад я встретила человека по фамилии Граубильдер мы с ним решили попытаться счастья но когда мы остались одни Граубильдер заплакал».

Да, непременно, мы встретимся завтра в саду у реки, сразу за цветником, — говорит Граубильдер, прощается и выходит в сад. Мы встретимся и будем гулять в саду, думает он, хорошо гулять в саду, думает он, солнце прогревает землю, думает он, в траве снуют насекомые, думает он, пчелы сидят на цветах, думает он, если с погодой повезет, думает он, если погода будет плохая, думает он, то дни пойдут по-прежнему, думает он, не почувствуешь ни любви, ни ненависти, думает он, ни изящества, ни порядка, думает он, ни злобы, ни отвращения, думает он, ни жары, ни прохлады, думает он, ни удовольствия, ни равнодушия, думает он, ни раннего утра, ни позднего вечера.

Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру. Поздний вечер или раннее утро. Иногда ранним утром появляется надежда, а поздним вечером исчезает. Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру на промытую дождем тополиную аллею, на которой виднеются четыре следа, оставленные черными туфельками, это их следы, ее, блондинки в розовом и брюнетки в голубом, это их ежедневная прогулка от начала и до конца аллеи, сквозь строй тополей, и так несколько



раз от начала и до конца медитации. Идут минуты, потом часы и дни, из месяца в месяц, из гола в год, и уже весна, над аллеей проносятся белые облака с темными тенями, блондинка в розовом смотрит в окно, она думает, что проходя по аллее можно приподнять небольшой камень, покоящийся среди листвы, и под ним увидеть множество личинок насекомых, ей слышится голос, губы ее шевелятся, она повторяет: **«НЕТ ЯДА ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ ТАИТ НЕНАВИСТЬ ПОД ВИДОМ БЕСКОРЫСТИЯ».**

Блондинка в розовом смотрит в окно, вокруг сад, цветники, а дальше луг, река, и дойдя до реки, можно повернуть обратно по дорожкам, усыпанным песком, обсаженным березами и липами, вернуться на тополиную аллею, войти в дом и прочесть лежащее на столе письмо брюнетки в голубом: «Дорогая пишу чтобы поставить тебя в известность что насморк у меня в разгаре а две недели назад я встретила человека по фамилии Граубильдер мы с ним решили попытаться счастья но когда мы остались одни Граубильдер заплакал ну что же ты плачешь спросила я у него у меня судороги ответил он».

Да, непременно, мы встретимся завтра в саду у реки, сразу за цветником, — говорит Граубильдер, прощается и выходит в сад. Мы встретимся и будем гулять в саду, думает он, хорошо гулять в саду, думает он, птицы щебечут на ветках, думает он, чуть подрагивает листва, думает он, если с погодой повезет, думает он, если погода будет плохая, думает он, то дни пойдут по-прежнему, думает он, не почувствуешь ни усталости, ни оживления, думает он, ни наслаждения, ни скуки, думает он, ни скученности, ни простора, думает он, ни презрения, ни благодарности, думает он, ни последних лучей солнца, ни первых.

Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру. Последние лучи солнца или первые. Иногда при первых лучах солнца появляется надежда, а при последних исчезает. Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру на промытую дождем тополиную аллею, на которой виднеются четыре следа, оставленные черными туфельками, это их следы, ее, блондинки в розовом и брюнетки в голубом, это их ежедневная прогулка от начала и до конца аллеи, сквозь строй тополей, и так несколько раз от начала и до конца медитации. Идут минуты, потом часы и дни, из месяца в месяц, из года в год и уже лето, над аллеей проносятся белые облака с темными тенями, блондинка в розовом смотрит в окно, она думает, что проходя по аллее можно наблюдать жизнь животных, насекомых, птиц и растений, обитающих вокруг, ей слышится голос, губы ее шевелятся, она повторяет: **«НЕТ ЯДА ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ УСЫПЛЯ НАШУ ВДИТЕЛЬНОСТЬ, ТАИТ СКРЫТУЮ ЛЮБОВЬ ПОД МАСКОЙ БЕЗРАЗЛИЧИЯ».**

Блондинка в розовом смотрит в окно, вокруг сад, цветники, а дальше луг, лес, река, и дойдя до реки, можно повернуть обратно по дорожкам, усыпанным песком, обсаженным березами и липами, вернуться на тополиную аллею, войти в дом и прочесть лежащее на столе письмо брюнетки в голубом: «Дорогая пишу чтобы поставить тебя в известность что насморк не оставляет меня, а две недели назад я встретила человека по

фамилии Граубильдер мы с ним решили попытать счастья но когда мы остались одни Граубильдер заплакал ну что же ты плачешь спросила я у него у меня судороги ответил он может не судороги а что-нибудь другое сказала я может и не судороги он был готов поверить мне на слово но у меня ничего не получится сказал он нет не так сказала я иди ко мне я тебя мигом согрею».

Да, непременно, мы встретимся завтра в саду у реки, сразу за цветником, — говорит Граубильдер, прощается и выходит в сад. Мы встретимся и будем гулять в саду, думает он, хорошо гулять в саду, думает он, трава шелестит под ногами, думает он, ветки потрескивают над головой, думает он, если с погодой повезет, думает он, если погода будет плохая, думает он, то дни пойдут по-прежнему, думает он, не почувствуешь ни спокойствия, ни угнетенности, думает он, ни слабости, ни силы, думает он, ни яркости ни бесцветности, думает он, ни опасности, ни защищенности, думает он, ни тяжести, ни легкости, думает он, ни пробуждения, ни сна.

Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру. Перед сном или после пробуждения. Иногда после пробуждения появляется надежда, а перед сном исчезает. Блондинка в розовом смотрит в окно вслед Граубильдеру на промытую дождем тополиную аллею, на которой виднеются четыре следа, оставленные черными туфельками, это их следы, ее, блондинки в розовом и брюнетки в голубом, это их ежедневная прогулка от начала и до конца аллеи, сквозь строй тополей, и так несколько раз от начала и до конца медитации. Идут минуты, потом часы и дни, из месяца в месяц, из года в год, и уже осень, над аллеей проносятся белые облака с темными теньями, блондинка в розовом смотрит в окно, она думает, что проходя по аллее можно восхищаться порханием бабочек с цветка на цветок, ей слышится голос, губы ее шевелятся, она повторяет: **«НЕТ ЯДА ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ ТАИТ ПОД ВИДОМ РАВНОДУШИЯ БОЯЗНЬ ОДИНОЧЕСТВА, А КОГДА МЫ СПОХВАТЫВАЕМСЯ, ВЫБАЕТ УЖЕ ПОЗДНО».**

Блондинка в розовом смотрит в окно, вокруг сад, цветники, а дальше луг, лес, холмы, река, и дойдя до реки, можно повернуть обратно по дорожкам, усыпанным песком, обсаженным березами и липами, увидеть брюнетку в голубом, с опрокинутой головой, глазами, полными солнечного света и уходящего вглубь сада Граубильдера, вернуться на тополиную аллею, войти в дом и прочесть лежащее на столе письмо брюнетки в голубом: «Дорогая пишу чтобы поставить тебя в известность что насморк у меня все усиливается а две недели назад я встретила человека по фамилии Граубильдер мы с ним решили попытать счастья но когда мы остались одни Граубильдер заплакал ну что же ты плачешь спросила я у меня судороги ответил он может быть не судороги а что-нибудь другое сказала я может и не судороги он был готов поверить мне на слово но у меня все равно ничего не получится сказал он нет не так сказала я иди ко мне я тебя мигом согрею он прижался ко мне судороги в ногах у него утихли дыхание у нас сравнялось и вот я иду по промытой вечерним дождем аллее на которой виднеются четыре следа оставленные черными

туфельками это наши следы это наша ежедневная прогулка от начала и да конца аллеи сквозь строй тополей и так несколько раз от начала и до конца медитации».

## ВОСПОМИНАНИЯ О БАДЕН-БАДЕНЕ

По аллее, посыпанной мелким песком, шли двое. Маркиз в черном бархатном пиджаке и белых фланелевых брюках и юная девушка в белой кофточке и розовой юбке.

— После грозы воздух всегда так чист, вы не находите?

А вокруг подстриженные деревья. заходящее солнце, убегающие тучи на фоне темнеющего неба и вся жизнь, такая долгая для них обоих. Пятидесятилетний, полный сил и с гордой осанкой маркиз взглядывает на юную Лизу, о нежность и хрупкость. и находит единственные и такие подходящие слова,

— Посмотрите, облака над Баден-Гаденом, белые облака с темными тенями.

*La fleur de jeunesse remplit coloriage d'une eternelle ivresse.\**

Но нет уже аллеи и Лиза, сбросив с себя одежду, лежит в темноте, в своей закрытой ставнями комнате, она представляет себя такой красивой и недоступной. Загорелые плечи, ноги и шея. Белоснежные бедра и грудь. А между плечами, бедрами и грудью такое правильное соотношение. И в этом соотношении секрет ее красоты. И вот она уже сидит перед туалетным столиком, расчесывает волосы, а сзади подкрадывается огромная волосатая обезьяна. И ах как хорошо, как сладко и как страшно. Лиза открывает глаза. Утро, знойное, душное, и ветер с Альп шевелит флаги на флагштоках, и аллея, ведущая к полосатой красно-белой купальне, и Лиза уже прыгает в воду, подымая тучу брызг, и плывет, опустив голову, легко и непринужденно, выставляя загорелое плечо.

*La fleur de jeunesse remplit coloriage d'une eternelle ivresse.*

На пляже ее ждет маркиз, чтобы пойти вместе к завтраку, потому что со стороны виллы доносится нарастающий гул гонга. Лиза поворачивает и плывет к берегу. Выходит, раскрасневшаяся и задыхающаяся. Надо еще причесаться и переодеться. Она устала. Нет, завтра она будет завтракать в спальне.

— *Le dejener au lit pour madame.\*\**

А после завтрака опять прогулки в саду. Они идут с маркизом вдоль реки. У реки растут деревья, а за деревьями видна равнина. За которой начинаются горы. После грозы все выглядит окрашенным в глубокие и чистые тона.

— После грозы воздух всегда так чист, неправда ли?

Это говорит маркиз, еще полный сил мужчина со строгими чертами лица и изящными манерами. Слегка прерывающимся голосом он добавляет.

\*Цветенье юности навек опьянило немолодое сердце. (фр.)

\*\*Завтрак в постель для мадам. (фр.)

— Но в этом саду, — рука его делает долгий ласкающий жест, — вы так же свежи и чисты.

*La fleur de jeunesse remplit coloriage d'une eternelle ivresse.*

Как он ее любит. Он уже купил ей дворец в пригороде. Ах, какие ночи они проводят в белых стенах этого дворца. Сколько смешного они делают. Какие странные и прекрасные вещи с ними происходят. Каждое утро Лиза выезжает на конную прогулку. Она выходит в амазонке, и не поворачивая головы,

— *Amenez moi mon cheval.\**

Зеленый костюм с черной треугольной шляпой, украшенной серебряным галуном.

После прогулки заканчивая обед, они едят мороженое, которое она заливает компотом из персиков, а он глотками превосходного вина. На стенах столовой висят картины, на которых изображены пальмы, тигры, деревья, а на деревьях разноцветные птицы. И тут маркиз наклоняется к Лизе и голосом, полным нервной дрожи, произносит,

— Я грежу наяву. Вы так свежи и прекрасны.

Они уходят в спальню и с ними опять происходят странные, чуть страшные, но такие превосходные вещи. Потом послеобеденный отдых. Лиза лежит на кровати. Слепительно белая грудь, бронзовые руки и ноги. Красивая и слегка уставшая. Окна закрыты ставнями, а под окнами лужайка, покрытая цветами: нарциссами и тюльпанами.

*La fleur de jeunesse remplit coloriage d'une eternelle ivresse.*

Но сейчас вечер. Подстриженные деревья, заходящее солнце, промытый дождем воздух. Маркиз, еще полный сил и с гордой осанкой, говорит единственные и такие драгоценные слова,

— Облака над Баден-Баденом. Белые облака с темными тенями.

Маркиз легко поднимает голову, смотрят вверх, показывая рукой на уже темнеющее небо.

А где же Лиза? Где Лиза, уже не молодая, так и не вышедшая замуж, всю жизнь прожившая в московской коммунальной квартире, Лиза, у которой ничего нет, ничего, кроме воспоминания о Баден-Бадене?

## АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВИЧ И ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

От института до дома четыре минуты ходу, если идти ровным, спокойным шагом, так, как всегда ходит профессор теоретической физики Александр Нестерович.

Из окна кабинета декана виден балкон его квартиры. Вьюнки на тоненьких веревочках бегут на второй этаж. Они как будто кивают головками, и часто среди зелени и цветов мелькает милая седаа голова Юлии Николаевны.

Как сорок лет тому назад она выходила на балкон встречать мужа, тоненькая, красивая, так и теперь каждый день, выходя из дверей института, он уже видит ее подвижную и все еще стройную фигуру, ее

---

\*Приведите мне мою лошадь. (фр.)

аккуратную и чуть-чуть кокетливую высокую прическу седых волос и кружевной белый платок на плечах. Через четыре минуты она спросит его:

— Ну как сегодня твои лекции, милый?

И он, целуя ее маленькую руку, ответит так, словно ее действительно волнуют его кванты и атомы, в которых она абсолютно ничего не понимает.

Каждое утро она провожает его, заботится, чтобы он случайно не забыл (хотя этого никогда еще не было) портфель, очки, палку, шарф на шею, и смотрит с балкона ему вслед. Вот он идет по дорожке институтского сада. Здесь знаком каждый кустик, каждая плита тротуара, и старый ясень на середине пути, что вырос у него на глазах, и раскидистая липа, и каштаны.

Даже в эти осенние тревожные дни, когда весь сад института изрыли глубокими рвами и большинство студентов маршировали по площади, Александр Нестерович точно также ежедневно выходил без четырех минут девять и лекции читал при любом количестве студентов.

Вероятно, поэтому особенно поразило всех известие, которое принесла только что лаборантка Люба. Она прошла, да нет, она пролетела в полминуты дорожку от квартиры Александра Нестеровича к институту. Красная, с большими от удивления глазами, она вбежала в комнату, где уже ничто не напоминало строгости и недоступности кабинета декана. Вся мебель была сдвинута со своих извечных мест, а посередине завхоз Ксаных заколачивал ящики с приборами, а профессура и студенты складывали библиотеку.

Люба с минуту стояла молча и, наконец, упавшим голосом сказала:

— Александр Нестерович не едет...

Кругленький, проворный Ксаных вытаращил глаза и ничего не мог произнести. Ему было поручено вывезти всех профессоров с семьями и все имущество института. Всю ночь и утро он хлопотал на станции о вагонах. Делом его чести было, чтобы у каждого была отдельная полка и чтобы ни одна реторта не была разбита и ни одна книга не была потеряна.

А для старого, любимого им профессора, он, по секрету от всех, приготовил мягкое купе, — и вдруг профессор отказывается ехать.

— Как же так. Враг у порога. Да что он говорит. Ты хоть скажи, что он говорит, — ни с того, ни с сего напустился Ксаных на Любу.

— При чем же здесь я, — чуть не заплакала Люба. — Он говорит, что ему семьдесят пять лет и ему незачем шляться по свету.

Уехали вечером, и никто не забежал проститься с Александром Нестеровичем. Должно быть, думали, что уже спит, так объяснила это себе Юлия Николаевна.

Она вышла на балкон и весь мир показался ей пустым и чуждым. С соседнего балкона не окликнула ее, как всегда, приятельница, жена профессора математики, около крыльца не возилась детвора, главный корпус стоял молчаливый, как склеп. Даже старого дворника Ахмеда не

было видно, и ветер за него с шуршанием и воем подметал последние пожелтевшие листья.

Она вспомнила, что еще утром с сожалением смотрела, как люди разоряют насиженные гнезда, торопливо складывают вещи, оставляют, не задумываясь все дорогие сердцу мелочи, дорогие по воспоминаниям, но не нужные для жизни. Такими дорогими, но ненужными для жизни мелочами была переполнена ее квартира, за исключением кабинета Александра Нестеровича. Там стояли только высокие шкафы с книгами и простой письменный стол с его работами.

Теперь они были одни во всем корпусе, и Юлия Николаевна растерянно сообщила об этом мужу:

— Все уехали... все... повторяла она, — только мы остались.

— Они вернуться, — вкрадчиво сказал Александр Нестерович. — Не волнуйся Юля.

Он вдруг жадно взглянул на Юлию Николаевну и, схватив ее за тощие ягодицы, бросил на пол и навалился на нее. От возбуждения лицо его налилось кровью, рот перекосялся, дыхание стало громким и прерывистым, а полусогнутые колени дрожали.

— Боже мой! — закричала Юлия Николаевна. Она страшно перепугалась. Такого не было тридцать лет.

## ЛЮБОВЬ В ЧИСТО НЕМЕЦКОМ ВКУСЕ

Выйдя из супермаркета, Петер Хейс поторопился, чтобы успеть на автобус, останавливающийся недалеко от главного входа без четверти четыре. Стояла осень, и Петер, быстро перепрыгивая длинными стройными ногами через лужи, успел на автобус. Петер сел в кресло, и взгляды его устремились мимо пассажиров вдаль. Он вспоминал, как год назад он познакомился с Хельгой Любке. Хельге было тогда девятнадцать лет. Она работала конторской служащей, а Петер в строительной фирме в Дейсбурге и жил у родителей в комфортабельном доме с встроенной кухней. Петер хорошо зарабатывал и искал подругу для любовных игр. С Хельгой Петер познакомился на стадионе, где обычно встречался с друзьями. Он пристально наблюдал за ней, и вскоре она к нему подошла. Столь внимательный интерес можно было отнести к проснувшемуся инстинкту, и хотя с тех пор они часто бывали вместе, Петер не сознавал ответственности, которую при этом на себя брал. Хельге необходима была забота и внимание, особенно в первое время их совместной жизни. Петер Хейс же больше был занят новой автомашиной марки «фольксваген» и постоянно с ней возился. Он много играл в футбол, но мало уделял внимания Хельге, а ведь ей нужна была своя комната с книжными стеллажами, удобной мягкой мебелью и спальным гарнитуром фирмы «Фельгер», где можно было бы отдохнуть после половых отношений. Для восстановления энергии, затраченной во время любовных игр, Хельге требовалась калорийная пища и правильный моцион. Хельга стала предъявлять Петеру соответствующие претензии, и ему это скоро надоело. Перед ним

встал вопрос о выборе подруги для дальнейшей жизни. Хельга Любке была маленькой миниатюрной девушкой с коротко подстриженными волосами. Правда, она могла и измениться. Двадцативосьмилетний Петер Хейс начал задумываться, кого он предпочитает. Он зачастил в пивную Фрица Штрауса и стал проводить там много времени. В пивной он познакомился с Дорис Хайнеманн, женщиной большого роста с развитыми формами.

**Любовь в чисто немецком вкусе (продолжение).** В пивной Петер Хейс познакомился с Дорис Хайнеманн, женщиной большого роста с развитыми формами. Тем временем наступила зима, выпал первый снежок. Петер снял квартиру с мебельным гарнитуром и посудомоечной машиной и посыпал тротуар перед домом поваренной солью. Хотя Дорис была уже немолода, под сорок лет, по-настоящему она не смирилась со своим возрастом и старалась делать все возможное, чтобы сохранить свежесть и привлекательность. Петер Хейс не только по вечерам, но и утром занимался с Дорис половыми играми. После разумной тренировки в постели, которая шла ей на пользу, она могла научиться правильно себя вести и стать надежным спутником в жизни. После ухода Петера на работу, Дорис в течение часа занималась собой. Этот час концентрации на своем теле и духе принадлежал ей одной. У Дорис была пышная прическа, а длинные волосы требуют тщательного ухода. Ухаживая за своими волосами, Дорис Хайнеманн все чаще думала, правильно ли она остановила свой выбор на Петере Хейсе. Его рост, формы и темперамент ей вроде бы подходили, но она все более задумывалась, нужен ли ей прочный здоровый экземпляр, или мужчина с интеллектуальными запросами. И вот однажды, когда Петер ушел пить пиво в соседнюю пивную, Дорис, выйдя из дома за покупками, встретила в зеленой лавке владельца фотоателье Курта Шееля, пятидесяти трех лет, в костюме с жилеткой и галстуке, спокойного, уверенного в себе и солидного.

**Любовь в чисто немецком вкусе (продолжение).** В зеленой лавке Дорис Хайнеманн встретила Курта Шееля, пятидесяти трех лет от роду, спокойного, уверенного в себе и солидного. Дорис и Курт скоро почувствовали, что они партнеры, равноправные во всем. У Курта в Ландсхуте был дом, в котором он предоставил Дорис отдельную спальню с встроенным телевизором и стереоустановкой фирмы «Рюдигер», а также купил в рассрочку стиральную машину. Тем временем наступила весна, стало тепло, набухли почки на деревьях, и вот однажды, после напряженного дня, Курт Шеель, вернувшись из ателье домой, застал в спальне Дорис гостя — на кровати лежал небольшого роста крепкий мужчина. При появлении Курта он насторожился и отодвинулся от Дорис лицом к стене. Он был совершенно гол, и тело и даже лицо его было покрыто светлой и густой шерстью и только короткие сильные ноги выделялись более темной окраской. Курт всмотрелся и узнал Фрица Штрауса. Они иногда встречались. Фриц был владельцем пивной, а по вечерам слушал на новой стереоустановке свои любимые григорианские хоралы, включая звук на полную громкость. Фриц Штраус схватил со спинки кровати одежду, легкими прыжками скрылся из дома и уехал на

автомашине марки «БМВ». После этого случая Курт Шеель часто стал задумываться, правильно ли он выбрал Дорис Хайнеманн. Может быть, из-за своего недостаточного сексуального опыта он совершил ошибку, полагая, что подруга нужна только в постели. Поэтому со временем его и постигло разочарование. То, что он смотрел на Дорис только лишь как на полового партнера, отразилось на ее образе жизни и здоровье. Перед тем как сойтись с Дорис, Курту нужно было хотя бы решить — особу какого пола для любовных игр он желает приобрести, женщину или мужчину. Мужчины, безусловно, предпочтительнее для сексуальной дрессировки, они, обычно, покладистее. Курт выбрал женщину, но не учел, что Дорис, объекту его половых устремлений, лучше, особенно в первое время, не давать общаться с другими людьми. Он не учел этого и потерпел фиаско. Важно, также, не относиться несерьезно к выбору подруги. Правильный выбор — это первейшая обязанность. Тем временем наступило лето, стало жарко, деревья покрылись листьями, а газоны травой. Все-таки Курт верил, что непременно найдется особа, подходящая для его темперамента, дома и образа жизни, — и она нашлась. Курт Шеель встретил шестнадцатилетнюю Лору Карстекс в маленьком розничном магазине текстильных товаров в Мюнстере, куда зашел кое за какими покупками.

**Любовь в чисто немецком вкусе (продолжение).** Курт Шеель встретил Лору Карстекс в маленьком магазине в Мюнстере. Она ему, в своей чистой и элегантной рабочей форме сразу понравилась. Есть такие девушки, в которых нельзя не влюбиться. Молодые, налитые кровью, точно соком, покрытые нежной, чуть матовой, бледно-салатной кожей, они немного неуклюжи, мягки и словно беззащитно обнажены. Они наполнены красующейся плотью — розовой как мясо благородных рыб, и скрытой от глаз косметикой неповторимых, от бордового до темно-сизого, оттенков. Такой была и Лора Карстекс. Лора с Куртом занимались сексуальным общением чаще по ночам, но иногда и днем, в маленькой, обставленной собственной мебелью однокомнатной квартире Лоры, с ванной туалетом и кухонной нишей. Половые сношения у Лоры сопровождалась различными звуками, которые она издавала, причем эти звуки бывали слышны не только в постели или в пределах комнаты, но и во всей квартире и даже доме. Курт тоже часто кричал во время оргазма, причем иногда его крики напоминали рычание. Чаще всего Лора издавала во время сношения вполне мелодичные звуки, напоминающие тирольские песни. Тем временем настала осень, похолодало, часто моросил мелкий дождь. Лора Карстекс во время полового акта стала холодной, и если сношение происходило ночью, то, бывало, продолжала спать, хотя в какой-то степени на него реагировала. Очевидно, в ее мозгу имелись определенные «сторожевые центры», которые предупреждали ее о вторжении полового органа Курта и заставляли ее проснуться и начать как-то действовать, хотя чаще всего она молча смотрела мимо партнера в сторону, «рыбьими глазами». Постепенно Курт Шеель ей стал неприятен и даже противен. Она заметила, что в ней стали развиваться мужские наклонности, привычки и привязанности. Лора не представляла себе, что эти наклонности



и привычки перерастут в ней в чувство любви к женщине, но так оно и случилось. Однажды в Дейсбурге в небольшом кафе в центре города Лора Карстекс встретила с Гизеллой фон Вайцеккер, энергичной двадцатипятилетней вдовой, самостоятельной, по-настоящему эмансипированной женщиной.

**Любовь в чисто немецком вкусе (продолжение).** Однажды в Дейсбурге в небольшом кафе в центре города Лора Карстекс встретила с Гизеллой фон Вайцеккер, двадцати пяти лет, самостоятельной, по-настоящему эмансипированной женщиной. Гизелла была художником-дизайнером, и она с Лорой поселились в трехкомнатной квартире, непосредственно над ее мастерской. Гизелла обладала тонкой чувствительностью к запахам и звукам, ощущала вкус к сексуальному контакту и имела склонность к игре во время полового акта. Лора Карстекс с Гизеллой фон Вайцеккер во время сношения разговаривали, издавали короткие восклицания или обменивались репликами. Гизелла создавала вокруг себя чувственное поле, наподобие электрического или магнитного. Казалось, они еще долго будут нужны друг другу, но все чаще Лору тянуло к другим женщинам, все ее попытки пересилить себя, подавить новые влечения ни к чему не привели. Даже необходимость носить на людях женскую одежду вызывала в ней отвращение. В дальнейшем, чтобы реализовать свои привязанности, Лоре Карстекс понадобилось хирургическое вмешательство. Гизелла стала чувствовать себя с Лорой плохо, она часто беспокойно спала, ложилась на бок, подкладывала руки под голову, вертелась во сне и, иногда, спросонья, разговаривала и приподнималась. Тем временем кончалась осень, стало совсем холодно, было ветрено и шел дождь, и однажды Гизелла фон Вайцеккер, возвращаясь из супермаркета около четырех часов и перепрыгивая через лужи, успела вскочить в автобус, где сидел Петер Хейс.

---

---

## Полина Беспрозованная

\* \* \*

«Нет ни Еллина, ни Иудея» —  
так апостол еще говорил.  
Сколько раз эта чудо-идея  
прорастала из братских могил.

То травой, то дымом и пеплом.  
Сизым пеплом из лагерных труб.  
И над нашим заснеженным пеклом  
не единожды сделала круг.

И все дальше и дальше. И мимо.  
И того и гляди прошуршишь  
вслед за ней, над сторонкой родимой,  
чудо-юдою рыбою-фиш.

\* \* \*

Все выло и выло. Гудело. Металось. Рвалось.  
Мело. Куролесило. Тонкие ветки ломало.  
— Ну что, наигралась, шальная душа?

Улеглось?

Куда там. Опять и опять

круговерть начинала сначала.

И вот — когда мутная вышла на небо луна,  
И ветер утих, и окончился вальс рукопашный,  
И ты восхитился, какая вокруг тишина,  
Вот тут-то и стало —

Безумно. Безудержно. Страшно.

\* \* \*

«... Что наша жизнь? Предлог? — Для песни лебединой!»

*Д. Бобышев*

Косноязычье раздирает рот  
Поющего хвалу.  
И кровью речь сочится  
Ко впадинке над правою ключицей —  
Древесная смола по белому стволу.

Тобой оставленный так страшен мертвый лес,  
Где празднует смоковница сухая.  
Крошится крона, корни засыхают,  
И древо жизни клонится к земле.

Божественный, сомнительный предлог  
Для пения навзрыд,  
Спеша и ошибаясь...  
Лесник проходит мимо, улыбаясь,  
Цветущий вереск рвется из-под ног.

\* \* \*

Не заставляй меня выбирать, не мучай!  
Днем — из двух зол, трех сосен, одной страны.  
Ночью — из темноты колючей  
черствые сны.

Не оставляй меня умирать на плоской  
грязной странице не то дневника, не то  
описи мертвых судеб...

Картуш петровский,  
Ржевки сырой картон.

Нет, не о том, не о том, не слушай!  
Делай, как знаешь, половину кидай в костер!  
Там, где бесцветный дым принимает душу,  
воздух колыхается, сизые угли дышат,  
и лиловеет створ.

\* \* \*

— Это наше право делать из жизни смерть,  
камни из хлеба, а из любви — похмелье.  
Мы за него заплатили, и ёго у нас не отнять,  
как не разжать губ, покрывающихся цвелью.

Оно уходит корнями в трещины наших снов.  
Крона его легко заслоняет небо.  
Спелая мякоть его железных плодов  
слаще крови, пьянее гнева.

... Не говорю, что понят, но говорю — любим  
черной пыльцою-пылью, следующей за ним...

\* \* \*

Ну-ка, попробуй вынырнуть с той стороны луны.  
Ты никому не должен, и тебе ничего не должны.

Солнце медленно входит в созвездие Рыб

То, что не было плотью — не станет словом.

Закат.

собирает в пучок лиловые облака.

Кверху брюхом всплывает луны и говорит «адыю»,  
ты говоришь «пока».

Плоть это то, чем платишь пока плывешь  
в мировом океане при свете соленых звезд.  
Слово — то, что ты ловишь сетью солнечных снов,  
Пока над тобой в зените скользит созвездие Рыб.

\* \* \*

Дважды ли, трижды предавший —  
мне ли тебя судить?

Бровь поднимать и улыбаться гордо?

Только и надо было —

самой любить  
с нежностью, перехватывающей горло.

Только и надо было — самой жалеть,  
не отводя ни судьбы, ни руки, ни взгляда.  
И не смотреть, как солнце заходит в сеть  
зимнего сада.

---

---

Сергей Вольф

## ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДО ПЕРЕЕЗДА В N

Когда я был мальчиком тринадцати или четырнадцати — не помню уж точно, сколько лет — мой отец работал в музее. Мы жили тогда в небольшом городке, название которого неважно, и в июне месяце должны были уехать. Но это вовсе не значит, что отец был случайным человеком в музее: — до этого он проработал там целых пять лет, заведя каким-то вроде бы важным отделом. Всего отделов было шесть или семь: — странно, городок был небольшой, а музей не такой уж маленький. Из соседних мест в музей привозили иконы, в других комнатах было оружие, еще несколько комнат — с военными документами, еще что-то и картины одного местного художника, — его фамилия была Дружин или Кружин — я не знаю, у меня вообще идиотская память, помню только, что на «ж», хотя, возможно, это — было и не так. . .

Отец показал мне картины Кружина, когда мне было уже лет десять. На картинах были виды нашего городка и еще почти на каждом — женщина в синем платье, то в передней части картины, то сзади, но лицо всегда было трудно рассмотреть, вернее, он его не рисовал.

В иконах я никогда ничего не понимал и в картинах тоже, но эти мне почему-то понравились, и потом, много позже, я понял, что это были действительно хорошие картины, а в иконах я, кажется, ничего не понимаю до сих пор.

Сейчас я не могу сказать точно, каким именно отделом заведовал мой отец, опять-таки в силу устройства моей памяти и еще потому, что об этом никогда не заходил разговор: все работники музея разгуливали по отделам, как и когда придется, все время ели бутерброды, о чем-то говорили, играли в шашки, некоторые женщины — вязали: — в общем, какая-то неразбериха.

Мне нравилось ходить к отцу на работу, позже я расскажу почему, хотя — заранее говорю — не из-за Гриба, и не из-за отца; мне правда нравилось бывать с отцом, но мы и без того проводили с ним вместе целые вечера, так что не из-за него.

Я думаю, раза четыре в неделю я обязательно заходил в музей. Я любил это делать с утра, когда поменьше народу (хотя народу вообще было мало), и это не следует понимать так, будто я прогуливал школу: — ведь, приходя в музей, я встречался с отцом, а он был не такой человек, чтобы терпеть прогулы; конечно, если бы меня очень тянули к себе картины или, скажем, иконы, я бы мог разок-другой мотнуть школу, но, во-первых, это было не так, а во-вторых, меня бы все-равно заметили: — там всегда было пусто, и меня знал каждый, — и сказали бы отцу. Не могу понять, почему я рассуждаю так длинно — просто, надо сказать, я проболел первую половину учебного года, учился после этого плохо, и отец не очень настаивал, чтобы я аккуратно ходил в школу: мы решили, что в июне отсюда уедем, и я снова, уже на новом месте, поступлю в тот же класс.

Что бы мне еще хотелось сказать... Да, ну конечно... Я приходил в музей часов в одиннадцать утра, и отец вместе со мной еще раз пил чай: для меня это тоже был второй чай с утра, но отец просто любил пить чай, а меня заставлял пить потому, что ему почему-то постоянно казалось, что я голоден. Потом я уходил бродить по музею. Я знал там все ходы и выходы, но больше всего мне нравилось рассматривать картины этого Дружина, потом иконы, — только не смотреть их, а просто сидеть в этих комнатах, — а также одна черная лестница, где всегда почему-то пахло огуречным рассолом (я очень люблю огурцы, всякие, хотя, впрочем, свежепросоленные больше всего), — и еще уборная, — (там потом сидел Гриб, но не из-за этого), — где был очень мягкий глубокий диван. Уборная была, не знаю, почему, довольно большая, в форме буквы «Т»; в конце вертикальной палочки была дверь — вход в уборную; эта палочка, как раз, была довольно короткой, а вот перекладинка — влево и вправо — довольно длинной. Слева помещались писсуары, в самом конце, а справа, тоже в самом конце, стояло зеркало, диван, где сидел я, а также стул, где потом сидел Гриб. За все время, пока мы с отцом жили в этом городке, я только раза два и видел вентиляторы — один в исполкоме, куда отец заходил однажды и о чем-то долго умолял высокого сухого человека, а второй — в уборной музея, как раз над диваном, где я любил сидеть.

Вентилятор так приятно жужжал над моей головой, что я, казалось, мог сидеть на этом диване часами, и от писсуаров совсем не пахло, наверное, все-таки, расстояние для этого было слишком большим. Иногда я начинал дремать и даже засыпал несколько раз, а потом просыпался в растерянности и с непонятным чувством отвращения к месту, которое мне все-таки нравилось. Вскоре я сообразил, что меня усыпляет шум вентилятора, мало того — я к нему привыкаю, а значит — перестаю получать удовольствие от нравящегося мне жужжания. Я хотел было поменьше ходить сюда, но диван все-таки был очень мягкий и удобный, и тогда я стал изредка выключать вентилятор — там был специальный рубильник. Скорость вращения моментально спадала, но — уже тихо — вентилятор крутился очень долго, потом вообще останавливался. Рубильник можно было дергать вверх или вниз, не вставая с дивана, и я

иногда развлекался этой игрой по полчаса подряд. (Гриб потом никогда не мешал мне делать это, хотя, я думаю, вовсе не потому, что был добрым, — я вообще не знал, какой он, — а просто потому, что не замечал меня).

Уборная была последним местом моего обхода музея. Я пил чай с отцом в одиннадцать, а в уборную приходил в половине второго. В два отец сам приходил сюда; он садился рядом со мной на диван и молча выкуривал одну папиросу. Глядя на него каждый раз, я каждый раз хотел попросить у него закурить. У меня тогда еще появилась потребность курить, но я хорошо помню, что это шло вовсе не от мальчишеского желания походить на взрослых, иначе я стал бы курить без ведома отца, а тайком мне не хотелось: — по-моему достаточно веское доказательство в пользу моих соображений.

Отец, наверное, замечал, как я смотрю на его папиросу; он мне ничего не говорил тогда, просто скорее старался кончить курить и вел меня в буфет. Ему, понятно почему, не хотелось, чтобы я курил, и особенно не хотелось, — и здесь я уже не знаю, в чем дело — чтобы я голодал.

В буфете он покупал мне пару бутербродов с ветчиной, или с сыром, или по одному каждого, а себе пиво и один бутерброд с сыром. Мне он покупал апельсиновый лимонад, который мне очень нравился.

Официантка — я конечно не помню ее лица — имела обыкновение садиться к нам за столик, когда подсчитывала, сколько отец должен. Иногда отец наливал ей немного пива, и тогда, не подымая головы от тарелки, а видя только свою тарелку с бутербродами, руки отца и руки официантки, я представлял себе, что я и отец сидим за столом вместе с матерью. Не могу сказать, что мне при этом становилось как-нибудь особенно нехорошо, просто я думал, что это, наверное, — сидеть так — было бы приятно, но расстраиваться я не мог, своей матери я не помнил, отец развелся с ней еще тогда, когда я ничего не мог запомнить, и так, втроем мы никогда не сидели.

Я не понимал толком, почему отец угощал ее пивом — мне она не очень нравилась; я бы с удовольствием поел с ним у него в отделе, где мы пили чай утром, и однажды сказал ему об этом. Не об официантке, конечно, а о том, что мне в отделе как-то больше нравится. Он сказал, что тогда бутерброды можно покушать и брать с собой, потом засмушался и добавил, что пиво только, пожалуй, брать с собой в отдел будет неудобно. Мне не захотелось его огорчать, и я больше не говорил с ним об этом, хотя заметил потом, что другие пили пиво и в отделе, да и потому еще, что эта официантка вскоре куда-то исчезла. Правда, мы не из-за этого стали реже ходить в буфет, — отец водил меня туда обязательно когда я приходил — но с другой официанткой он вел себя иначе, правда, она, подсчитывая долг, никогда к нам за стол не садилась.

Свой обход музея я, как это ни странно, начинал всегда с черной лестницы, где пахло огуречным рассолом. Я садился на широкий и низкий подоконник пыльного полукруглого окна и смотрел на музейный двор; там стояли огромные цинковые бочки с известью и валялась разная рух-

лядь: разбитые ящики, метлы, длинные доски с гвоздями, развалившиеся стулья и почему-то осколки елочных украшений.

Самое занятное было — следить за голубями. Двор был маленький. туда почти никто никогда не заходил, а если бы и зашел, я бы увидел из окна, но голуби, обычно спокойно сидящие на карнизах, или так же спокойно разгуливающие по рухляди, вдруг — и я до сих пор не могу понять причины — начинали, как ненормальные, кругами носиться по маленькому двору. Однажды — не в ту весну, когда мы собирались уехать, а год назад — один из голубей разбился о стену: я видел пятна крови на стене; потом, на лето отец отвез меня за город и поселил у какой-то старухи в деревне, чтобы я «поправился в весе»; когда я снова приехал назад (а вскоре и заболел), пятен на стене не было — выгорели за лето. Во дворе я ни разу не замечал кошек, но голубь, который разбился, пропал.

Обычно я сидел не на той площадке, где был выход на черную лестницу, а этажом выше. Этажом ниже я не спускался — там все было завалено метлами и лопатами, а подняться на этаж выше от того места, где я обычно сидел, было неприятно и рискованно; лестница — ступенки — была сплошь закрыта аккуратно пригнанными друг к другу досками, и на всем этом лежал, ну, я думаю, толщиной чуть ли не с ладонь слой пыли. (Надо сказать, что когда я видел, как у Гриба отворачиваются манжеты на старых брюках и пыль там — мне становилось не по себе). Пыль глубокого темно-серого цвета лежала и на перилах лестницы; словом, наверн я никогда не поднимался.

И вот однажды, в школе, я нечаянно вылил чернила на брюки соседу. Сосед заорал как очумелый, и к нам подошел учитель, отец этого чумного. Он взял меня за ухо, несколько раз дернул вверх-вниз, а потом больно ударил лбом об парту. Я выбежал из класса сразу же, тут же, прямо с этого урока, и пошел в музей. В тот день у нас было всего четыре урока, этот был последний, и отец бы не рассердился, увидев меня в музее, но я и не искал его, я забрался на черную лестницу и вдруг, не совсем понимая, что делаю, стал прямо руками разгребать пыль на досках и подниматься наверх. Помню, что при всей нелегкости делать это руками, мне почему-то было неприятно просто ступать ногами в пыль (тем более, было очень скользко) и даже просто раздвигать пыль ногами.

Я прошел таким образом один пролет, потом еще один и очутился на площадке последнего этажа. Здесь было такое же, как и мое, окно, только, пожалуй, более запыленное. Я, сколько мог, вытер его, стало светлее. что говорить; я огляделся и увидел в углу несколько продолговатых, покрытых пылью предметов и стоящую в раме у стены картину. Пыль на полу, ближе к картине, будто утолщалась и горочкой залезала на холст, как снег возле стены дома; я взял картину (довольно большую) за верхнюю часть рамы, наклонил на себя — пыль взлетела облачками, я стал чихать — и потащил ее к середине площадки... От картины на полу остался широкий след, будто прошла снегоочистительная машина (тогда я их еще не видел в нашем городке и вообще, по-моему, ни с чем след не сравнивал); я увидел, что длинные предметы — это просто картонные коробки, и еще рядом лежал широкий ржавый меч без рукоятки.



Я поставил картину лицом к окну, шапкой снял с нее весь слой пыли, отошел немного вбок, чтобы не закрывать спиной свет, и стал разглядывать ее.

То, что это была картина того художника, я понял сразу — хотя бы по этой женщине в синем платье. Но что меня удивило, так это ее лицо — у нее было лицо, а я, кажется, говорил раньше, что на всех его картинах, где была она, лица, то есть глаз, носа, рта и другого всего не было — просто овал и волосы.

Сразу, не подходя к картине, я рассмотрел, что половину ее занимает дом (я понял, что это дом того художника, отец мне показывал его), еще небо и солнце в дымке, а женщина, изображенная довольно крупно, чуть ли не в пол дома, сидела на крыльце, держа руки немного в стороны от себя чашечками, как весы, и у нее было лицо.

Понятно, мне хотелось рассмотреть все поближе, и первым делом я стал разглядывать ее платье и руки. Платье удивило меня. И издалека и вблизи оно было просто синим, плотным, но вблизи — а потом я понял, что и издалека, если знаешь, как все это выглядит вблизи — оно было немного прозрачным, и было видно тело женщины. Это было нормальное, если можно так выразиться, обычное женское тело, но там, где должна была бы находиться грудь — ее не было, вернее, грудь была, но не выпуклая, наружу, а вогнутая, внутрь, словом, не грудь, а нечто противоположное.

В каждой такой ямке сидел, к моему удивлению, котенок; телом это был точно котенок, толстый, пушистый, с острыми коготками, хотя шейка у него была тоненькая и голова маленькая и другая, не кошачья, а вроде гусиной.

И тогда я внимательно (раньше, чем на руки) посмотрел женщине в лицо. . .

. . . Да, там все было — и глаза, и рот (хотя носа не было), но вообще изображено было не лицо, а. . . простите меня за это. . . а. . . задняя часть человеческого тела, если вообще — я тороплюсь сказать это — заднюю часть тела можно изобразить отдельно от всех других частей. Но он сумел изобразить, не знаю уж как; и вот что странно, хотя все это было именно так, у меня — я это хорошо помню — не возникло чувства гадливости, просто это была какая-то правда, и глаза ее, чуть улыбающиеся, и приоткрытый рот были будто на месте, а не сбоку-припеку. Изо рта, свесив на губу лапки с острыми коготками, выглядывал котенок с гусиной головой; он лизал ее в щеку, а лапками будто сучил по губе (создавалось почему-то именно такое впечатление), но не царапал кожу, а делал это игриво и нежно. Лицо у женщины было розовое и спокойное.

На правой руке у нее, в чашечке, неизвестно зачем стоял пасхальный кулич с фиолетовым цветком, а в левой — толстая свеча с ровным и длинным огненным язычком. Я уже говорил, что сидящая на крыльце женщина была по размеру ровно вполовину дома; язычок пламени своей длиной достигал крыши, крыша немного горела, и дым от этого, поднимаясь вверх, обволакивал тонкой пеленой солнце; приглядевшись к

солнцу, я заметил едва различимого на его фоне, но все-таки заметного, котенка с гусиной головой.

... Вот какая была картина. Я уже совсем не помню, сколько времени я разглядывал ее и почему именно перестал это делать и ушел, помню только, что мне захотелось ее кому-нибудь показать, может быть Грибу, но я подумал, что, пожалуй, некому, конечно же не отцу, а с Грибом я не сказал еще и пары слов.

Недели через две я решил еще раз поглядеть на синюю женщину (хотя вообще на лестнице я бывал довольно часто, каждый раз, когда приходил в музей); я поднялся наверх, но картины не было, куда она делась — не знаю, больше я ее не видел.

Обычно с черной лестницы, где пахло огуречным рассолом, я шел в комнаты с иконами, потом в комнаты с картинами этого Дружина и, наконец, в уборную, куда в два часа дня приходил отец. Пока я слонялся по музею, меня иногда просили помочь что-нибудь сделать, подвинуть что-нибудь, шкаф, например, что-нибудь перенести, или куда-то пойти и кому-то что-то передать. Я охотно выполнял эти поручения, но я говорю об этом не потому, что мне это как-то особенно нравилось, а для того больше, чтобы было ясно, что помимо просто посещения музея у меня был лишний повод узнать всех его работников. То есть, я к этому не стремился, а мысль моя больше сводится к тому, что я, казалось бы, должен был всех запомнить: — а это не так. Я не только не помню сейчас никого из тех, кто работал с отцом, но, как это ни нелепо, плохо всех знал и тогда. Встречая в музее кого-нибудь из тех, кого я тысячу раз видел, я, конечно, здоровался, но лицо этого человека всегда казалось мне каким-то полужнакомым, а если бы я встретил его на улице, я бы и здороваться не стал, и не по невоспитанности вовсе, а потому, что просто бы даже и не вспомнил, где я видел это, в общем-то немного знакомое мне лицо. Причем такая странность во мне происходила вовсе не потому, мне кажется, что я имел дурную привычку смотреть всегда вниз: — просто у меня гадкая память, особенно на лица.

В тот день, когда я нашел на лестнице картину, про которую я рассказывал, я, когда заглянул потом в комнаты с другими его картинами, — немедленно ушел. Тогда я вряд ли мог бы точно объяснить, почему, да и сейчас, пожалуй, но, если попытаться это сделать, то скорее всего потому, что картины эти рядом с той, показались мне немного безразличными (не мне безразличными, — хотя это так в тот момент и было, — а сделанными безразлично), и ушел я от той картины вовсе не потому, что она меня никак не задела (впрочем, я и не давал оснований так думать, скорее — наоборот), а, возвращаясь к этому снова, либо из-за недостатка времени, либо потому, что там, хоть это и было всего на два пролета выше, чем окно, где я обычно сидел, совсем не пахло огуречным рассолом — я вдруг это почувствовал; возможно, я напугался незнакомого темного и пыльного места и ушел.

Надо сказать, что я так часто ходил в музей не только потому, что мне вообще нравилось ходить туда, но и потому еще, что я перенес болезнью. Сейчас объясню. Я уже говорил, что половину того учебного года

я проболел. (Здесь еще раз уместно будет сказать о моей идиотской памяти, потому что я не только не помню названия болезни, но даже, — и это вовсе уж поразительно! — *что* именно у меня болело, хотя я помню в общем, что болезнь была тяжелая, был даже кризис какой-то и операция, где-то в спине; я помню про спину, но это не значит, что я помню, что у меня болело, так как болело не в буквальном смысле).

... Когда я вышел из больницы и через некоторое время снова пошел в школу, мне вдруг — и вовсе не из-за того, что занятия пошли из рук вон плохо — стало очень тоскливо в школе, я просто не мог толком понять, *как, о чем и зачем вообще* я разговаривал раньше с этими людьми, ссорился с ними, радовался и хоть как-то что-то переживал. Поэтому понятно, что кроме как ходить в музей, мне почти ничего не оставалось делать, хотя это вовсе не объясняет действительной, ну, главной что ли, причины посещения музея, которую кое-как я уже пытался объяснить.

Помимо походов в музей я еще читал, но книги в основном попадались какие-то неинтересные, еще просто болтался по городку, покупая у цыганок семечки и надеясь встретить кого-нибудь, кто хоть как-то удивил бы меня; еще я ловил рыбу на речке возле небольшой электростанции. Чаще всего брал мелкий голавль или ельцы, но иногда попадались и хариусы, очень редко, но всегда крупные, не меньше полукилограмма. Шум маленькой электростанции, если закрыть глаза, вызывал ощущение, будто это вентилятор (а ты сидишь под ним на мягком глубоком диване, в уборной), и наоборот: когда отец долго не шел, я закрывал глаза и начинал представлять, будто я на речке и сегодня хорошо берет хариус. Однажды, размышляя таким образом, — помню, по странности, что это было начало мая, приблизительно за месяц до нашего с отцом отъезда — я, наконец, открыл глаза и увидел, что почти напротив меня, возле зеркала, на стуле, сидит старик маленького роста и смотрит куда-то рядом со мной, но явно мимо меня, вроде бы в стену, а, в общем-то, даже не куда-то именно, а просто никуда. У него были большие, ровного серого цвета глаза, усы вниз, голова маленькая и едва закрытая сероватыми волосами и очень покатые узкие плечи, такие покатые, — чуть ли не параллельные усам, — что если бы они были пошире и их линию мысленно можно было продолжить, то уровень плеч был бы чуть выше пояса. От всего этого казалось, что он поразительно маленького роста, но это было не так, он был просто маленького роста, но последнее — только благодаря ногам, которые не были коротки, а даже чуть длинноваты для его тела (хотя это я узнал несколько позже, когда он остался в брюках и рубашке); а сейчас на нем был длинный черный китель, под которым длину ног было не распознать.

Я вообще очень чуткий человек ко всяким шорохам, и только тем, что он прошел непостижимо тихо, я могу объяснить, почему я не заметил, как он прошел мимо меня и сел, а вовсе не тем, конечно, что шумел вентилятор, — шум которого был уже для меня как тишина — и уж конечно не потому, что я забылся, думая о хариусах.

Брюки на нем, как и китель, были черные, широкие и длинные, так что во что он обут, я не видел.

Я разглядывал его с неожиданным для себя вниманием и так бесцеремонно, что мне было даже немного стыдно за себя, тем более стыдно, что я был абсолютно уверен, что он не обратит на меня никакого внимания и не посмотрит мне в глаза, хотя сделать это было поразительно просто, так как я смотрел прямо ему в лицо, а он — в направлении, проходящем в миллиметре от моей щеки.

На столе возле зеркала я увидел одеколон, туалетную бумагу, пудру, папиросы и спички и еще раз поразился той бесщумности, с какой он пришел, сел на стул и все это расставил на столе.

В два часа появился отец. Он сел рядом со мной на диван, выкурил папиросу, и мы ушли в буфет. Пока мы молча сидели, старик так и не изменил ни позы, ни направления взгляда.

В буфете, на мой вопрос, отец сказал, что наступает весна, в городке в летнее время, как известно, много туристов, все бывают в музее, и без работника в туалете уже неудобно.

Больше в тот день мы об этом не говорили. Мы и потом говорили об этом совсем мало и о таких незначительных моментах, что я упоминаю об этом только потому, что все мелкие, хотя и немногочисленные подробности я узнал от отца, он, я думаю — от сослуживцев, а уж те, наверное, — сами, так как им, в отличие от меня, хотя бы по долгу службы приходилось сталкиваться с Грибом.

Но то, что его зовут Грибом, я узнал вовсе не от отца. Однажды я, направляясь в уборную, услышал, как одна женщина сказала другой, что монеты и медали для пересылки лучше всего оборачивать в вату, а если нет ваты, в мягкую туалетную бумагу — пусть пойдет и возьмет у Гриба. Я не обратил внимания на эту фразу и вспомнил ее только тогда, когда женщина, смущаясь, вошла вместе со мной в туалет и попросила у него этой бумаги. Мне показалось, что он достал ее из ящика и протянул ей, даже не повернув головы. Она поблагодарила его и ушла.

Я долго думал, почему его звали Грибом. Вряд ли это было прозвище от фамилии — уж больно по-школьному. Если имелась ввиду его внешность, то это просто глупо, ничего общего. Оставалось еще — «старый гриб», но в этом ума тоже было не много, наблюдательности во всяком случае, так как если он и был стар, то уж вовсе не как «старый гриб» или «песок сыплется», хотя, конечно же, он был в возрасте.

(Так я никогда и не узнал, почему его так звали).

Ходил он очень мелкими, чуть падающими тихими шажками, но опять-таки не от старости, по-моему, — просто у него была такая манера ходить.

Отец купил у кого-то с рук старенький радиоприемник, и по вечерам мы слушали музыку. Ловить разные станции было моим любимым занятием, я бы делал это и днем, но днем приемник работал плохо.

В те дни я впервые услышал и надолго полюбил музыку, о которой потом, по случайности, узнал, что она называется джазовой. С тех пор прошло много лет, но мне почему-то кажется, что очень мало разбираясь в этом тогда, — а я и сейчас разбираюсь не очень — я все-таки выде-

лял и отдавал предпочтение той джазовой музыке, которая была меньше похожа на танцевальную.

Однажды мы сидели с отцом вечером и слушали какую-то джазовую передачу, и вдруг небольшой оркестр заиграл торопливую по мелодии, — я ее сейчас не помню, помню только характер — но довольно медленную по размеру вещь. Я даже вскрикнул, так это полно и точно вызвало во мне ощущение походки Гриба.

Отец заволновался и спросил, в чем дело; я сказал, ерунда, немного дернуло током; он погнал меня от приемника и снова сел за работу — как-никак, через три недели мы должны были отсюда уехать, и он готовил к сдаче какие-то описи.

Вспоминая сейчас следующий день, я не могу отделаться от смешанного чувства досады и удовлетворенности одновременно. Досада становится понятной, если я скажу, что мне пришлось идти в школу, где я пролил на брюки этому чумному целую большую чернильницу. Особенно досадно то, что, как я уже говорил, мы с отцом еще несколько месяцев назад до этого порешили, что по переезде я снова поступлю в этот же класс, и глупо было, раз в неделю зайдя в школу, натворить такое (не зайти я не мог — это была просьба отца). Я до сих пор не могу понять, какую, с его точки зрения, пользу мне могли принести эти одиночные посещения, если ему и так после моей болезни было ясно, что учусь я плохо, с памятью у меня стало хуже, и программу этого класса мне все-равно нужно будет проходить заново, — но отказать ему в его просьбе и тем самым огорчить его мне не хотелось.

...Я вспоминаю этот день и цепкие, острые и почему-то пахнущие йодом пальцы учителя на моем ухе с чувством раздражения, как досадную нелепость, которой могло и не быть, будь я поизворотливей и пойдти вместо школы просто болтаться по городку. Но то, что я в этот же день увидел картину с синей женщиной, заставляет меня оправдать и прошлую свою неизворотливость, и нелогичность отца (которую я так и не понял), и даже жест учителя, которому тогда просто следовало откусить пальцы.

Действия Гриба, если можно так выразиться, мне пришлось видеть всего трижды (хотя последнее и два первых не очень-то похожи). В первый раз мы сидели с ним, как обычно молча, отец задерживался, и я вынул карандаш и блокнот, куда я обычно записывал слова с окончанием на «зность», и стал рисовать хариусов. Я старался изобразить стремительных как пули, удлинённых, мчащихся за наживкой рыб, я сделал неясные плавники и хвост для ощущения этой стремительности, как вдруг почувствовал странный здесь запах прелых подосиновиков — (особенно я люблю подосиновики) — и, поглядев вниз, увидел сначала вывернутые наружу манжеты брюк с пылью в глубине складок, а потом у себя перед самым своим носом, на рисунке, желтоватый ноготь, который, вдавливая бумагу и оставляя заметную бороздку, дважды, крест-накрест перечеркнул мой рисунок.

Я поднял голову и улыбнулся, — все-таки рисунок был неважный, — но он уже уходил к своему стулу и не смотрел на меня.

Потом я помню, как однажды отец зашел за мной и для того еще, чтобы, как обычно, покурить, но единственная папироса, которая была у него, оказалась порванной, и он стал как-то хитро, языком, заклеивать ее. Я смотрел, как он это делает, и вдруг увидел руку возле его лица с раскрытой пачкой сигарет.

Отец кивнул и взял сигарету, но рука сделала новое движение в его сторону, предлагая пачку; отец взял пачку, снова кивнул и полез в карман (наверное, за деньгами), но рука удержала его, я посмотрел на Гриба — он уже торопился уйти.

С тех пор отец стал курить сигареты вместо обычных для него папирос, хотя сигареты, которые ежедневно давал ему Гриб, (уже не отказываясь от денег, но беря без надбавки за услуги) были мне незнакомы, в нашем городке я никогда таких не видел.

Где-то в середине своего рассказа я неосмотрительно упомянул о каких-то подробностях, которые я, будто бы, узнал о Грибе от отца, а он от — сослуживцев. Все это, разумеется, так и было, но подробности эти ничего из себя не представляют, кроме того, что, по мнению сослуживцев, Гриб молчалив, даже не здоровается ни с кем (хотя это никого не трогало) и живет где-то на самой окраине городка — словом, не много больше того, что знал я сам, если не меньше.

Приблизительно недели за полторы до нашего отъезда я зашел в музей и ждал отца, сидя против Гриба в кресле в уборной. Я привык, в конце-концов, чувствовать себя в присутствии Гриба так же свободно, как, вероятно, чувствовал себя в моем присутствии он, (хотя теперь я не знаю, применительно ли было к нему тогда слово «свободно», и я сидел в полной уверенности, что он, в отличие от меня, не наблюдал за мной).

Я и наблюдал за ним, и чувствовал себя, одновременно, очень свободно, вплоть до того, причем, что мог закрыть глаза, если бы мне этого захотелось, и дремать или думать о хариусах.

В этот день, когда я так и сделал, а потом открыл глаза, я увидел, что он стоит передо мной и протягивает мне сигарету.

Не знаю, было ли это заметно по мне, но мне кажется, будто я покраснел тогда, как-то изнутри, хотя вовсе не от неловкости положения, а просто от усилия, которое чуть ли не скрутило меня: — так страшно вдруг мне захотелось курить, а я ведь решил не делать это тайком от отца.

Я улыбнулся и покачал головой, и, когда он пошел на свое место, мне показалось, что нечто вроде улыбки, хотя мало похожей и очень далекой, появилось на его лице. Впрочем, вполне возможно, что я ошибся.

Он сел на свое место, и — я думаю — он закурит, хотя он не курил. Это показалось мне вдруг таким естественным, что странность подобного, если бы это вообще случилось, была бы только в сознании.

Но он положил сигарету на бархатную пыльную скатерть под зеркалом, как-то неестественно выпрямился, положив руки себе на живот (чего я раньше никогда не замечал) и, странно и испуганно глядя мне в глаза, так встревожил меня, что я невольно поглядел вниз, на его руки

и вдруг увидел — не напугавшее меня, почему-то нет — но неожиданное: — у него был большой живот, очень большой живот.

Все, что мигом промчалось у меня в голове, было так комкано и перепутано, что я только позже сумел приблизительно восстановить то, о чем я тогда подумал.

Я подумал, что этого не может быть, не бывает, чтобы живота не было, не было, и вдруг — есть, и сразу — большой... Наверное, он был — вернее, рос — и раньше, и в другие дни, и рос потихонечку, миллиметр за миллиметром — и меня поразило, что всего какой-то лишний миллиметр заставил меня увидеть живот сегодня и не замечать его день назад, хотя он на взгляд был ничуть не меньше... Уже тогда, в те дни, до меня смутно дошла эта странность острия иголки, поразительно тонкой, невидимой иголки, этой точки,.. впрочем нет, то ли я говорю?.. Я смотрел, вглядывался в его живот, и, по мере того, как невидимая белая и тонкая кисея все уплотнялась у меня перед глазами, становясь зримой и мешая мне, с треском разрываясь и вновь сходясь, я, тем не менее, все отчетливей и отчетливей видел его живот,.. потом вдруг будто кто-то сдвинул меня сильно подмышками, клоня меня набок, набок, все больше и больше и все не доводя это движение до конца, но и не оставляя меня в покое...

Гриб упал со стула и лежал так, глядя на меня открытыми как створки, а не как глаза, глазами, и тяжело подымал и опускал дыханием свой живот. Потом рядом оказался отец; снова исчез; тут же появились люди; кто-то побежал за водой; Гриб делал какие-то странные движения ногами, и голос за мной произнес «как роженица»; эти слова почему-то остались у меня в голове и, многократно повторяясь от громкого к тихому, постепенно исчезли, как погибающее эхо; Гриб поднял руку и сказал — «нож»; это было единственное слово, которое я от него слышал.

Кто-то принес скальпель (хотя я только потом понял, что он не имел этого ввиду, и первое впечатление от соответствия просьбы и исполнения ее — потом исчезло); Гриб показал рукой, чтобы с него сняли китель, китель сняли, он сам приподнял до горла рубашку, открывая большой живот, и после, не глядя, очень спокойно и легко, как по маслу, провел скальпелем по животу от паха к груди.

Кисея рвалась и сходилась у меня перед глазами, живот раскрылся, как орех по створке, я не увидел ни крови... — ничего; Гриб погрузил руку в живот и достал оттуда что-то — сначала я не рассмотрел, что именно — и положил на пол рядом с собой.

Мне трудно описать точно, что это было; я видел перед собой сплошной, черный, желеобразный, с неровными краями кусок, величиной с большого кота, абсолютно темный, непрозрачный; вглядываясь в верхнюю его часть, я подумал, что сейчас что-нибудь произойдет со мной, это было... я не знаю как!.. — видеть траву, растущую на черном теле; я отвел глаза, но не в сторону — так я вообще не мог — а ниже, чтобы только не видеть травы, вгляделся в массу и вдруг увидел, что она слегка колышется и чуть прозрачна, совсем слегка, и не становится такой, а такой и была, и там, в глубине ее, я увидел белое — вероятно, белое, иначе

было бы просто не рассмотреть — тело, формой напоминающее обычный снаряд, только маленький, конечно, и, пожалуй, более удлиненный, с острым, вытянутым концом; я не отрываясь глядел на это острие, оно стало ближе ко мне, еще ближе, еще. . . и, даже теряя ощущение жизни рядом с собой, я слышал, как длинно и пронзительно я запищал. . .

Я очнулся, как потом сказал мне отец, через три часа, в больнице, долгое время никого не замечал, но потом вдруг совершенно неожиданно встал, ел нормально, и все было хорошо, и отец немедленно увез меня из этого городка, дня на четыре раньше намеченного срока.

Кажется, я попытался рассказать ему, что я видел, он положил мне руку на голову и сказал, зачем, не стоит, люди были, и он был, а остальное — я все сам, ерунда, все это позади, не надо об этом думать.

Позже я спрашивал его о Грибе, он сказал мне, что не знает, что пока мы еще не уехали, это было неясно, а потом. . . ну, в общем трудно что-либо знать точно.

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. А что касается того, куда мы переехали, и работы отца, и школы — это, я думаю, неважно.



---

Виктор Кривулин

**ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА АМЕРИКАНСКОЙ ГРАФИКИ  
В ЛЕНИНГРАДЕ (1968)**

от символической весны  
парижской или пражской  
мы хорошо защищены  
работающей пряжкой  
того матросского ремня,  
какой — свистя и воя —  
обрушивался на меня  
влекомого толпою  
куда-то. . . знает Бог куда —  
уже и не припомнишь:  
все будто вышибло тогда,  
когда я звал на помощь!

**ОТ ОЛЕГА ДО ИГОРЯ**

О, легка игра  
в Олега ли в Игоря  
и горе не мыкая  
даже голь немытая  
выгоряне —  
а туда же  
играют  
во дворян водворение:  
володей нами, княже  
сидай на коня же  
ну!  
а мы и пешком на войну

**ФОРТЕПЬЯННАЯ ТЕХНИКА**

Эти старые страхи всегда исполняли с листа  
сухо, в стиле Скарлатти, с мастерством пожелтелого Листа  
и скорлупы аккордов хрустят на зубах беллетриста:  
он позавтракал яйцами он воспаряет в места  
отведенные птичьим полярным базарам

Сколько шума вокруг! сколько перьев ложится на снег  
не умеющий таять но замороженный пожаром  
ледящего неба. Стоял девятнадцатый век  
весь октябрь и часть ноября  
на часах над могилой Шопена

Электричества треск, работающего пара шипенье —  
фортепьянная техника все это, скашиванье на царя  
из-под лавиной восторженной гривы  
лошадино-холуйских белков:

Только Царь и оценит зловещие эти разрывы  
между звуков людей облаков  
постановку руки, беглость пальцев, искусный удар —

и магической силой одарит  
наползающий север железный капкан государев

**МЕТАМПСИХОЗА**

Метампсихоза — это значит мне  
по меньшей мере выпадет родиться  
близ моря в маленькой воюющей стране  
чей герб лазорево-червлёный  
подобен допотопному зверинцу  
сплошные львы орланы и грифоны  
и черт-те что на небесах творится

у горизонта герб супердержавы  
как тени сизые смешались корабли  
на крабьих отмелях в ракушечной пыли  
сияло детство ярко, среди ржавой  
подбитой техники искали что взорвать  
куда прицелиться для смерти и для славы  
посмертной — чтобы где-нибудь опять

воскреснуть в государстве островном

**КИНЦВИСИ**

В горных монастырях  
Бог нелюдимый  
пастух  
олеография на алтаре  
вместо иконы

Тихо  
молитва звучащая вслух  
здесь неуместна  
свечку поставили —  
тотчас потух  
желтый огонь бестелесный

Вера сама  
не нуждаясь ни в ком  
из проходящих  
длится не явно —  
а как бы тайком

Каменный ящик  
после разрухи и катастроф  
стал наконец-то  
гулко-пустым средоточьем миров  
Храмом единственным сердца

Верно и строили  
с верой такой  
что невероятен  
дух разрушенья —  
небесный пробой  
над абсидой где стоит Богоматерь

**ПРОРОК**

снова Господи прости им  
слово черно волю злую  
за игру языковую  
с пушкинским Иезекиилем

с облака ли был он спущен  
среди зноем раскаленной  
обезвоженной холерной  
пустыни — скажи мне Пушкин

или из нутра какого  
из мечтательной утробы  
с идеалами Европы  
распрошавшись, до Каткова

докатился этот шелест  
всех шести семитских крылий...  
Перья взвились перья скрыли  
небо в трещинах и щелях

требующее ремонта  
вечно полное разрухи  
взбаламученные духи  
толпы их до горизонта

их под почвою кишень  
ими вспученные воды  
имена их? но кого ты  
звал когда-то — искушенья

названными быть не знают  
узнанными стать не жаждут  
и не то, что даже дважды —  
многожды в одну и ту же

реку медленно вступают

## ДВА ИНЦИДЕНТА

(Из истории русско-еврейских отношений в начале XX в.)

В начале XX в., по общему признанию, еврейский вопрос занял одно из центральных мест в общественной жизни России. В результате реформ 60-х гг. XIX в. и Гаскалы значительная часть еврейской интеллигенции стала, или стремилась стать, составной частью интеллигенции российской. При этом большинство ее представителей пыталось одновременно сохранить свое еврейство, отстаивая право своего народа на равноправие. Формирование русско-еврейской интеллигенции — процесс сложный, мучительный, в то же время проходил необыкновенно быстро. К началу XX в. русская журналистика, литература, наука и общественная жизнь вобрала в себя уже тысячи евреев: И. Гессен, Ю. Айхенвальд, А. Горнфельд, А. Вольтский, Н. Минский, Д. Айзман, Саша Черный, О. Дымов, М. Гершензон и многие другие. Миллионы евреев оставались в черте оседлости, но те несколько сот тысяч, что, вырвавшись из нее, расселились по российским городам, стали предпринимателями, врачами, адвокатами, инженерами, журналистами. Это были люди с совершенно новой еврейской ментальностью. Один из представителей этого поколения историк С. Гинзбург так определял сущность русско-еврейской интеллигенции: «Это люди, которые совместили еврейско-идеалистическое, еврейско-национальное меньшинство, объединившее в себе лучшие черты русской интеллигенции с верностью и преданностью еврейской культурной традиции».<sup>1</sup>

Кардинальные изменения экономических и социальных условий пореформенной России и вековой «урбанистический» опыт евреев привели к тому, что несмотря на все препоны, евреи заняли в российской жизни место, далеко выходящее за рамки отведенной им властью роли. Одновременно их активное внедрение во все сферы жизни страны, проходившее на фоне «ломки» основ национального бытования народов империи, во-

<sup>1</sup> Гинзбург С.М. О еврейско-русской интеллигенции // Еврейский мир: Ежегодник на 1939 год. Париж, 1939. — С. 36.

шло в противоречие с духовными, по сути во многом еще феодальными, традициями.

В первые десятилетия нового века еврейский вопрос активно использовался в политической борьбе. Отношение к этой проблеме превратилось чуть ли не в главный показатель прогрессивности, в меру оппозиционности правящему режиму. Для значительной части российской интеллигенции еврейский вопрос был буквально табуирован. Отдельные круги ее были охвачены филосемитизмом. В то же время немало ведущих деятелей русской культуры испытывали тревогу и не скрывали своего неприятия «еврейского наступления». В 1909 г. поэт, критик, мыслитель А. Белый так обобщил чувства многих своих единомышленников: «Вы посмотрите списки сотрудников газет и журналов России; кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите почти сплошь имена евреев . . . главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди; конечно не понимают они глубины народного духа, в его звуковом, красочном и словесном выражении. . .».<sup>2</sup> В своих мыслях А. Белый был далеко не одинок. Тем более, что ряд представителей нового поколения русско-еврейской интеллигенции «не страдало» излишним тактом. Отход от своей национальной культуры они стремились компенсировать активностью, если не сказать навязчивостью, в русской культуре. М. Гершензон, тонко ощущая деликатность проблемы, писал именно о таких не в меру ретивых деятелях: «Евреи, духовно отпавшие от еврейства, сияются полюбить то, чем живет современный культурный мир: его позитивистическую веру, его философию, науку, эстетику, демократизм в политике и социализм; они делают вид, что уже любят, по-настоящему любят и сами себя убеждают в этом. Но это — лишь приемыши, не плоть от плоти их духа. Пусто в сердце и слишком ясно в уме. За их шумной деятельностью в чужой среде, за их самоуверенной и часто самодовольной внешностью таится глухая тревога, их кипучая энергия — не из душевной полноты, а из душевного голода».<sup>3</sup>

Сближение и взаимопроникновение двух национальных культур — процесс сложный и болезненный, а в случае с русской и еврейской культурами, когда постоянно присутствовал при этом фактор политический, когда требовалось преодолевать вековые традиции отчуждения — это превратилось в череду мучительных конфликтов и подозрений. Они возникали даже в тех кругах, где антисемитизм считался признаком дурного тона и реакционности.

В 1909 г. русско-еврейская интеллигенция была взбудоражена т. н. «Чириковским инцидентом». Писатель и драматург Евгений Чириков пользовался тогда известностью в широких демократических кругах страны. В период погромов 1905–1907 гг. он яростно выступил против черносотенцев. Его пьеса «Евреи» имела шумный успех. И вот внезапно в 1909 г. в выходившей в Петербурге на языке идиш газете «Фрайд» появилась статья «Знаменательный факт», в которой Е. Чириков об-

<sup>2</sup>Белый А. Штемпелеванная культура // Весы. 1909. N 9. — С. 38.

<sup>3</sup>Гершензон М.О. Судьбы еврейского народа. — Пб.; Берлин, 1922. — С. 56.

винялся в антисемитизме. Статья тут же была переведена на русский язык и обвинение растиражировано рядом изданий различных направлений с соответствующими комментариями. Суть обвинений состояла в том, что во время проходившего на квартире артиста Н. Ходотова обсуждения пьесы Шолома Аша «Голубая кровь», произошло столкновение между Е. Чириковым и несколькими литераторами-евреями, среди которых наиболее активными оппонентами были А. Вольтский, О. Дымов и А. Шайкевич.<sup>4</sup> В ходе обсуждения пьесы Чириков высказал Ш. Ашу ряд замечаний, на что автор, поддержанный некоторыми присутствующими литераторами-евреями, заявил, что по его мнению для того, чтобы понять это произведение «нужно самому быть евреем или прожить с евреями 5 тысяч лет». В ответ Чириков вполне резонно заметил, что в таком случае и евреи в свою очередь неспособны понимать русскую литературу, так как «не чувствуют русский быт». Далее он подчеркнул, что «национальность и быт неразрывно связаны между собой и высказал сожаление о том, что в некоторой части еврейской интеллигенции вопрос о национальности превалирует над всеми другими».<sup>5</sup> Чириков добавил: «Если ему, русскому, торопятся прежде всего и громче всего заявлять, что „Мы евреи“, то мне позволительно ответить, что „Я — русский“». Спор приобрел несколько истерический характер. Позднее Чириков с недоумением писал в статье «Благодарю, не ожидал»: «Почему же было достаточно ему заявить, что он русский, чтобы его тут же сопричислили к антисемитам».<sup>6</sup> Конечно, суть спора была гораздо глубже, чем простое выяснение национальных приоритетов. Дело в том, что и А. Вольтский и А. Шайкевич в то время были яркими приверженцами модного тогда модернистского течения, в концепцию которого входил «отказ от быта как необходимого элемента творчества». В свою очередь Чириков был именно бытописателем и считал, что национальная сущность искусства проявляется только через тщательное, детальное описание быта. Однако в специфически наэлектризованной атмосфере эпохи подобный спор принял национальную окраску. Тиражированный прессой, он был классифицирован как «антисемитский выпад».<sup>7</sup> В 1914 году Леонид Андреев с болью вспоминал этот «Чириковский инцидент». Он называл писателя «благороднейшим и пламенным защитником гонимого племени». По его мнению обвинение в антисемитизме не имело и тени оснований, «и нужно было еще доказывать, что это — неправда. Какая тя-

<sup>4</sup> Точку зрения самого Е. Чирикова на этот инцидент см. в его мемуарах: Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества: Отрывки из воспоминаний / Вступ. статья, прим. и публ. А. В. Бобыря // Лица. Т. 3. — СПб., 1993. — С. 369–371.

<sup>5</sup> Наша газета. 1909. 8 (21) марта. N 56.

<sup>6</sup> Новая Русь. 1909. 4 (17) марта. Среди откликов на этот конфликт см. серию фельетонов В. Жаботинского «Чириковский инцидент» (В. Жаботинский. Фельетоны. СПб., 1913). В них, с помощью этого конфликта, В. Жаботинский иллюстрировал регулярно высказываемое им убеждение о неприятии и невозможности «мирного» сосуществования и тем более слияния двух культур.

<sup>7</sup> Статьи по этому вопросу были собраны в изданный в 1909 г. сборник: По вехам... Сб. ст. об интеллигенции и «национальном лице». М., 1909.

желая, какая со всех сторон позорная бессмыслица», — с горечью писал он.<sup>8</sup>

Несколько лет спустя произошло еще одно событие, внесшее немалое смятение в, так сказать, «прогрессивные» круги российской общественности — конфликт между С. Познером и Н. Бердяевым. Новый инцидент, имевший также «национальное» звучание, разразился в период Первой мировой войны.

Выпускник юридического факультета Петербургского университета, С. Познер, уже в начале века стал активно участвовать в еврейском общественном движении.<sup>9</sup> В 1908–1914 гг. он возглавлял в Петербурге издательство «Разум». Основной продукцией этого издательства была еврейская книга на русском языке. Когда в конце 1914 — начале 1915 г. группа представителей русской интеллигенции, возмущенная новой, инициированной властями антисемитской кампанией, приступила к созданию «Общества изучения еврейской жизни», то С. Познер стал его секретарем. Во главе общества оказались люди, далекие друг от друга по своим не только общественным, но и творческим пристрастиям. Но на первых порах, казалось, это не мешало «отцам-основателям»: М. Горькому, Л. Андрееву и Ф. Сологубу. Главным делом этого объединения стало издание сборника «Щит». В нем под одной обложкой были собраны произведения многих ведущих общественных деятелей страны, публицистов, писателей, поэтов, ученых, направленные против антисемитизма. В сборнике участвовали З. Гиппиус, Дм. Мережковский, П. Милюков, С. Булгаков, И. Бунин, П. Струве, Н. Морозов, К. Арсеньев, В. Короленко, А. Веселовский и многие другие. С самого начала деятельность этого общества вызывала неоднозначную реакцию. Ряду известных философов, литераторов и политиков претил открыто юдофильский характер его работы. Так, С. Булгаков, принявший в конце концов участие в сборнике «Щит», был полон сомнений и сообщил одному из своих корреспондентов: «В Петрограде замышляется сборник по еврейскому вопросу, я уклонился от статьи в нем, потому что при данном составе... суждение по существу (а только так и можно писать о нем) невозможно и кроме того, крайне несвоевременно, между тем как еврейские издатели находят как раз наоборот. Мне, при антимоническом моем отношении к еврейству: крайнем филоиудаизме и крайнем антижидовстве выступать в этом обрамлении до последней степени трудно».<sup>10</sup>

Собирание и подготовка к печати любого коллективного труда — предприятие сложное. В данном же случае все осложнялось еще и тем, что во главе дела стояли люди творческие и неоднозначные по своим общественным, философским и эстетическим устремлениям. Каждый из соредакторов сборника — Л. Андреев, М. Горький и Ф. Сологуб — стремились привлечь к участию в «Щите» людей, близких им по духу и умонастроению. В начале 1915 г. Ф. Сологуб предложил опубликовать

<sup>8</sup> Андреев Л. Первая ступень. — Одесса, 1914. — С. 10.

<sup>9</sup> Кельнер В. Александр Браудо и борьба с антисимизмом в России в конце XIX — нач. XX в. // Вестник Еврейского университета в Москве. 1993. N 2. — С. 68.

<sup>10</sup> С. Булгаков — В. Хорошко // Новый мир. 1989. — N 10. — С. 241.



в «Шите» свою работу известному философу Н. Бердяеву. Тот тут же откликнулся на это: «Я охотно приму участие в проектируемом сборнике, — писал он в ответ. — Я собирался писать о еврейском вопросе. Статья моя будет о религиозном значении еврейства. . .».<sup>11</sup>

Ближе к лету, когда Л. Андреев, М. Горький и Ф. Сологуб отправились на лечение и отдых, вся работа по окончательной подготовке сборника к печати легла на плечи С. Познера. Ему пришлось вести переписку с авторами, редактировать часть статей, учитывая требования цензуры, наблюдать за всем издательским процессом. В пределах его досягаемости был только один из соредакторов — М. Горький, отдохнувший летом 1915 г. в Финляндии. С. Познер регулярно возил к нему на просмотр подготовленные материалы. Сборник печатался в Москве. Это было сделано по цензурным соображениям. В конце августа Познер сообщал Сологубу: «Наш сборник готов и на днях уже выйдет в свет. Получилась большая книга в 13 печатных листов. Назначили мы цену в один рубль, чтобы сделать ее доступной среднему читателю. Печатали 5 тыс. экз., но делали матрицы. Если хорошо пойдет, пустим второе издание. Чистый сбор с издания жертвуем в пользу Общества вспомоществования беднейшему еврейскому населению, пострадавшему от военных действий. . .».<sup>12</sup>

Сразу же по выходе в свет первого издания «Шита» разразился скандал, отразившийся не только на деятельности общества, но и на общественной атмосфере в целом. В сборнике не оказалось статьи Н. Бердяева. Философ обратился за разъяснениями к Ф. Сологубу, как к лицу, пригласившему его. Он писал: «Согласитесь, Федор Кузьмич, что образ действия редакции сборника относительно меня очень странный и недопустимый. Не могу придумать никакого объяснения, которое оправдало бы такое отношение ко мне и моей статье». И далее Бердяев добавлял: «За всю мою литературную деятельность ничего подобного со мной не было».<sup>13</sup> Ф. Сологуб, в свою очередь, потребовал объяснений у С. Познера. Ответ последнего был несколько туманным. Он не нашел ничего лучшего, как сослаться на опоздание с поступлением рукописи от Бердяева. Но тут же писал и о том, что не мог взять на себя ответственность за публикацию данной статьи без ее просмотра лично Сологубом, которого все лето не было в Петрограде, а встреча с Бердяевым в Москве также не состоялась.<sup>14</sup> И только позднее, когда дело приняло уже совершенно скандальный характер, Познер, в специальной «Записке» по этому поводу дал следующее объяснение, в большой степени проливающее свет на причины инцидента. Он писал: «Корректуря статьи Н. Бердяева получилась в начале июня, я прочел ее и нашел, что она не подходит для сборника ни по своему содержанию, ни по манере изложения, мало доступимой для массового читателя, для коего предназначался сборник. В ближайший приезд М. Горького в город я показал ему статью, и он признал, что помещать ее в сборник нельзя. . . Таким образом, после беседы с

<sup>11</sup> ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 63. Л. 4.

<sup>12</sup> Там же. Л. 4.

<sup>13</sup> Там же. Л. 13–14.

<sup>14</sup> ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Ед. хр. 2018. Л. 7–8.

М. Горьким, я считал вопрос о невключении статьи Н. Бердяева в сборник решенным».<sup>15</sup> Раскрытие роли М. Горького в отклонении статьи Н. Бердяева было «вырвано» у С. Познера, так как конфликт стал предметом громкого общественного обсуждения. Более того, в виде анекдота по салонам Петербурга и Москвы стало ходить высказывание Н. Бердяева «Не еврею Познеру редактировать русского писателя». В философских кругах это было воспринято с возмущением и недоверием, в противоположном лагере — со злорадством. К тому времени Н. Бердяев был известен как последовательный противник антисемитизма и столь нетипичное для него высказывание многими расценивалось как злонамеренный анекдот. Имеющиеся в моем распоряжении документы показывают, что, во-первых, анекдот исходил непосредственно от Ф. Сологуба, а во-вторых, слова философа были вырваны из контекста. Таким образом, конфликт межличностный был переведен в плоскость межнациональную. В своем частном письме Ф. Сологубу в октябре 1915 г. Н. Бердяев так характеризовал суть его конфликта с С. Познером: «Этого принципиально возмутительного случая я не предаю гласности только потому, что это может произвести впечатление „еврейского засилья“ и повредить делу улучшения положения евреев в России, которого я горячо желаю. Но я считаю совершенно недопустимым, что еврей Познер цензурирует русского писателя, которому предложено высказать независимое мнение по еврейскому вопросу, и требует от русского писателя определенной идеологии филосемитизма. Я хочу служить правде и справедливости, а не специально евреям. Статья моя представляет горячую практическую защиту еврейства и полна негодования против проявления расового, политического и бытового антисемитизма. Я не филосемит по своему религиозному сознанию и по своим культурным идеалам, но, казалось бы, что особенно ценно, когда не филосемит практически защищает еврейство и восстает против антисемитизма. Исключение моей статьи было бы оправдано, если бы я проповедовал практический антисемитизм в политике, морали и в быту. Но я проповедовал как раз обратное».<sup>16</sup>

Как видно из текста письма, Ф. Сологуб использовал из него лишь фразу о «еврее Познере». Думается, что главную роль в этом деле сыграла известная неприязнь Сологуба к Горькому, который, как это и было ясно с самого начала, стоял за решением — отклонить статью Бердяева. В отличие от Бердяева, Ф. Сологуб решил максимально усилить эффект от этого скандала. Тем более, что дело вышло за пределы узкого круга членов «Общества изучения еврейской жизни» и получило освещение в печати.<sup>17</sup> Ф.К. Сологуб подал в третейский суд на С.В. Познера и вышел из руководства обществом. Все происшедшее парализовало деятельность общества на несколько месяцев. Было проведено всего одно заседание третейского суда. В ходе него М. Горький и Ф. Сологуб обменялись чрезвычайно резкими выпадами. Горький прекрасно понял, что

<sup>15</sup> Там же. Л. 9.

<sup>16</sup> ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 63. Л. 16.

<sup>17</sup> День. 1916. 18 апр. N 105; Биржевые ведомости. 1916. 18 апр. N 105.

подлинным обвиняемым был он, а не Познер.<sup>18</sup> Л. Андреев болезненно воспринявший это событие, сообщил брату: «Члены суда сочли за благо разбегаться, не закончив разбирательства».<sup>19</sup> В итоге полемика зашла так далеко, что сторонники М. Горького публично обвинили Сологуба в «измене принципам». Л. Андреев писал отказавшемуся посещать заседания Общества Сологубу: «В большую вину ставилось Вам участие в „Лукоморье“, находили, что несовместимо быть членом Комитета в Обществе, защищающем евреев, и в то же время работать в „Суворинском органе...“».<sup>20</sup>

Все это происходило в 1915–1916 гг., в период, когда евреям в России особенно требовалась моральная поддержка передовой части русского общества.

«Чириковский» и «бердяевский» инциденты являются яркой иллюстрацией психологического климата, в котором находилась русско-еврейская интеллигенция той поры. В той самой, не вошедшей в сборник «Щит», статье «Религиозная судьба еврейства» Н. Бердяев писал: «Антисемитизм и угнетение евреев есть такое же бессилие, как и готовность подчинить русское нравственное и культурное сознание еврейскому нравственному и культурному сознанию. Еврейский народ имеет свою миссию, отличную от миссии русского народа».<sup>21</sup>

Подавляющее большинство русского общества в начале XX в. не было готово ни нравственно, ни психологически к единению с нарождающейся русско-еврейской интеллигенцией. Одним из решающих факторов, негативно влиявших на взаимоотношения двух народов, стало несовпадение темпов активного внедрения русско-еврейской интеллигенции в культурное пространство России с возможностями психологической адаптации этого процесса интеллигенцией российской.

---

<sup>18</sup> Архив А.М. Горького. Т. 9. — С. 180.

<sup>19</sup> Литературное наследство. — Т. 72. — С. 554.

<sup>20</sup> Там же. С. 553.

<sup>21</sup> Бердяев Н.А. Религиозная судьба еврейства // Христианская мысль. Киев, 1916. — № 4. — С. 37.

---

---

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

## ЦВЕТОК ПАЛЕСТИНЫ

*Посвящается Норме Беркович*

Вчера вот — тепло, а к утру — подморозило; черные деревья в саду стояли словно в озере голубой ртути, и среди них бежала светлая дорожка от восходящего весеннего солнца.

Сгустки прошедшего времени движутся аритмично, толчками: оказалась эта картина воспоминанием месячной давности, всплывшим во сне; наяву, за стеклом, деревья уже распустились и ветер гонял по асфальту столбики пыли. Работалось легко, хорошо, и только к полудню он осознал, на минутку отвлекшись: сегодня — его день рождения.

Да, как-то так, ни шатко, ни валко, подстучал и полтинничек. Михаил отнесся к этому событию философски: Каждому овощу — свои сроки. У каждого возраста — свои кайфы. Главное, к осени запастись кальсонами потеплее.

Таким образом разрешив проблему своего долголетия и оторвавшись от вороха неизбежных бумаг, он услышал телефонный звонок.

Не сниму! — решил он. — Оторвут от дела, и, возможно, надолго. Кто-то спешит отметить мой юбилей.

Однако в каждом телефонном звонке, в самом звуке телефонного пере звона таится некая информация о грядущем содержании разговора. Требователен и грубоват звон служебный. Переливчат и пустозвонен вызов неблизкого, но болтливого не по делу знаконца. Чувственен и опасен звонок покидаемой тобою подружки.

В звучаньи сейчасошнего почудился Михаилу Александровичу какой-то пряный экзотический оттенок, который его заинтересовал.

«Надобно подойти!» — решил он. Но пока он спешил в соседнюю комнату, роняя на ходу домашние тапки, он услышал сшибленную на взлете музыкальную фразу отбоя.

— А, чтоб вас всех! — сказал он в сердцах. Его торопила заказная работа, и любая помеха казалась ему личным выпадом.

Он возвратился к письменному столу, сосредоточился над статьей и продолжал:

«Петербургский период русской истории давно уже закончился; с возвращением городу его имени открылся петербургский период истории собственно петербургской...»

Погрузившись в работу и отбарабанив странички три на машинке, он не сразу услышал тот давешний, заманчивый и непохожий звонок. К телефону он поспел вовремя.

— Алло! — проговорила молодка. — Михаила Александровича позовите.

От тотчас же понял, что его вызывает нерусский человек, и не составило труда догадаться, — от кого.

— Михаил Александрович слушает! — отвечал он, инстинктивно выстилая свой голос вальжным бархатом.

— Меня попросил вам звонить Ури Кохен. Передать письмо и пакет. Вы свободны?

— Свобода — понятие относительное! — не смог не состричь Михаил Александрович, про себя потешаясь — Юрка таки изломал свое имя! Ури теперь, надо же!

Девушка проигнорировала сигнал интеллектуального кокетства, посланный Михаилом Александровичем.

— Вы имеете полчаса? — спросила она. — Послезавтра я уезжаю.

— Разумеется, я готов с вами встретиться! Когда вам удобнее?

— Вам возможно прийти во дворец Сабанеевых-Быстрых? — спросила она. — Я привезла в Петербург выставку художественных букетов. На втором этаже, в Малом зале...

— Пятнадцать минут пешим ходом... Мы с Сабанеевыми соседи, можно сказать...

— Тогда — жду вас через двадцать минут. Меня зовут Номи. Там спросите.

«Так, — решил Михаил, — заодно загляну в журнал „Сызрани“. Может быть, авансом побалуют...»

Закопченное великолепие дворца Сабанеевых было ему отчасти знакомо. В молодости он поработал здесь младшим копировальщиком. Тогда во дворце размещался газосварочный институт, с немалым скандалом выбитый отсюда городской общественностью.

Пройдя мимо пасторальных лужков, украшавших стены и расстрелянных из упорного пистолета, забивавшего ригели для партийных, профсоюзных, комсомольских, противопожарных, дружинных, политбюровских, доскопечных и прочих стендов (впечатление было такое, что некто полил пастушков и пастушек веером из калашникова), он вошел в огромный директорский кабинет — помещение, отделанное дубовыми резными панелями и более всего сохранившееся.

Казенная мебель была отсюда увезена, за исключением большого чугунного сейфа, на котором стояло ведро, набитое необычными для взгляда цветами. На корточках, распаковывая какие-то ящики, копошились двое чернявых юношей, над которыми склонилась юная золотоволосая

девушка в темно-синем костюме: клубный пиджак с серебряными пуговицами и прямая строгая юбка.

— Здравствуйте, — сказал он негромко, — вы — Номи?

Увлеченная делом, она не расслышала, но, последовав за взглядом поднявшего голову юноши, изуродованного огромною «заячьей губою», она увидела Михаила Александровича.

— Шалом! — сказала она. — Ма шломха?

На него смотрела ожившая Нефертити, с лицом из точеного, мягко тонированного загаром алебастра, произведившим такое впечатление, будто над его выделкой поработал, рассеянно и бездумно насвистывая, подлинный гений резца и творящей мысли. Михаил Александрович растерялся.

— Извините великодушно, — сказал он, автоматически подбирая самые чистые по звучанию и мягкие на ощупь слова, — позвольте признать, что я не владею...

— Вы — Михаил? — перебила она.

— Михаил, — он ответил. И замолчал.

Она подняла с полу черный поношенный рюкзачок, порылась в нем тонкими пальчиками, достала письмо и пакет. Он убрал их в свою наплечную сумку.

— Как там Юра? Живет хорошо?

— Юра? Кто это? Да-да, это — Ури... Ну, как сказать... Ведет он себя с достоинством. Ни у кого ничего не требует. Работает на заправочной станции. Послезавтра идет на военные сборы...

— А как дети, жена?

— Старший — учится, конечно, по вечерам. Малая — ходит в садик. А жена моет посуду у Гиви...

— Гиви? Простите, но я не в курсе...

— Ах да, а вам неизвестно... Гиви — хозяин кафе в Абшалом Хавив. Шашлыки-машлыки! — сказала она, состроив зверскую гримаску и ткнув пальцем в пространство, как будто что-то нанизывая на вертел, а потом очаровательно улыбнувшись.

— Гиви — хороший человек, справедливый. Он в Газе получил пулю в ногу, хромает, и ему одному не справиться... А Галина ему помогает...

Парень с «заячьей губой» в непонятном Михаилу Александровичу раздражении дернул за крышку ящика, так что она с треском отлетела и воткнулась гвоздями в затертый до матовой вялости наборный паркет.

— Бизгирут, типеш! — бросила девушка.

Парень ничего не ответил, но покраснел так сильно, что цвет его лица сравнялся с отвисшей почти что до подбородка верхней губой.

Повинуясь какому-то безотчетному влечению, Михаил, обогнув упавшую крышку, подошел к высокому окну, повернул медную рукоятку запора и дернул его на себя, обдав всех присутствующих застоявшейся пылью и клочьями бумаги и ваты. В залу пахнуло петербургским прохладным ветром, напоенным запахом росшего под окном куста с белыми восковыми цветами, которые в России почему-то зовут жасмином.

— Не надо! — всплеснула руками Номи. — Они ведь простудятся и завянутся!

«Глазами испуганной финикийской газели», как сказал бы Исаак Бабель, она глядела на свои droгнувшие от прохлады цветы.

«Да, Бабель, Бабель, смотря какая бабэль», — с терпким каким-то чувством подумал про себя Михаил Александрович и бросился затворять наведшее переполоху окно.

— Покорнейше прошу извинить, — второй раз за какие-то пять минут извинился он. — Я думал, что так будет лучше... Ну, я пойду.

Номи подошла к чугунному сейфу, достала из оцинкованного ведра ярко-алый, на длинной ножке цветок и протянула Михаилу Александровичу.

— Это — для вас, — сказала она, — и посмотрела в его зрачки каким-то далеким, как остывающие к ночи пески, совсем непонятым взглядом.

— Приходите назавтра. В одиннадцать часов — открываем.

— Не премину, — ответил Михаил. Всего доброго.

.....

В редакции ежеквартальника «Сызрани» царил извечный бардак. Пепельницы, заваленные не выносимыми с неделю окурками, корзина для бумаг, переполненная настолько, что из нее ползла черная бахрама машинописной ленты, усеянная почему-то лузгой нащелканных каким-то сотрудником или посетителем семечек.

За столиком сидела машинистка Ламара — бойкая красивая полугрузинка, столь отлично «прикинутая» и, как он знал, «деловая», что совершенно непонятно было, какого рожна она торчит здесь, в этой до желтизны прокуренной комнате, по восемь, а то и по десять часов за сутки.

— А, Миша, привет! — помахала она длиннопалой сильною кистью, оторвавшись от перепечатывания какого-то текста. — А Деятель еще не пришел. Но ты подожди — он звонил, чтоб его подождали. Смотрите, какой у тебя фирмовый цветок. Просто прелесть! Случайно, не мне?

— Голубушка! Не тебе. С меня — букет роз. А этот — мне самому подарили. Не обессудь.

— Небось, какая-нибудь фанатка? Ничего удивительного. Тобою тут, кстати, Зинка интересовалась. «Что это за хмырь, — говорит, — с собой шевелюрой?» Я ей: «Так это же — уважаемый Михаил Александрович, крутой культурологический мен! Ты же с ним и двух слов не свяжешь — опысаешься!» А она: «Это с какой еще стороны поглядеть! Если снизу...»

— Польщен, безумно польщен! — ответил Михаил Александрович, утирая вспотевший лоб. — Но знаешь, Ламара, боюсь — она не по мне. Тут нужен, я думаю, солдат срочной службы, да еще бы не из плюгавеньких... Зизи — дева плотная...

— Так ей и передам! — сказала Ламара, посмеиваясь.

— Боже тебя упаси! В каком свете ты меня выставишь?

Оба слегка посмеялись, и Ламара по новой затрещала на своей разбитой машинке.

«Посижу еще минут пять, — подумал Михаил Александрович, — а там и пойду, ждать — невместно».

Но ждать ему не пришлось. В комнату, зыркнув умными живыми глазами, запрятанными за прозрачные перегородки очков, вошел Деятель — Василий Филиппович Колобцов, редактор журнала.

— А, Михаил Александрович, здравствуйте! — поприветствовал он, улыбаясь несколько деланною улыбкой. — Это хорошо, что вы заскочили. Мне как раз хотелось с вами поговорить.

— Отчего же бы нет, — ответил ему Михаил, присаживаясь на краешек стула у заваленного бумагами редакторского стола. — Особенно если речь пойдет об авансе.

— Боюсь, что с авансом придется повременить.

На широком лбу Василия Филипповича собрались тяжелые складки. Он согнал тонкогубую улыбку с лица и продолжал:

— Понимаете, у меня, честно говоря, вызывает некоторое недоумение ваша последняя статья. Особенно вот этот пассаж, гм, гм... да! «Петербургский период русской истории...» ну, и так далее. Я понимаю, если б с подобной безапелляционностью рассуждал проевший на истории зубы специалист. Но ведь вы же, насколько я понимаю, таковым не являетесь? Кстати, что вы кончали?

— Русское отделение филфака. Да и то — лет двадцать назад.

— Русское?

Колобцов снова заулыбался своею бледной улыбкой.

— Русское, вы говорите? А я, читая вашу статью, подумал, что — эсперанто. Как-то, знаете, безлюбо все то, что вы написали, нейтрально, хоть и не без апломба... Как говорится, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан...

— Не хватает душевности? — спросил Михаил Александрович, позвончиком ощутивший, к чему тут клонят, и нанося невинный на вид контрудар.

Деятель моментально задергался, заерзал на своем венском стуле.

— Почему же вы, Миша, против душевности? Весьма и родное, и кровное, праматерне теплое чувство... Я бы его так зазря не отринул. Если, конечно, обходиться без фобий различных...

— Ну, да. Например, ксенофобии, Вася. Да что уж тут спорить. Ковчег ваш меняет курс? Догоняет флотилию, так?

— Вам известно, Михаил Александрович, что журнал «Сызрани» всегда был направления консервативного. Сотрудничая с нами до сего дня, об этом не зная вы не можете.

— Что верно, то верно. Да разные бывают оттенки. Ну, ладно, давайте статью, я — в «Северный порт». Давно зазывают.

— «Северный порт»? Помилуйте! Да ваш ли это уровень? Подумайте, Михаил Александрович!



— А ничего, мы планку поднимем. Маруську туда перетащим, да Игорька. Новый курс потребует и новых сотрудников, я полагаю... Всего наилучшего.

— Не горюй! — подмигнула ему Ламара. И Михаил Александрович ушел, сжимая в руке, как дурак, пачечку машинописных листов, из которых торчала, покачиваясь на стебле, яркая головка цветка. Только на лестнице он догадался снять с плеча сумку и сунуть туда статью. Письмо и пакет от Юрия ждали его внимания.

«Черт меня дернул насчет аванса полезть! — с болью и гневом, с огромной обидой на себя самого чертыхнулся Михаил Александрович. — Да, вот такой разговор, интеллигентный и недвусмысленный... Куда же все катится?»

Преподаваясь с самим собою, искренне огорченный, он добрал до бульвара на Малой Конюшенной, который поманил его зеленой прохладой. Присел на скамейку, достал из сумки письмо, мельком глянул на загорающего напротив него пьяного оборванца, большим и указательным пальцами оторвал край конверта и углубился в чтение.

«Итак, дорогой, — писал Юрка, — теперь я внимательно рассмотрел уважаемых тобою хасидов. Та прав — и действительно, какое прекрасное лицо попадает среди восемнадцати насупленных, тупых и дебильных! Правда случаются и эксцессы. Недавно они чуть не до смерти отбуцкали журналиста, который два года назад написал довольно нейтральную статью об их духовном руководителе. Так что, мой дорогой, Мартин Бубер — это еще далеко не исчерпывающий источник.

Недавно починял электричество на своей черепичной крыше. Со всего квартала сбежались детишки — посмотреть на интересное зрелище.

— Илья-пророк, Илья-пророк! — кричали они.

А с крыши — видать далеко. Неглубокую балку с арабским минаретом, откуда через динамик во всю мочь надрывается муэдзин, построенную крестonosцами башню, синие далекие горы... И много чего еще, во что не поверишь, не увидев собственными глазами...»

Дочитав письмо, Михаил Александрович осознал, что его глаза увлажнились.

«Старю! — подумал он. — Ишь, расчувствовался! Да, полтинник — возраст немалый... К вечеру — надерусь!»

Понурился, он брел домой, инстинктивно держась поближе к поребрику — с карнизов в последние годы неожиданно сыпалась штукатурка, и уже были случаи, что кого-то зашибало.

Через день он встретился с Номи в Михайловском — передать свои письмо и пакет.

Озеро в саду зацвело; какие-то праздные люди пытались ловить на удочку карасей.

— Как Ури, машину еще не купил? — спросил он со скрытой иронией.

Она не услышала иронической интонации в его голосе и нахмурилась.

— Какую вы марку предпочитаете? — спросила она.

— Я бы взял «вольву» последней модели, — продолжал пошучивать Михаил.

— Знаете, как, — сказала она, — что я же вас осуждаю.

Акцент ее от волнения усилился. Она поправила упавший на лицо рыжий локон тонкой рукою, запястье которой было перепачкано соком какого-то экзотического растения.

— Мой папа — как Маугли в Буковине — скрывался от пули и грыз корешки! Ему было четырнадцать лет! А после — он воевал и вырастил деревья в песке! А вы — как не стыдно, такой ерундой интересуетесь! Поглядите на себя — на что вы похожи, странный человек! Чего вы ожидаете здесь, на чужбине? Золотое «вольво»?

— Для меня Петербург — не чужбина. Смею заверить, что петербургский период русской истории...

— Мне вас жаль! — сказала она. — Прощайте.

Молча забрав пакет и письмо для Юрия, она пошла прочь по аллее сада.

Ему вдруг стало так больно, такая глубокая безнадега всклубилась в его душе...

«Господи, Иисусе Христе, спаси и помилуй! — воскликнул он про себя. — Шма, Исроэль!»

Он смотрел, как она удаляется, — стройная фигурка мелькала среди кистей набрякшей и сильно пахнувшей близко к дождю сирени — тонкая, умилительно легкокостная — почти что подросток в своем клубном или школьном костюме. Невыносимо, со страстию, близкою к рыданию, ему захотелось догнать ее, схватить ее узкую детскую ладошку, перепачканную соком какого-то экзотического растения, удержать, что-то ей объяснить... Он не стал.

Пришедши домой, он долго разглядывал увядший цветок, а потом сунул его в альбом, чтобы засушить его среди теней ушедших родителей, далеких, далеких детей. В кабинет заглянула жена и с обычной своею грубоватой сердечностью бросила: «Ну, что, старый хрен, не пора ли обедать?»

— Попозже, Варюша, — отвечал он спокойно. — Надо кой-что обмозговать...

Она хотела о чем-то спросить его, но передумала, промолчала. А он сидел за своим рабочим столом, бессознательно слушая, как первые тяжелые капли приминают к асфальту попону пыли, захлопнув альбом, не замечая его, пресполненный — сожаления? счастья? горечи?

Главным, пожалуй, было ощущение тотального одиночества — предельного, как на смертном одре.

---

---

Владимир Ханан

**ПРОЩАНИЕ С ПРИВАЛТИКОЙ**

1

По бессоннице сух прибалтийский лесок,  
Ель гуляет при ели, как локоть подростка.  
Почему это волосы наискосок? —  
Поломалась, как видно, прическа.

Так и высушит, чтобы потом лёденел  
На морозном ветру в преарктической фортке:  
Дескать, вам лёденеть — только лучше звенеть...  
Приготовит на вид даровитую снедь,  
Приглядит мухомор на пригорке.  
Что, далекий? Что, милая, нежная вся?  
Оглянись: я опомнился, я погибаю —  
Не домком, не ладком колыбельку тряся  
Ненаглядного баюшки-баю.

Нелегко, но просторно. Любимая спит.  
Просыпается, дышит несмело...  
— Не люблю, говоришь?  
Не люблю — говорит.  
Не люблю — говорит... Отболело.

2

Касталийский юнец деловитый, пророк, иждивенец...  
Молоко на губах, на висках не обыграна соль...  
Что-то день прочирикал, что-то день промелькнул  
без мученьиц.  
с неба сыплется манна — и в рост посылает фасоль.

Не о небе сейчас говорю, что сгорает для леса  
В черных кущах и капищах между холмов...  
Им бы впору дуэтом сыграть, но уже расступилась завеса:  
Черепичная видимость, краснокоричневый мох.

Я об Анне кирпичной свое отыграл на свирели  
Позапозавчерашней — и высвистал все и отпел.  
Я забыл и не помню, зачем эти листья шумели, —  
да и кто из живых понапрасну в душе не шумел?

Даль заплатит за даль, значит, время заплатит за время.  
Отпущающий с миром измену оплатит собой.  
Для кого обживается эта страна междуземья,  
Этот страшный простор голубой?

Тянет сердце и мозг зарева небесная сила.  
ни о чем расспроси, и к чему-нибудь там приневоли!  
Что брала — то взяла! И — задумавшись — не возвратила...  
И судьба повернулась: не доля уже,  
а юдоль.

\* \* \*

Ах, Угличский лагерь пионерский!  
По вшивости суровой косы стригли,  
И оловянную волну катила волга  
Над головой младенца Одиссея.  
Играли в игры — воровали знамя...  
Я не пойму, что делается с нами?  
Кто нищенкой щелястого забора  
Крадется вдоль — по луковку в тени,  
Какой-то пересыпана перловкой...  
Где Эверест на самодельных лыжах?  
Подушечки продмага заводского!  
Друг трижды падал с лестницы — и выжил,  
Потом разбился... Где найду такого!  
Еще цыган сплавляли вниз на баржах,  
И по лесам казаковали зайцы...  
... Ах, Ларка-одноклассница! какая  
По счету вечность между нами отпылила?  
Где долю мыкаешь? — Судьба у нас благая.  
Но детство было истинно счастливо.

## ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

«мы здесь собрались кругом тесным...»

*А. Кушнер*

Пekli, печатали, читали  
С таким презрением к детали  
И в частности и вообще,  
Что не сказать — и вправду ль было?..  
Но очевидно: связь остыла,  
Как горка пепла на плече.

Но то, чего судьба боялась —  
Та встреча все же состоялась,  
А время рвалось, время мялось —  
Конверт особого письма —  
Не из Особого отдела,  
А просто в уши нагаддела  
Дальневосточная зима.

Чего ты ждешь? Зачем ты дышишь?  
О чем молчишь? Кого опишешь?  
Всего-то дела: дым, вокзал,  
Струна скрипичная из зала...  
И что она не досказала,  
Он несомненно досказал.

Но что же я — в мой-то лета? —  
С примеркой к дулу пистолета,  
Тоске, сумбуру и дуде...  
Гляжу на город с парашета —  
Не нахожу его нигде.

Не то судьба, не то цыганка.  
Глухое бешенство подранка,  
Не пули свищут — имена!

Быть может, темновата рамка, —  
Но высветляется страна.

---

---

*Борис Рохлин*

## УДАЧНЫЕ ПОМИНКИ

Тетя Рая сказала:

«Нужны поминки. Должно быть много людей. Очень много. Родственники и близкие. Это само собой. Но дело не в том. Покойнику все близкие, у него нет дальних. Пусть придут все, не надо приглашать. Кто знает, придет обязательно.»

Семейный совет, собравшийся в бывшей общепитовской столовой, ныне приватизированной и служившей одновременно кафе, рестораном, местом свиданий и игорным домом для всего района, был против.

Если попробовать сосредоточиться, выбросить из головы всегдашний привычный сор, встанет вопрос или по меньшей мере возникнет сомнение, начнет свербить печень мозга, почему столь частное семейное дело приходилось решать в столь официальном и отчасти даже непотребном месте.

Ответ прост. Все были очень заняты. Каждый разным. У всех были дела, обычные, текущие и прочие. В общем, надо признаться, скорбь, имевшаяся, несомненно, в наличии, не выражалась обычным поверхностным способом, давно уже не вызывавшим ни у кого доверия.

Никто не посыпал голову пеплом, не рвал на себе гардероб, не царапал лицо соседа, родственника или случайного прохожего, не говоря о своем собственном.

После совершенно непредвиденного, никем не предсказанного события все завертелись еще быстрее и круче, словно решили вскоре отправиться туда же и не хотели терять время.

Одна только тетя Рая занималась тем, что было непосредственно связано с похоронами, а теперь вот и с поминками.

Нет, никто не возражал, все даже хотели немножко отвлечься, но зачем так громко, зачем столько шума?

Дело было не в национальных или религиозных тонкостях. Да никто в них и не разбирался. Все эти подробности сильно повеветрились за годы сборки светлого будущего.

Дело было в простой вещи, в деньгах. И даже не столько в них самих, сколько в том новом качестве, которое раньше за ними не замечалось. Оно — это качество — проявилось сравнительно недавно и вскоре стало триумфально и, можно сказать, злокачественно разрастаться.

Деньги по какой-то неведомой и загадочной причине стали терять в весе. Их способность выполнять свои функции начала сводиться если не к нулю, то к многоточью. . .

Параллельно же протекал обратный процесс, — и это было особенно огорчительно, — заключавшийся в том, что известная всем поллитровка потяжелела столь драматическим образом, что стало казаться, будто она вобрала в себя всю тяжесть земного притяжения.

Для всего клана почившего Шмельки, — разумеется, кроме тети Раи, — это была проблема чрезвычайная, можно без преувеличения сказать — проблема выживания.

Доступ к недавно еще общенародному средству забвения и тропе к взаимопониманию и дефициту становился все более тернистым и нервным.

А проводы в столь дальнюю дорогу требовали нестандартных объемов данного продукта, ибо то, что предстояло Шмельке, было сомнительно во всех отношениях. И известная легкость сердца в подобном случае не была бы излишней.

Время было смутное, точнее, переходное, а точнее, потекшее вспять из бывшего царства свободы в царство необходимости.

«Мать его, и то, и другое», — как выразился однажды дядя Миша, он же Мойша, он же Муля, он же Мирон.

Для такого неблагоприятного отзыва у него были все основания.

В царстве свободы он немножко сидел, как тогда выражались, за расхищение социалистической собственности.

«Чего, чего я такого расхитил?» — всякий раз спрашивал он, возвращаясь под родной кров после очередных посиделок.

В нынешнее же смурное время у дяди Миши возникли свои проблемы. Например, с именами. Да, с ними, как и со всем прочим, тоже стало неясно. То ли уже можно, то ли еще нет, то ли уже опять нельзя. И дядя Миша стал сильно путаться при общении с незнакомыми людьми, представляясь каждый раз по-разному, даже в совершенно трезвом состоянии, что бывало, правда, не часто, но и не реже, чем раз в неделю, поскольку только в этом случае его законные права супруга соблюдались. Впрочем, как он сам признавался с похмельной горечью, отнюдь не всегда.

Так вот, время было странное. И, вероятно, именно поэтому все что-то ташили, растаскивали, и все родственники покойного Шмельки, — разумеется, кроме тети Раи, — тоже что-то куда-то и откуда-то несли, волокли и ташили, но почему-то от этого все не богатели, а посему время от времени впадали в задумчивость и меланхолию, даже в нечто, похожее на созерцательность, но чаще всего просто в запой или, говоря более сострадательно, в загул.

«Вы обязаны понимать, — сказала тетя Рая, — это главный праздник у человека».

«Ха», — озадаченно произнес кто-то из родственников, но продолжать свою речь почему-то постеснялся.

«Да, главный», — торжественно и несколько театрально повторила тетя Рая, буквально растапывая эффект, произведенный сомнительным словом «ха».

«Человек, — продолжала тетя Рая, строго глядя на собравшихся, — может только для того и живет, чтобы потом всех собрать. А о Шмельке и говорить нечего. Он так любил людей», — и она извлекла из своей полной груди глубокий протяжно-сожалеющий вздох.

«Девок он любил», — мрачно сказал кто-то из родственников, явно второстепенный по значению, ибо сидел где-то в конце стола и был с трудом виден.

Но тетя Рая продолжила свою речь так, как если бы именно этого она и ожидала.

«Вот именно, — сказала она, — кто любит женщин и понимает их потребности, любит всех людей.

Да, конечно, и он имел свои слабости. Во всем надо знать меру. Но скажите мне, что такое мера и кто из вас ее знает?»

«Я, — сказал дядя Миша, он же Муля, он же Мирон, он же Мойша, — не могу дать определение меры, пусть этим занимаются ученые люди. Но переспать со своей родной теткой!? Конечно, может она ему совсем и не тетка, здесь есть некоторые сомнения, но так принято считать, значит — тетка. А увести жену у троюродного брата Симхи!? Хотя это и пошло ему на пользу. У него что-то зашевелилось в голове, а то до этого один волосяной покров был. Но, однако, тормоза у каждого должны быть».

«Шмельке, — сказала тетя Рая, — наш Шмельке, — произнесла она с чувством, — был простой человек. Мы не должны предъявлять к нему слишком завышенные требования. И цари иногда подавали дурной пример. Все мы, — сказала она, — хорошо знаем Давида».

Все уставились друг на друга с явным подозрением. Значит, ты знаешь, а я почему нет?

И потом, о каком Давиде идет речь?

О зубном технике, промышлявшем в Израилевке поддельными золотыми коронками, а в Германии ставшем зубным светилом?

«Так ведь это — сука, — с глубокой неприязнью отметил дядя Миша, — он родственникам даже писем не пишет. Такая сволочь!»

А может, это тот Давид, который сидит сейчас в Пенсильванской тюрьме за подделку документов?

Какой художник! Какой большой мастер! Такой талант! Редкость! Он мог делать все: от жалких водительских прав до докторских дипломов. А как сильно он увеличил количество еврейского народа!? Этого не знает никто, даже он сам.

Какой человек!? Каждый месяц, каждому родственнику, — и это, заметьте, из такого неудобного положения, — он письмо пишет. Какие это поучительные и познавательные письма! В них вся Америка, как есть. Ему оттуда виднее. Человеку не надо ходить в школу, не надо путешествовать, зря тратить силы и время. Из писем пенсильванского затворни-



ка он узнает больше, чем о ней известно через пятьсот лет после Колумба. Или, может, это тот Давид, который умер в Голландии от слишком большой дозы героина? Но что о нем говорить? Такой неприличный молодой человек! Ему всего было мало. Нет, это не он.

За столом почувствовалось напряжение, легкая паника, предшественница большой бури.

«Царя Давида, — уточнила тетя Рая мягким тоном врача, утешающего покойника, — того самого, — сказала она, — из „Библии“.»

Собиравшаяся, было, гроза не разразилась. Из «Библии» говорило о том, что все, конечно, знают. Это не означало, что кто-то из сидевших ее читал или хотя бы видел. Но все понимали, что «Библию» и не надо читать. Вполне достаточно того, что она есть.

«Так вот, — продолжала она назидательно, — он, то есть, Давид, у своего генерала жену увел. Плохо, скажете? Конечно, что ж тут хорошего. Однако, эта самая Вирсавия, которую он увел, ему, — подумайте только! — Соломона родила. Царя царей! А кого она родила бы от Урии?! Сержанта, прапорщика, в лучшем случае майора?»

Здесь тетя Рая неожиданно замолчала. Лицо ее выразило совершенно непредвиденный и несоответствующий моменту восторг. Все напряглись.

«Какой писатель получился!» — совершенно неожиданно сказала она дрогнувшим голосом и, вытащив откуда-то большой в небесно-голубую клетку платок, громко, почти с отчаянием, высморкалась.

Немного успокоившись, она потянулась к чашке с компотом и сделала очень маленький, аккуратный, весьма корректный глоток.

Тети Рая вообще была очень корректная женщина с хорошими манерами, редко встречающимися в наше безрадостное криминальное время. Ее хорошие манеры, если так можно выразиться, распространялись не только на ее внешний, всегда чистый, уютный и открытый вид, но и на ее сердце, простодушное и умудренное одновременно.

Тетя Рая не пила ничего, кроме компота, даже чая, не говоря уж о более популярных напитках.

Иногда невольно закрадывалось подозрение, да родственница ли она всем этим Борухам и Мулям, всем этим отчаянным, беспросветным неудачникам и пропойцам? Но это было так. Более того, она была их староженом, пастухом и, если позволить себе выразиться несколько возвышенно, их совестью, их совестью, поскольку у остальных она начисто отсутствовала. При самом пристальном рассмотрении не удавалось обнаружить и зачатков этой весьма тонкой и редкой материи.

Казалось, из любви к ней, — а этого не отнять, — они передали ей, словно на сохранение, все приличные и даже возвышенные свойства души, оставив себе одно паскудство, но и неся всю тьму и мерзость безысходного запустения, свойственные жизни.

Впрочем, для полноты картины следует отметить, что они об этом не догадывались.

Молча, затаив дыхание, смотрели они на это священнодействие, внутренне содрогаясь при одной мысли о том, что им когда-нибудь придется

принимать внутрь нечто подобное. В данный момент все думали одно и то же:

«Чтобы пить такое, надо быть большим человеком».

«Еще я хочу вам напомнить, — продолжала тетя Рая уже деловым тоном, — что наш Шмельке был прямым потомком того самого Шмельке, знаменитого рабби Шмельке из Никольсбурга, брата еще более знаменитого рабби Пинхуса, раввина города Франкфурта, что на Майне».

На какое-то мгновение показалось, что время в приватизированном борделе остановилось, потом повернулось и потекло вспять, а все сидевшие за столом, — от дяди Миши, он же Муля, он же Мирон, он же Менахем, он же Мойша до того самого ушербного родственника, который знал только слово «ха», весьма сомнительное, прямо скажем, слово, — поплыли...

И, похоже, им предстояло долгое плавание...

Такого никто не ожидал даже от тети Раи. Ладно еще царь Давид из «Библии», с этим еще можно было смириться. Но столь благообразный родственничек, неожиданно всплывший из омута забвения, да, сдается, еще святой. Не вор, не пропойца, даже не... как его..., да что об этом говорить...

Принять подобное было трудно. Это был какой-то укор, дисгармония, порча мирового целого, страшная брешь в самом порядке бытия.

Тетя Рая нарушала правила хорошего тона.

Не дожидаясь, когда ее родственники уплывут слишком далеко, она скромно, но с достоинством продолжала:

«Рабби Шмельке однажды сказал, что если бы у него был выбор, он предпочел бы не умирать, — все оживились, такое умеренное желание было понятно и близко, — потому что в том, будущем мире нет мучительных дней, которыми так полна жизнь, — все снова сжались и оцепенели, — „надо же, о чем жалеет, ненормальный какой-то“, — и что делать человеческой душе без судного дня?»

Никто не рискнул нарушить последовавшую за этими словами тишину.

Тетя Рая выдержала маленькую, с чайную ложечку, паузу и сказала:

«Наш Шмельке тоже, именно поэтому, не хотел умирать. Там слишком легко жить». Но тут нервы родственников не выдержали. В поднявшемся невообразимом шуме букв было не разобрать. Время от времени на поверхность выныривало лишь слово «мать».

Возмущение было искренним и неподдельным.

Неожиданно все стихло. И наступила такая тишина, от которой ментально просыпается уснувший мертвецки пьяным сном, и не только просыпается, но и трезвеет.

Тетя Рая с трогательной нежностью оглядела своих несчастных родственников.

«И последнее, что я хочу сказать вам, и об этом тоже говорил мудрый рабби Шмельке:

„Больше, чем богатый дает бедному, — говорил он, — бедный дает богатому. Больше, чем бедный нуждается в богатом, нуждается богатый в бедном“.

Наш Шмельке сейчас беднее самого бедного бедняка.

Он лишен горестей и печалей... Он не может заболеть и выздороветь, не может упасть и подняться, не может ничего найти и ничего потерять. Всякая скорбь чужая ему. И даже слезы ему недоступны. Подумайте только! Он не может заплакать!

Именно поэтому мы нуждаемся в нем больше, чем он в нас.

Он всегда будет напоминать нам о том, что мы теряем, умирая: нашу боль, наше отчаяние, наши заблуждения и наши ошибки. А пока все это есть, мы живы и счастливы».

Нельзя сказать, что после этой речи лица родственников особенно просветлели, но некоторая, отметим, недоуменная умиротворенность была заметна.

«Ну а теперь, — сказала тетя Рая сухо, — а теперь, — повторила она, всем своим видом давая понять, что вводная часть закончена, — к делу. Надо распределить обязанности. Похороны и поминки — это большое сложное мероприятие. И мне одной с ним не справиться. Так что все ваши дела, — сказала тетя Рая, обращаясь почему-то именно к дяде Мише, он же Мойша, он же Муля, он же Менахем, он же Мирон, он же Мордехай, он же Мендель, он же Митя, Митрич и Митрофанов, — придется на время оставить».

Дядя Миша хотел возразить, но жажда опохмелки, давно иссушавшая его несчастный организм, помешала ему изложить свою, вне всякого сомнения, неприличную версию.

А что же поминки? Кажется, до сих пор мы не сказали о них ни слова. Они состоялись. И не только поминки, но даже похороны. Да еще какие! Да, благодаря неусыпному вниманию тети Раи Шмельку не забыли похоронить.

Конечно, и здесь сказалась текучесть и обратимость времени. Обряды и конфессии перепутались. И кто только не провожал в последний, как принято говорить, путь нашего Шмельку.

На поминки пришли все. Наши — не наши, свои — чужие; можно честно, не стыдясь, признаться: поминки получились...

Пришли православные и лютеране, католики и несториане, шииты и сунниты, буддисты и кришнаиты. В общем все. От молочан до бывшего председателя Облпотребсоюза Бронислава Ивановича Неумолкайко, специально для этого выпущенного из местной острожной предварилочки под честное слово и инвалютный конвертируемый залог. О его размерах Бронислав Иванович, вопреки своей фамилии, наотрез отказался сообщить даже своему ближайшему другу Меланиппе Федоровне Москвошвеевой — нашей местной Клеопатре.

«Боже, откуда...? Откуда у людей деньги?» — сказал бы в данном случае дядя Миша, он же Муля, он же... , и, конечно, добавил бы такое, что, увы, не может уместиться в тексте.

В заключение же следует отметить как положительную и обнадеживающую примету нашего времени, что вся эта обрядовая, догматическая и отчасти криминальная неясность не помешала праздничной обстановке поминок. Да, было очень весело, со слезами и песнями. Не обошлось без танцев. Можно, пожалуй, сделать не совсем невероятное предположение, что ровно через девять месяцев после поминок появятся на свет новые Шмельки.

Должно быть, оно и к лучшему, если подумать. . .

В конце концов жизнь дана каждому в единственном экземпляре, и Бог один. В противном случае это уже не Бог.

*Берлин, 8–10 апреля 1994*



\* \* \*

Дышит время у реки  
Над рекою птицы  
Чертят петли и круги —  
Целые страницы

Будто там на берегу  
Фабрика какая.  
Будто Парки ткут судьбу  
Нашу, дорогая.

Гром трамваев.  
Тишина.  
Медленные воды.  
Мост натянут, как струна  
Посреди природы.

\* \* \*

И не заметил, что прошла,  
Не обернулась даже,  
Что все великие дела  
Окончились однажды,  
Что город пуст.

Лишь над Невой  
Горит — не догорает  
Зари фонарик горевой,  
А там кораблик золотой  
Плывет — не уплывает.

И не заметил, что стихи,  
Мои мечты живые,  
Вдруг стали плотью...  
Посмотри:

Как раны ножевые.

Что так непросто стало жить  
Всегда с душой в согласье,  
Что все всерьез...  
И что грустить  
О будущем, о счастье?

сентябрь 1985 г.

\* \* \*

Все проходит и остается  
мертвой рябью на дне колодца,  
невозможностью воротить...  
За каким-то пределом дальним  
стало прошлое идеальным,  
и иным уж ему не быть.

Я в метро открываю газету,  
отгораживаюсь от света  
треском утренних новостей...  
День за днем, точно птица в сетке,  
бьется рвется, трепещет сердце,  
разрывается от потерь.

Все длинней я все незаметней  
расстоянье от жизни до смерти:  
дописать,  
досмотреть,  
долюбить!  
За каким-то пределом дальним  
станет будущим гениальным —  
а иначе не может быть.

*сентябрь. 1985 г.*

---

---

Михаил Окунь

## ОПЫТЫ ОБЩЕНИЯ С ПОТУСТОРОННИМ МИРОМ

Володя проснулся за столом в небольшой комнатке какого-то загородного дома. Стол, стоявший посреди пространства, освещался прямыми лучами солнца. Напротив Володи основательно помещался Пашков, его приятель, приехавший из провинции на курсы усовершенствования врачей.

По специальности Пашков был детским врачом, а по типу — человеком-горой (Володя помнил, как однажды, во время ночевки в гостях, под Пашковым прорвалась отнюдь не ветхая хозяйская раскладушка). «Любют меня детки, ох, любют,» — обычно приговаривал Пашков, потирая красные волосатые клешни мясника.

Жена Пашкова дала ему с собой несколько сотен рублей, приложив к деньгам длинный список необходимых покупок. Пашков честно пытался со списком ознакомиться, но не сумел осилить и трети оногo. А потому поступил проще: купил белые парусиновые тапочки за два пятьдесят и синие сатиновые «треники» за три двадцать две, а остальное стал благородно пропивать вместе с давно не виденными однокурсниками, оставшимися после окончания мединститута в Ленинграде. При этом он, естественно, не утруждал себя и усовершенствованием врачебного мастерства.

Разгул бушевал несколько дней и в разных местах, кто-то в него вливался, кто-то отпадал, и вот девятый вал его выбросил самых стойких, но порядком измочаленных Володю и Пашкова на тихий неведомый берег.

Открылась дверь, и вошла гладкая аккуратненькая старушка, совсем Володе не знакомая (как впоследствии выяснилось, не была она знакома и Пашкову).

Поставив на стол миску молодого картофеля с укропом и бутылку водки, старушка окинула собутыльников ласковым взглядом и тихо исцезла.

Пашков немедленно открыл бутылку, налил, поднес стакан ко рту, но внезапно передернулся и кинулся к двери. Звуки, раздавшиеся через секунду снаружи, были ужасны. Володя посмотрел в окно: держась за



столбики крыльца, Пашков самозабвенно блевал, содрогаясь всей массой. Затем с размаху он дважды бухнул пылающей физиономией в железную пожарную бочку с рыжей водой. Вернувшись, просветленный, он сел за стол, утерся рукавом, и, подняв кверху палец, важно констатировал:

— На восьмые сутки организм вступил в борьбу с алкоголем!

И снова потянулся за бутылкой.

У Володи были свои сложные отношения с алкоголем, и от всего увиденного ему стало совсем нехорошо. Невесть откуда взявшаяся старушка сразу угадала его состояние и, затеплив блеклые голубые глазки, сказала:

— А ты, милый, не гляди. Лучше иди приляг в горенке.

Двигаясь, как робот на заре робототехники, Володя прошел в «горенку» и примостился на узком топчанчике. Вокруг все было так, как и должно быть: над топчаном висел матерчатый коврик с тремя богатырями, в изголовье стояла тумбочка, украшенная синей стеклянной вазочкой с бумажными цветами того вида, которого в природе не бывает.

Мутить Володю стало чуть меньше, желтые мерцающие круги уплыли на периферию. Но тут раздался тоненький протяжный скрип.

Володя открыл глаза. Дверца шкафа, стоящего у стены слева, медленно открывалась — видимо, от легкого сотрясения.

Как вдруг в отблеске полированной поверхности быстро, как промельк, выдвинулся и тут же спрятался обратно чей-то острый профилек с мерзким скошенным подбородком — какой-то получеловечий, полусобачий.

По телу Володи пробежала отрезвляющая волна мурашек. «Сваливать надо! — решил он. — И старуха какая-то не такая, и тут еще это мурло в шкафу». И быстренько, забыв о Пашкове, он через окно покинул странный домишко, на попутке добрался до станции, оказавшейся Бернгардовкой, и отбыл поскорее в город.

Эту давнюю историю рассказал мне сам Володя. Ни он, ни Пашков впоследствии не могли вспомнить, как оказались на пригородной той станции, в пристанище нечистой силы. Впрочем, Пашков не вспомнил и того, как в итоге попал обратно в родной город — без купленных заботливо обновок, кое-каких документов и остатков денег.

Моя же версия такова, что запредельное пьянство двух друзей естественным образом повлекло за собой и соприкосновение с запредельным миром. Кто знает, чем бы все это еще кончилось, попробуй Володя старушечью водку. Да и в Пашкова она, вроде бы, так и не полезла.

Убежден, что потусторонний мир у каждого свой. Для одного это полтергейст, барабашка или некая бледная девочка с глазами без зрачков, неожиданно проявившаяся на фотоснимке, где ее и в помине не было. Другой либо сметает веником чертей из углов в мешок, либо метко швыряет тапками в каких-то человекообразных крыс, успешно спасаясь от них на диване.

Один артист балета на льду во время антракта по секрету поведал своему сотоварищу по жанру, что когда по ходу представления он близ-

ко подруливает к краю льда, то слышит, как зрители первого ряда, по виду напоминающие леших, сговариваются его изловить и убить. Так и загрузили беднягу в «скорую» — в костюмчике с блестками и в коньках.

Порой потусторонники проявляют излишнюю агрессивность. Один мой институтский товарищ проснулся как-то утром от жуткой тяжести. Приоткрыв один глаз, он увидел, что на груди у него сидит крупное волосатое существо и явно собирается приступить к душителю работе. Не подав виду, что проснулся, товарищ взял себя в руки и, изловчившись, свернул душегуба на сторону, после чего тот пропал совсем. А студент-победитель, отдышавшись, поскорее отправился пить пиво.

Потусторонним для эротической танцовщицы Ирочки показался мир голубых и розовых, сошедшихся на ночную тусовку в одном из «особнячков культуры» в центре города. Ее туда пригласили выступить с номером, что она и сделала, после чего обитатели потусторонки проявили к ней живейший интерес — до того момента, пока не поняли, что ее сексуальные наклонности пребывают в пределах нормы — она, как говорят в том мире, «натуралка». Впрочем, все течет, и вскоре Ирочка, к сожалению, влилась в эти неуклонно крепнущие ряды.

Да, потусторонний мир для каждого свой — от повторения истина не тускнеет.

Иногда я прогуливаюсь в своем окраинном парке. В центре него рядом с туалетом расположен пивной ларек. Пространство перед его лицевой стороной забрано со всех сторон решеткой, сваренной из металлических ржавых прутьев. В этой клетке и помещаются гомо... не скажу сапиенсы, но во всяком случае эректусы (а некоторые и не совсем уже эректусы — в том смысле, что клонит их долу) с кружками или шербатыми банками в руках.

Вокруг кустов и скамеек шныряют, конкурируя, малолетние добытчики и старушки в напряженных поисках пустой посуды. В трех небольших прудах время от времени кто-нибудь тонет по пьянке. Крутится, звеня бутылками, заводик по производству лицензионного темно-коричневого декокта на отечественной воде. А на всхолмии водружен квадратный серый столб из неопределенного материала с серпом и молотом наверху. Порой все это представляется мне маленькой моделью большой страны.

Однажды на лавке неподалеку от ларька я увидел налитого багрового человека. Сорвав зубами «кепочку» с маленькой, он на одном дыхании опустошил ее, а затем припал к кружке пива. Ничего в этом, казалось бы, и не было необычного, но меня заморозил его напор, штурм, натиск. И, кроме того, в странном вечернем освещении дядька выглядел каким-то ирреальным. А он, переведя дух, выдавил:

— Хули уставился? Отставного завмага не видел?!

И тут я словно прозрел: если это не потусторонний мир, то что же?..

## НАША РОДИНА — ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ

Проснешься утром, откроешь глаза. И что? И ничего. Хоть на все четыре стороны.

Можно пойти в ближнее кафе — в «шайбу». Там сидит Виталик — зимой и летом в одной и той же куртке и непременно при галстучке типа «микитка», бывшем в большой моде в шестидесятых годах — с вечным узлом, на резиночке и с серебряными нитями. Если Виталика спросить, как дела, он ответит, брезгливо указывая на стакан с бурой жижицей, именуемой сливовым напитком:

— Видал, что приходится хлебать?!

И начнет смотреть просительными глазами. И тут надо делать вид, что не понимаешь, к чему он клонит, а от этого становится мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Когда же Виталику удастся найти человека с понятием и с его бескорыстной помощью перейти от ненавистного декокта к чему-либо более существенному, то уже минут через пятнадцать слышатся оживленные Виталиковы речи, оснащенные подчас странными деталями: «Связали мне ласты и бросили в трюм...»

Можно зайти в одну квартирку, где обитают Гена, Надя, Настя и мама их Наташа, народившая эту неугомонную троицу от трех разных мужей, а также пес Чирик, три кролика и кое-какая другая неустановленная текучая живность. Там почти всегда весело — если не по одной, так по другой причине, а Надя к тому же в свои одиннадцать лет обещает стать дивной красавицей. Радует и то, что нет у них телевизора. Ибо, по глубокому моему убеждению, «володеющие и правящие» нами существуют на белом свете лишь до тех пор, пока включен телевизор. А выключи его — и нет их и в помине.

Можно заглянуть в стоящую за гаражами серую коробочку под красными буквами «Завод N 10 „Электроприбор“» — вход туда не загорожен никому — и навестить телефонного мастера Серёгу. Но нынче он стал вялый и скучный, потому что подшился. Подвели Серёгу «попугайчики». Для непосвященных: «попугайчик» есть двухсотпятидесятиграммовый флакон ядовито-зеленой (отсюда и народное название) жидкости для обезжиривания поверхностей. А четырех-пяти «попугайчиков» в день даже для такого закаленного язвенника, как Серега, многовато будет. К тому же экзотическое пернатое генерирует, как стало ясно из многочисленных экспериментов, особо концентрированные глюки. Так, будучи на дачном участке, телефонист в течение субботы и воскресенья безостановочно полемизировал с женой и дочкой по хозяйственным, и, потеряв терпение, изгнал их прочь с территории. Позже выяснилось, что ни та, ни другая на участке не появлялись, были в городе. Как тут не подшиться...

Можно продлить маршрут и завернуть в стоящее на отшибе здание морга судмедэкспертизы к тамошнему фотографу Подворкову. Прежде Подворков служил в городской литературской газете, фотографировал живых писателей. Вскоре газета приказала долго жить, и пришлось ему несколько переквалифицироваться для работы в столь печальном учре-

ждении. В нем, кстати говоря, слабонервных не держат, а потому употребляют там исключительно медицинский неразбавленный. Пришельцу же перед посещением следует основательно укрепиться духом, дабы не дрогнуть перед лицом обнаженной, вывернутой наизнанку, расчлененной и дурно пахнущей смерти. Впрочем, как выражается твердокаменный Подворков, нет на свете предмета более безобидного и безвредного, чем покойник.

Когда же мертвое тело приведено в более-менее пристойный вид, длинный грубый шов от подбородка до низа живота напоминает жуткую застежку-«молнию», застегнутую уже навечно. Одно слегка утешает — ведь и приходим в этот мир не по своей воле.

За моргом проспект Энергетиков растворяется в пустырях и переплетениях железнодорожных веток, свалках, полуразрушенных бетонных конструкциях неизвестного назначения, болотцах с бензиновой пленкой и косо выпирающими сгнившими автомобильными скатами, капустных полях, среди которых одиноко торчит кривобокий двухэтажный деревянный дом (живут ли в нем люди? — знаков их присутствия не заметно, хотя кто знает, не течет ли там иная, непостижимая для нас жизнь?).

То есть проспект как таковой существовать перестает.

Вкратце, вероятно, стоит упомянуть и о тех обитателях здешних мест, к которым запросто с улицы в гости не сунешься.

Можно вспомнить о загадочной белокурой девушке Даше, мастере спорта аж по трем видам, работающей ныне массажисткой в потайной баньке. Она, однако, является для меня величиной запредельной, описанию не поддающейся.

Поговорил бы я и о Люде, но она вышла замуж и уехала в Италию, которая, в отличие от проспекта Энергетиков, нам не родина, а потому в данное повествование не укладывается.

Можно было бы рассказать о недавно переехавшей на проспект крупной журналистке влиятельных изданий. Тон ее речей по мере укрупнения становится все более резким и нетерпимым, что, по-видимому, она полагает неотъемлемыми признаками тона делового. Однако, нет худа без добра, и так как рост влияния обычно сопровождается материальным ростом, то после смены мебели в квартире жрица «четвертой власти» безвозмездно пожертвовала два старых дивана Гене, Наде, Насте и Наташе, спавшим до того чуть ли не на ящиках.

В одну из веселых белых ночей мы с шутками и гиканьем доставили указанную мебель по новому адресу, благо расстояние от журналистики до многодетной семьи составляет не более ста метров.

Из-за права приоритетного обладания диванами немедленно вспыхнул напряженный внутрисемейный конфликт. Но когда, наконец, он утих, и все заснуло безмятежным сном на замечательных, хотя и несколько продавленных ложах, не было, думаю, на проспекте Энергетиков людей счастливее, чем они.

Едешь иной раз в автобусе, глядя на окружающую действительность глазами, к которым нынче не поднесли волшебного стекла. И вдруг на

остановке у автопарка до сего момента сонный внутренний объем начинает трещать под напором веселых людей, дышащих алкоголем и бензином. Все они знакомы между собой, любят друг друга, шумно и задорно перекликаются. И вот уж мнится, что наступил долгожданный золотой век, и все люди — братья. А посреди всеобщего блаженного пространства торчит лишь один-единственный ненормальный (это автор), тверезо плящущийся на недоступных людей будущего. И теплая зеленая волна обдаёт его неприкаянную сирую душу.

И мчится скрипучая птица-тройка под номером сто шесть сквозь мокрый снег и тьму, в которой время от времени вспыхивают освежающе-ободряющие надписи «круглосуточно», «24 часа» и даже «все для вас». И льнет одинокий автор к окну, и глотает украдкой утешительные сладкие слезы, беззвучно шепча: «Нету, нету у нас другой родины, кроме проспекта Энергетиков!..»

---

---

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

*АБЕЛЬСКАЯ Наталья Абрамовна* родилась в городе Якутске. Окончила ЛГУ по двум специальностям: «Экономическая кибернетика» «Возрастная психология». Работала программистом, учителем, психологом в школе, журналистом.

Стихи публиковались в сборнике «Первая встреча» Л, 1978; газете «Смена» в рубрике «Поздние петербуржцы» Л. 1992. В 1995 году большая подборка стихов, проходившая под этой рубрикой, была опубликована в одноименной антологии. В этом же году в Петербурге вышла книжка поэтессы «Авторский лист».

*БАРТОВ Аркадий* родился в 1940 году в Ленинграде. Закончил Политехнический институт и матмех ЛГУ. Начал писать в середине семидесятых годов. Печатал рассказы в самиздатских журналах Риги, Москвы и Ленинграда: «Часы», «Обводный канал», «Третья модернизация», «Эпсилон салон». Печатался и за границей, в журналах «Стрелец», «Синтаксис».

Прозаические произведения Бартова переводились в США, Австрии, Германии, Франции, Югославии, странах Балтии. В «Антологии мирового рассказа», Белград, 1992, был напечатан его рассказ.

Бартов печатался в коллективном сборнике «Круг» Л. 1985. Он является автором книг: «Дивертисменты» Л. 1990, «Прогулки с Мухиным» Л. 1991 и «Недолгое знакомство» СПб 1994.

*БЕРГ Михаил Юрьевич* родился в 1952 году в Ленинграде. Пишет с 1973 года. Первая публикация появилась в журнале «Эхо», Париж 1980.

Печатался также в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя», «Волга». Его произведения переводились на иностранные языки.

В 1991 году в Ленинграде вышел сборник романов Михаила Берга. Он является одним из основателей и главным редактором журнала «Вестник новой литературы», выходящего с 1990 года.

*БЕСПРОЗВАННАЯ Полина Владимировна.* В 1975 году окончила физфак ЛГУ. Автор трех поэтических сборников: «Тени на снегу», 1980; «Смальта», 1984; «Суглинок», 1990. Печатала стихи в антологии «Поздние петербуржцы», журнале «Север», зарубежных альманахах.

*БЛЮМ Арлен Викторович* родился в 1933 году. Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургской Академии культуры.

Сфера его научных интересов — история литературы, журналистики и цензуры в России. Он является автором многочисленных статей, опубликованных в научных и литературных журналах и альманахах, а также восьми книг, в частности: «За кулисами Министерства правды», СПб 1994. В настоящее время заканчивает работу над книгой «Советская цензура и еврейский вопрос (1917–1991)».

*ВОЛЬФ Сергей Евгеньевич* родился в Ленинграде в 1935 году. Закончил книготорговый техникум. Автор пятнадцати книг для детей. Стихи и рассказы печатались с 1989 года в альманахах «Незамеченная земля», «Камера хранения», «День поэзии», в журналах «Звезда» и «Соло».

Книга стихов «Маленькие боги», СПб. 1994 издана ассоциацией «Камера хранения».

*ГОЛЬ Николай Михайлович* родился в 1952 году. Окончил Институт культуры им. Крупской. Публиковал детские стихи и взрослые переводы с английского таких крупных поэтов, как Томас Мур, Редьярд Киплинг, Эдгар По и других.

Автор оригинальных поэтических сборников «Речевая характеристика» Л. 1990; «Наше наследие» СПб. 1994.

*ДУБНОВА-ЭРЛИХ София* (1885–1986). Дочь одного из крупнейших еврейских историков и общественных деятелей, жена одного из руководителей «Бунда» Виктора Эрлиха, поэтесса, автор воспоминаний. Участница культурной и общественной жизни в России, Польше, Америке.

*ДУНАЕВСКАЯ Елена Семеновна.* Основная сфера ее интересов — поэзия. Кроме сочинения собственных стихотворений, много переводила английских поэтов: Шелли, Китса, Ейтса и других.

Стихи Дунаевской печатались за рубежом в журнале «Континент», газете «Новое русское слово». На родине публиковались в журналах «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Всемирное слово», а также в альманахах.

В 1994 году в Петербурге Елена Дунаевская выпустила книгу стихов «Письмо в пустоту».

*ЗВЯГИН Евгений Аронович* родился в 1944 году в эвакуации. Закончил техникум, русское отделение филфака ЛГУ. Активно участвовал в литературном самиздате Петербурга (журналы «Часы», «Обводный канал», «Гастрономическая суббота»).

Типографски печатается с 1985 года, когда вышел альманах «Круг». Произведения были опубликованы в журналах «Континент», «Родник», «Звезда», «Аврора».

В 1991 году в Ленинграде вышла книга прозы Евгения Звягина «Кладоискатель», в 1995 году в Петербурге — сборник эссе «Письмо лучшему другу».

*КАТЕРЛИ Нина Семеновна* родилась в семье потомственных (еще с дореволюционной поры) писателей и журналистов. Шестнадцать лет проработала инженером.

Сочинительством увлеклась в начале семидесятых годов. Публиковалась в журналах «Костер», «Нева», «Звезда», «Юность», «Аврора». Первая книга прозы «Окно» вышла в 1981 году в Ленинграде. Многие повести и рассказы Нины Катерли переводились на английский, французский, немецкий, японский, венгерский, болгарский, чешский и другие языки. Три сборника прозы опубликовано за границей.

*КЕЛЬНЕР Виктор Ефимович* родился в Москве в 1945 году. Закончил истфак ЛГУ в 1972 году (после службы в армии). Доктор исторических наук. С 1968 года работает в Публичной библиотеке.

Автор книг и статей по истории книги в России и об истории евреев в России во второй половине девятнадцатого, начале двадцатого веков.

*КРИВУЛИН Виктор Борисович* родился в 1944 году в Краснодаре. В 1967 году закончил русское отделение филфака ЛГУ. Работал преподавателем, редактором в Доме санитарного просвещения. Издавал самиздатские журналы «37» (вышел 21 номер), и совместно с Сергеем Дедюлиным — «Северная почта».

На Западе публиковался с начала шестидесятых годов, во многих эмигрантских журналах. Автор восьми стихотворных сборников. Лауреат литературных премий. Сейчас готовится к изданию на немецком языке большая книга статей Кривулина.

*КУШНЕР Евгений Александрович* родился в 1962 году в Ленинграде. Закончил Институт культуры им. Крупской. Печатал рассказы в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал». В настоящее время сочинение художественной прозы совмещает с переводческой деятельностью. Работает преподавателем иврита в еврейской школе.

*ЛАНИНА Татьяна Валентиновна* закончила филологический факультет ЛГУ. Автор ряда книг по истории русского театра и драматургии двадцатого века, в частности, о драматурге Александре Володине. Недавно ею подготовлена к печати книга Софии Дубновой-Эрлих «Хлеб и маца», СПб 1994.

*ЛУРЬЕ Лев Яковлевич* родился в 1950 году. Кандидат исторических наук. С начала семидесятых годов изучает историю России. Автор более сорока статей и трех книг по истории и краеведению. Один из ведущих участников телепередач «Воскресный лабиринт» и «Исторический календарь». В 1989 году основал Санкт-Петербургскую классическую гимназию, первую с 1918 года в России.



*МАЗЬЯ Марк Григорьевич* родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил филфак ЛГУ. Кандидат филологических наук. В течение многих лет работал преподавателем в школе.

Марк Мазья — автор ряда научных статей о жизни и творчестве К.Ф. Рылеева, А.С. Грибоедова, В.К. Кюхельбекера. Выступал на страницах журналов «Звезда» и «Нева» в качестве литературного критика. В 1994 году в Петербурге вышла первая книга его стихов. <

*МЕЛИХОВ Александр* родился в 1947 году. Закончил матмех ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Дебютировал рассказом «Инцидент» в журнале «Север». Выпустил три книги прозы: «Провинциал», Л. 1986; «Весы для добра», Л. 1989; «Исповедь еврея», СПб 1994. Последняя книга получила премию Союза писателей Санкт-Петербурга. Заканчивает подготовку к печати книги «Горбатые атланты».

*ОКУНЬ Михаил Евсеевич* родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ. Печатался в журналах: «Звезда», «Аврора», «Смена», «Сельская молодежь»; альманахах: «Васильевский остров», «Петрополь». «Urbі» и других.

Автор поэтических сборников: «Обращение к дереву» Л. 1988; «Негромкое тепло» М. 1990; «Интернат» СПб 1993; книги коротких рассказов «Татуировка. Ананас», СПб 1993.

*ПОДОЛЬСКИЙ Наль Лазаревич* родился в 1935 году. Кандидат технических наук, доцент. Преподавал математику в Кораблестроительном институте. Многие годы увлекался археологией, напечатал около тридцати статей в этой научной отрасли. Последние двенадцать лет отдано им литературному творчеству. Печатался, кроме самиздатских журналов, в сборниках «Круг» Л. 1985; «Сугубо частное расследование» М. 1995, журнале «Петербургские чтения», газете «Пятница».

*РОХЛИН Борис Борисович* родился в 1942 году в эвакуации в Башкирии в день гибели на фронте собственного отца.

По возвращении в Ленинград заканчивал шведское отделение филфака ЛГУ в 1964 году. Публиковался в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал»; печатался в журналах «Грани», «Звезда». В 1995 году в Петербурге вышла книжка прозы Бориса Рохлина «Превратные рассказы».

*СТРУГАЦКИЙ Борис Натанович* родился в 1933 году в Ленинграде. Изучал астрономию, до 1966 года работал в Пулковской обсерватории. В соавторстве со своим старшим братом Аркадием дебютировал в печати как писатель-фантаст в 1959 году повестью «Страна багровых туч».

С тех пор им в соавторстве с братом было написано более двадцати повестей, многие из которых пользуются мировой славой. После смерти старшего брата художественные произведения печатает под псевдонимом С. Витицкий.

*ХАНАН Владимир* родился 9 мая 1945 года в Ереване. Живет в Петербурге. Учился в ЛГУ на разных факультетах, но не окончил курса наук. Сменил множество профессий.

На родине печатался в основном в самиздате: журнале «Часы», антологии «Лепта», «Литературном еврейском альманахе». Печатался в США, Франции, Германии, Австрии, Израиле.

*ХАРАГ Наталья Борисовна* родилась в 1974 году в Ленинграде. Учится в Российском Государственном Педагогическом университете на факультете иностранных языков. Стихотворения Натальи Хараг публиковались в альманахе «Зазеркалье».

*ШЕЛЬВАХ Алексей Максимович* родился в 1948 году в Ленинграде. Двадцать восемь лет проработал токарем на заводе. Владеет польским и английским языками. Прозаик, поэт, переводчик. Автор двух поэтических сборников. Печатался в США, Канаде, Польше, Ирландии. Стихи Шельваха переводились на английский и немецкий языки. Печатался в русских журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Родник», «Митин журнал», «Вестник новой литературы», коллективном сборнике «Круг».

*ШУБИНСКИЙ Валерий Игоревич* родился в 1965 году в Киеве. В Петербурге живет с 1972 года. Закончил Финансово-Экономический институт (1986). Печатается с 1984 года. Автор книг стихов «Балтийский сон», М. 1989, «Сто стихотворений», СПб. 1994.

Публиковал стихи и прозу в журналах: «Континент», «Вестник новой литературы», «Звезда», «Аврора», альманахе «Камера хранения», газете «Русская мысль» и других изданиях. Печатались также переводы (Т.С. Элиот, Р. Киплинг) и литературно-критические статьи.

Составил (вместе с И. Вишневецким) альманах «Незамеченная земля», СПб, 1991.

Некоторое время работал в Петербургском Еврейском Университете. Участвовал в еврейских этнографических экспедициях.

*ЭЗРОХИ Зоя Евсеевна*, поэтесса. Печаталась в журналах «Нева», «Юность», альманахах «Молодой Ленинград», «День поэзии».

В Ленинграде выходила ее книжка «Зимнее солнце» в кассете «Октава» в 1990 году.

*ЯСНОВ Михаил Давидович* родился в 1946 году в Ленинграде. Закончил русское отделение филфака ЛГУ в 1971 году.

Выпустил две книжки стихов: «В ритме прибоя» Л. 1986 и «Неправильные глаголы» М. 1990. Михаил Яснов — автор шести книг стихов для детей. Активно занимается стихотворным переводом, в основном — с французского.

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя .....	3
НАЛЬ ПОДОЛЬСКИЙ <i>Пятое состояние Повесть</i> .....	5
НИКОЛАЙ ГОЛЬ <i>Стихотворения Благодарность. «Все время ничтожку времен...». Свидание. «На рассвете отплывали с помпою...»</i> .....	33
АЛЕКСЕЙ ШЕЛЬВАХ <i>Отрывок из романа</i> .....	36
АРЛЕН БЛЮМ <i>«Тлеющие угли иврита» под советской цензурой 20-х годов Статья</i> .....	53
НАТАЛЬЯ ХАРАГ <i>Стихотворения Эдип. Плачущее зеркало. Увертюра. «Между пальцами снежная губка...». Рим</i> .....	61
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ <i>Повесть о прагматичном Андроне</i> .....	65
СОФИЯ ДУБНОВА-ЭРЛИХ <i>«Я хотел бы сердечно проститься с этим городом...» Подготовка текста, примечания и вступление Татьяны Ла- пиной</i> .....	78
ЗОЯ ЭЗРОХИ <i>Стихотворения Они и мы. Тепло. Приютъ. За и против. «Не могу я уезжать из этой страны...». Мудрец и суета</i> .....	99
ЕВГЕНИЙ КУШНЕР <i>Прошлое будет за нами Рассказ</i> .....	104
МИХАИЛ ЯСНОВ <i>Стихотворения «То ли ранняя тьма, то ли снова зима...». «Под мостом Мирабо — я не видел, быть может...». «И вот они выплывают из прошлого...». «Жил-был еврей рассеянный...». «Неве- сельные лица у русских в Париже...»</i> .....	120
НИНА КАТЕРЛИ <i>Кто я? Эссе</i> .....	123
НАТАЛЬЯ АБЕЛЬСКАЯ <i>Стихотворения «Руки твои нежнее молочной пены...». «Полколуки. Злая полынь...». «Призывает сентябрь в середине своей к разлуке...». «Лепечет ум невнятные слова...»</i> .....	145
ВИКТОР КРИВУЛИН <i>Три прозы поэта Эссе</i> .....	147

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ	Под стеклянным сводом <i>Повесть</i> .....	163
ЛЕВ ЛУРЬЕ	Заметки зеваки .....	180
БОРИС СТРУГАЦКИЙ	Большой вопрос <i>Статья</i> .....	188
ЕЛЕНА ДУНАЕВСКАЯ	Стихотворения «И дирижер склонился к партитуре...». «Я знаю, что Цербер окажется крошечным псом...». «О делах патриархов, чьи овцы — стада облаков...». «Вошла. Никого не узнала...». «А подлинной жизни тебе не покажут...». Разговор поэта со своей душой. «Все кажется, что жизнь начнется завтра...» .....	208
МИХАИЛ БЕРГ	Черновик исповеди, черновик романа .....	212
АЛЕКСЕЙ ШЕЛЬВАХ	Геро и Леандр <i>Поэма</i> .....	226
АРКАДИЙ БАРТОВ	Рассказы <i>Блондинка в розовом, брюнетка в голубом. Воспоминания о Баден-Бадене. Александр Нестерович и Юлия Николаевна. Любовь в чисто немецком вкусе</i> .....	234
ПОЛИНА БЕСПРОЗВАННАЯ	Стихотворения «Нет ни Еллина, ни Иудея...». «Все выло и выло. Гудело. Металось. Рвалось...». «Косноязычие раздирает рот...». «Не заставляй меня выбирать, не мучай...». «— Это наше право делать из жизни смерть...». «Ну-ка, попробуй вынырнуть с той стороны луны...». «Дважды ли, трижды предавший...» .....	245
СЕРГЕЙ ВОЛЬФ	Последний год до переезда в Н .....	248
ВИКТОР КРИВУЛИН	Стихотворения <i>Первая выставка американской графики в Ленинграде. От Олега до Игоря. Фортиеппьянная техника. Метампсихоза. Кичициси. Пророк</i> .....	260
ВИКТОР КЕЛЬНЕР	Два инцидента <i>Статья</i> .....	264
ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН	Цветок Палестины <i>Рассказ</i> .....	271
ВЛАДИМИР ХАНАН	Стихотворения <i>Прощание с Прибалтикой. «Ах, Угличский лагерь пионерский...». Памяти мандельштама</i> .....	278
БОРИС РОХЛИН	Удачные поминки <i>Рассказ</i> .....	281
МАРК МАЗЬЯ	Стихотворения «— Будущей осенью в Иерусалиме...». «Дышит время у реки...». «И не заметил, что прошла...». «Все проходит и остается...» .....	288
МИХАИЛ ОКУНЬ	Рассказы <i>Опыты общения с потусторонним миром. Наша родина — проспект энергетиков</i> .....	291
	Коротко об авторах .....	297

Подписано к печати 29.08.95. Заказ 1493.  
Формат 60x84/16. Объем 19 п.л. Тираж 1000.

---

Ломоносовская типография.  
189510, г. Ломоносов, пр. Юного ленинца, 9.



З  
Д  
Ж  
Р

Н

Т  
О  
Я

В  
Л  
Д  
М  
И

Р

Ф

Г

Е  
А

Х  
Д

Б

Т  
Щ  
О

А  
Н

Л